

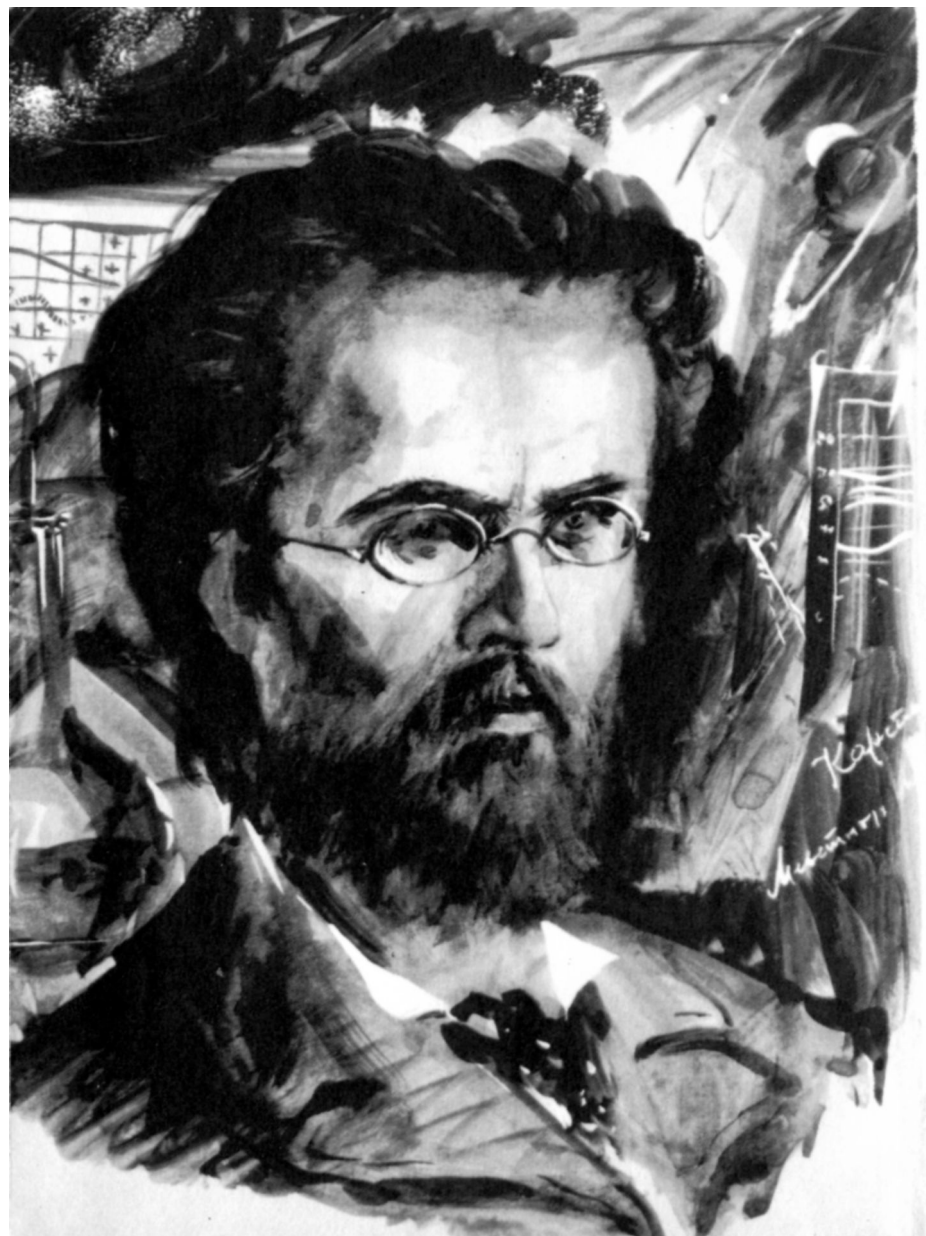
Побежденное время

54X

Мил. Голубович



**Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1975**



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •



• СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

*Марк
Поповский*

ПОБЕЖДЕННОЕ ВРЕМЯ

ПОВЕСТЬ
О НИКОЛАЕ МОРОЗОВЕ

Марк Поповский по образованию медик и филолог. Его научно-художественные книги «Когда врач мечтает...», «Путь к сердцу», «По следам отступающих», «Панacea — дочь Эскулапа» и другие рассказывают о научном творчестве, характере и исканиях ученого. Две повести («Тысяча дней академика Николая Вавилова» и «Надо спешить!») автор посвятил выдающемуся биологу нашего времени Вавилову. Документальный роман «Пять дней одной жизни» рассказывает о Владимире Хавкине, спасшем от чумы своими вакцинами миллионы жизней в Индии.

Тяготение к конкретному историческому факту, к подлинному документу отличает и новую историческую повесть Поповского «Побежденное время», главный герой которой — ученый-народоволец Николай Александрович Морозов, стойко преодолевший почти тридцатилетнее заточение в царских тюрьмах. Для работы над книгой автор использовал многочисленные архивные и литературные источники, дневники и письма исторических лиц, судебные отчеты. Писателя привлекают герои незаурядные, люди большого интеллекта и высоких идеалов. Таким и предстает перед читателем Николай Морозов — революционер, гражданин, ученый.

Поколение людей необыкновенных появилось в России в 70-х годах прошлого века. Они прошли, сгорев в ее грозовой, напряженной атмосфере. Восстанавливая их судьбы, особенно судьбы тех, кто уцелел и выжил, не знаешь, чему удивляться более: самоотверженности их, наивности или сочетанию кристальной душевной чистоты с яростной одержимостью.

В архивах и старых журналах сохранились многочисленные воспоминания о них, обрывочные, порой случайные документы. Написано множество книг, но только архив до конца надежен, если хочешь с достоверностью воссоздать облик человека, понять, чем он дышал и жил. В поисках и отборе исторических архивных материалов мне помогал мой давний друг — литератор Игорь Губерман, и я рад случаю принести благодарность своему фактическому соавтору за участие во всей этой книге. Мы вместе листали пожелтевшие следственные дела, разворачивали выцветшие письма, сопоставляли противоречивые воспоминания. И спорили. Спорили до хрипоты, обсуждая психологию героев, степень их правоты, пружины их поступков и слов. Мы были

единодушны в любви и уважении к этим людям. И еще — в удивлении, сколь по-разному начинались все эти непохожие судьбы и как неотвратно сходились они в единое русло.

Глава первая

Если переводчик прекрасной книги — сам переводчик! — дарит тебе эту книгу, да еще лично тебе делает надпись: «На память от переводчика», — то ясно, что жизнь складывается восхитительно и удачно.

Переводчик книги Эгера «Микроскопический мир», лысый и усталый человек, будто чуть надорвавшийся от многолетнего педагогического тшания, отер платком слюну, подсохшую в уголке полного рта, и только тогда поощрительно улыбнулся художнику гимназисту в очках, восторженно застывшему с книгой в руках. Отец быстро приучит его к охоте, биллиарду и картам, брюзгливо подумал он, привычно застыдил своего желчного скепсиса и, потрепав гимназиста по плечу, прошел к столику с закусками, где его уже ждали.

Гимназист Николай Морозов, сын богатейшего ярославского помещика, желанный гость в домах своих товарищей по московской классической гимназии, вышел тихонько из гостиной, бережно держа подаренную книгу, и опустился с нею в кресло в ближайшей комнате. Но через две минуты он возбужденно забегал по этой небольшой комнате, стараясь движением унять охвативший его восторг. Он прочитал на первой же странице то, что давно знал, понимал, в чем был глубоко, но тайно уверен: в скром-

ном человеке, собирающем растения, чтобы изучать их, или в тишине обсерватории наблюдающем звезды и планеты, в таком незаметном, тихом человеке на самом деле скрыто заключен подлинный покоритель мира. Потому что мир переделает наука, переустроит его основательно и прекрасно. Наука, знание, просвещение — больше справиться некому.

А переустраивать мир — надо было. Просто необходимо. И как можно быстрее. Это носилось в воздухе. В год освобождения крестьян ему исполнилось семь лет, впервые разговоры взрослых о необходимости реформ он услышал в девять. Но долгожданные реформы — крестьянская, судебная, военная отчего-то лишь усугубили напряженность этих разговоров о насущности дальнейших переделок и переустройств. Были недовольны реформами все, все по собственным причинам, но толки о несвободе объединяли эти вовсе разные, порой диаметрально противоположные недовольства в кажущееся общее. Обсуждали перспективы, возможности, пути и проекты, все осуждали, решительно над всем смеялись, и многое действительно было смешно.

Но никто, никто, никто, ни единая живая душа, ни единый развитый ум не знали такого единственного, точного, гарантированного пути, какой знал гимназист Николай Морозов. Дело в том, что еще до гимназии он прочитал в библиотеке отца два старых учебника астрономии и брошюру о пищеварении, дыхании и кровообращении, а в гимназии перечитал за пять лет немыслимое количество разных книг по естествознанию. Потом он принялся за историю, залпом проглотил несколько трудов об обществе, его устройстве и развитии, и окончательная истина воссияла перед ним немеркнущим и ослепительным светом. Человечество спасет наука. Она и так уже вы-

тащила его из первобытного, полужвериного состояния, а теперь она же позволит установить во всем мире подлинную свободу, равенство и братство (это прекрасное тройственное условие всеобщего счастья просто явно обречено было без науки) на необозримое количество лет вперед. Развитие знаний, особенно естественных наук, был истово убежден гимназист Морозов, — волшебный ключ к умственному, нравственному и экономическому прогрессу всего без исключения человечества.

И во исполнение этой идеи Николай Морозов принялся тщательно готовить себя к одной из двух профессий, равно привлекательных и благородных: профессора университета или великого путешественника. Он собрал большую коллекцию окаменелостей разных периодов и удивил однажды даже преподавателей университета, которые за найденную чешую плезиозавра позволили ему выбрать любую окаменелость из дубликатов университетского музея. Он собрал огромную коллекцию жуков и бабочек, он часами просиживал над микроскопом, который подарил отец, он завалил этажерку гербариями, заставил полки естественнонаучными книгами, а об ящики с раковинами и камнями постоянно разбивал ноги. Накидывая по-студенчески плед, он бегал в зоологический и геологический музеи университета, часами занимался там или напрашивался к знакомым медикам в анатомический театр и, чтобы не отстать от старших, там же и ел с ними.

Энергия кипела в нем, пенилась и пузырилась, в гимназии любили его за неизменную приветливую готовность растолковать урок, дать списать, а то и просто сделать задание за соседа, и когда он предложил организовать тайное общество естествоиспытателей, откликнулось человек двадцать. Прежде всего

они принесли друг другу клятву заниматься наукой, не щадя здоровья, сил и самой жизни.

Гимназист Николай Морозов любил всех. Он знал, что скоро станет студентом (проходили бы скорей эта дурацкие гимназические годы зубрежки докучливой латыни!), потом профессором университета (великим путешественником — это было про запас, если вдруг окажется, что способностей для науки не хватает), и к общему благу человечества будет сделан серьезный шаг. Он не пожалел себя.

Тайное общество естествоиспытателей По субботам собиралось на доклады. Морозов, душа общества, выступал много и часто. Они начали даже выпускать рукописный журнал: там были их научные доклады, рисунки редких находок, стихи (никто из них всерьез не любил стихи, разве только Некрасова за сострадание к простому человеку и гражданскую скорбь) и статьи по общественным вопросам. Статьи эти писал один Морозов. Они дышали жаждой коренных и радикальных перемен. Произвести эти перемены предстояло в очень недалеком будущем о помощи расцветших наук. Морозову было уже почти двадцать, он был счастлив и полон доброжелательства ко всему, ко всем и каждому. Только мать одного из его ближайших товарищей, полная дама около сорока, жена пожилого генерала, каждый раз, видя Морозова, нежно и благосклонно выговаривала ему за недостаток общительности и называла его не иначе, как месье Cold, что по-английски означает холодный. Но тот, кто увидел бы, как горячо и неприкрыто расстраивается Морозов, если кто-нибудь из товарищей по кружку зевает на научном докладе, ни за что не согласился бы с этой кличкой.

Счастливое долгое детство и затянувшаяся несколько юность, полная друзей, интересов и оттого

неиссякающей беспечной жизнерадостности, привили ему доброту и доброжелательство, скрупулезную безукоризненную честность, спокойную приветливость в обращении.

Не утихали в гимназии, как и везде, разговоры о процессе нечаевцев. Полный стенографический отчет процесса печатал из номера в номер «Правительственный вестник» еще в семьдесят первом году. И с тех пор номера эти передавали, копировали, обсуждали горячо и истово. Первый, в сущности, гласный политический процесс был описан до мелочей, до деталей, и не было в нем ни одного темного места. Кроме личности центральной, главной, виновника всех бед этих почти восьмидесяти человек, скрывшегося за границу, прокливаемого всеми Нечаева.

* *
*

Семилетним Сергей Нечаев уже помогал своему отцу, выкупившемуся на волю крестьянину села Иванова, рисовать вывески и малярничать. Шла Крымская война, мужиков было мало, других подручных не находилось, и он года два проштатался с отцом по губернии. Отец был суров, часто сек, со вкусом выбирая лозу для розги. В девять его отдали посыльным на ткацкую фабрику. Память о здешних побоях он сохранил на всю жизнь. А тут подвернулась вдруг возможность учиться: в Иваново приехал из Москвы писатель Дементьев и открыл что-то вроде частной школы. Смышленный мальчишка приглянулся ему, они подружились. Что это был за порыв у Дементьева, так и осталось неясным. Потом он запил и уехал. Круто оборвалась первая мальчишеская привязанность — восторженная, единственная. Они еще

виделись впоследствии, но уже бывшее божество померкло.

Выучился он сам и, уехав, не только не возвращался никогда, но и ни в одном разговоре даже не поминал о родных. И других любимых близких не было. Но всегда почти были один-два рабски преданных спутника.

Все не выходило, как хотел. В Москве не выдержал экзаменов, уехал в Петербург. За полный курс гимназии не сдал, потянул только на звание уездного учителя. Стал преподавать в Сергиевском приходском училище. Выписал из Иванова сестру — молчаливое, будто испуганное раз и навсегда создание. Когда занимался или говорил, она часами с бессловесным обожанием глядела то на затылок, то в рот. Поступил вольнослушателем в университет. Много читал. Любимая, потрясая книга — «Заговор Бабефа» Буонаротти. Ее часами обсуждал с заходившими знакомыми. Бедность была безнадежная, безвыходная, отупляющая. От злобы на идиотски устроенный мир, от рабского молчания вокруг, от желания все переделать, переиначить кружилась голова и больно пересыхало в гортани. Кричал на вечно пьяного старика-уборщика (он же истопник, швейцар и сторож), обижал его так, что тот даже осмелился жаловаться, безуспешно, впрочем.

Двухлетний неурожай давал себя знать — доходили слухи о страшном голоде в сотнях деревень. Все продолжали заведенные дела, будто это их не касалось. Вокруг шла невозмутимая столичная суэта. Неслись экипажи, громко и возбужденно переговаривались прохожие, вкусно и весело обсуждалась текущая мимо него жизнь. Из окон неслись смех, музыка, свет. Был он очень щуплый, меньше среднего роста, с маленькими глазами, скуластый, резкие жесты, 9

неисправимо окал. Жидкая борода, усы с просветом под носом, жидкие баки. Женщины не то чтобы не любили, просто не замечали его.

А тут студенческие сходки. На них говорилось нехитрое: о необходимости иметь кассы взаимопомощи, библиотеки и дешевые столовые, и чтобы сами сходки были официально разрешены. Нечаев ожил. Он бегал, организовывал, договаривался, устраивал, обеспечивал, сообщал и знакомил. Запустил занятия в училище, но начальство смотрело на это сквозь пальцы, так как был он на прекрасном счету за неизменную строгость с учениками. Сам почти не выступал, но тех, кто выступал поярче, приглашал к себе. Обсуждал, как дальше развивать движение. Волновался, до крови грыз ногти, спорил. Знали его все, но замечен был только активностью, за руководителя никто не принимал. Безумно хотелось влиять, направлять, значить.

И вдруг слух: Нечаев арестован! Один-единственный — он! Одна знакомая (весь мир через десять лет узнал ее как Веру Засулич) получила по почте таинственное письмо: «Идя сегодня по Васильевскому острову, я встретил карету, в которых возят арестантов, из ее окна высунулась рука и выбросила записочку, при чем я услышал слова: «Если вы студент, доставьте по адресу». Я — студент и считаю долгом исполнить просьбу. Уничтожьте мою записку».

Не было подписи, но был приложен клочок серой бумаги, а на нем карандашом — почерк Нечаева: «Меня везут в крепость, какую — не знаю. Сообщите об этом товарищам. Надеюсь увидеться с ними, пусть продолжают наше дело».

Сестра осмелела от горя, отчаяния и любви — обещала все приемные, какие смогла: рыдала, падала на ноги, отчаянно кричала, окая, как он: «Отпустите, от-

дайте братца!» Всюду отвечали, что Нечаева нет, что его никто не арестовывал.

Похищение! Тайное жандармское похищение! Имя Нечаева было у всех на устах. Кто-то вспоминал, правда, странное: в самое неподходящее время, всего неделю назад вдруг начал он учить никак не дававшийся французский язык (так толком и не выучил), отчего-то продал все книги, туманно говорил о намерении ехать изучать искусства. На справке о его исчезновении, сохранившейся в Третьем отделении, легкомысленная пометка: «Личность его едва ли заслуживает внимания». Как они ошибались! Как заскрежетал бы зубами сам Нечаев, увидев эту надпись, — Нечаев, круто и опасно ломавший свою жизнь, чтобы заслуживать этого внимания, потому что трудно сказать до сих пор, несмотря на гору литературы о нем, чего у него было больше — ненависти или честолюбия.

Потом рассказывал, что сидел в обледенелых казематах Петропавловской крепости, где замерзал так, что ему ножом разжимали зубы, чтобы влить перед допросом водки для разогрева. Надел будто бы чью-то офицерскую шинель — бежал.

На самом деле он был в Москве, оттуда съездил в Одессу, вернулся в Москву, рассказав тамошним знакомым, что бежал и в Одессе из-под ареста, и вскоре объявился в Швейцарии, взяв паспорт у рабски преданного ему, обреченно послушного приятеля, покорного соучастника будущего преступления.

Бакунин — в письме: «У меня сейчас один из таких молодых фанатиков, которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся и которые поставили себе принципом, что многие, очень многие должны погибнуть от руки русского правительства, но что они не успокоятся до тех пор, пока народ не восстанет».

Бакунину пятьдесят пять, и все его несбывшиеся до сих пор мечты о русской революции вмиг воплощаются в доверие и любовь к двадцатидвухлетнему, безоглядно решительному, кипящему от избытка энергии Нечаеву. Тем более, что этот мальчишка — представитель, оказывается, превосходно организованной в Петербурге громадной и разветвленной студенческой революционной организации, готовой к выступлению по первому его слову.

А в Петербург приходит от Нечаева воззвание к студентам: «Выбравшись, благодаря счастливой удаче, из промерзлых стен Петропавловской крепости, на зло темной силе, которая меня туда бросила, шлю вам, мои дорогие товарищи, эти строки из чужой земли, на которой не перестану работать во имя великого, связывающего нас дела...»

За пять месяцев только один петербургский почтамт перехватывает 560 писем, адресованных Нечаевым почти четырестам разным лицам, часто почти вовсе неизвестным. Он завязывает связи, просит новых адресов, туманно договаривается о дальнейшем развитии «дела», которое вот уже столько лет означает в молодежных русских разговорах только одно — революцию. Жандармы, впрочем, знают это не хуже их. И точно так же все знают о перлюстрации писем. Адресаты не отвечают, доносят, отвечают руганью.

Бакунин тоже пишет студентам: «Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука... Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа».

Прекратив издание начатого журнала (Герцену несимпатичен и подозрителен воспаленный Нечаев, но, уступая Огареву, он отдает на журнал половину специального денежного фонда), Нечаев опять срывается в Россию. Теперь Москва, показ доверительной бумаги, подписанной знаменитым Бакуниным, организация сети кружков (все обмануты и переобмануты, скручены обязательствами, ложью и шантажом, подозревают друг друга и боятся), неумная деятельность (спал часа три в сутки), насмешки и возращения студента Иванова, поплатившегося за них жизнью.

Тело обнаружили через четыре дня, процесс прогремел на всю Россию. Спустя два года Нечаева выследили за границей, схватили, швейцарское правительство выдало его как уголовного преступника, предавший его получил царское прощение за былое участие в польском восстании. Нечаева привезли и осудили на двадцать лет каторги. Нечаева проклинали все, он стал символом вероломства и лжи, негативным эталоном, пугалом. Никто не думал, что через десять лет он еще напомнит о себе. Он исчез и перестал существовать. Но вот что записал в своем «Дневнике писателя» тот, кто громче и враждебнее всех осудил случившееся своим знаменитым романом: «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем — не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

В том же году, когда сделано было это признание, гимназист Николай Морозов написал в журнале тайного общества естествоиспытателей второй московской гимназии свою очередную статью — «В память нечаевцев». Автор жалел обманутых и пострадавших, но выражал восторг по поводу их готовности сплываться воедино для борьбы за народную свободу.

Журнал этот читали не только члены кружка. Он попадал к приятелям, друзьям, их родителям, их приятелям и друзьям, знакомым и случайным людям.

* *
*

Гимназист Николай Морозов (девятнадцать лет, высокий, чрезвычайно худой, очки, очень юное круглое лицо — через год при переходе границы контрабандисты оденут его девушкой и зашатаются, скинут от смеха, так неотличимо будет сходство) стоял, почтительно глядя сверху вниз па коренастого важного студента, говорившего внушительно и веско:

— Мы решили давать вам на прочтение книги из нашей нелегальной библиотеки, но учтите необходимость строжайшей тайны, иначе пострадает множество прекрасных людей. Даже, если хотите, погибнет. Вы понимаете меня?

Морозов кивал утвердительно, стараясь держаться солидно, листал неторопливо каталог, аккуратной чьей-то рукой записанный в толстой общей тетради, не проявлял бестактного любопытства, сдержанно и мужественно благодарил.

Но внутри его все пело, металось, ликовало. Господи! Хоть бы поймал его кто-нибудь, хоть бы пытали, вырывая ногти или поджаривая медленно на огне, — вот счастье-то было бы, при условии, конечно, чтобы студент узнал в конце концов: Морозов не выдал никого и умер молча и достойно.

Первые две книги были, впрочем, вполне легальные — из той естественнонаучной литературы, что просто не очень-то поощрялась. Он прочел их за день обе, просто проглотил, и ходил в счастливом тумане, выжидая три-четыре дня, после которых удобно будет сменить, чтобы не заподозрили, что не читал.

Во второй раз, преодолевая гнетущее и связывающее язык почтение, он поговорил со студентом и ощутил еще большее уважение к этим скрытным героическим людям: студент ради полного сохранения тайны даже о проблемах не только политических и социальных, но и о дарвинизме и психологии говорил нехотя, уклончиво, умело скрывая и ни за что не желая проявить несомненную осведомленность. Так, промямливал какое-нибудь общее место, а от обсуждения сразу уходил. И правильно, это лучший способ хранить тайные знания — вообще всякие знания прятать, тогда уж и до сокровенных не дойдешь. Морозов решил впредь поступать так же, но обычно не получалось: ввязывался в спор и все, что знал, тащил наружу.

В этот раз он получил журнал «Вперед», издаваемый за границей, и запрещенную книжку «Отщепенцы». Во «Вперед» он прочитал мало для себя нового, но зато книжка решила и определила его жизнь окончательно и бесповоротно. Пытаясь стряхнуть с себя нервное возбуждение, вызванное «Отщепенцами», он прошагал почти бегом километров десять, очутившись в конце пути возле дальнего загородного откоса Москвы-реки, где собирал с приятелем окаменелости. Здесь чуть опомнился, отдышался, умыл лицо снегом, немного снега поел, а обратно — эх, извозчика не попадалось — снова почти бежал, чтобы сразу и скорей прочитать по второму разу. А кусок из самого конца книги он вообще запомнил наизусть мгновенно и теперь повторял его, как пилигрим молитву.

— Да минует всякого молодого неиспорченного человека грязная чаша практической жизни! Пусть он знает, что эта жизнь неизбежно развратит его мысль и совесть и неизбежно омерзавит все его

поступки. Пусть он знает, что в этой жизни нет жизни, потому что практические люди — мертвецы, которые хоронят друг друга. Живой о живом и думай! А нет ничего живее Отщепенства, в котором во веки веков искали и находили спасение все честные и разумные люди, начиная с первых христиан и кончая последними социалистами.

Когда спустя несколько лет Морозов встретил автора и рассказал ему, как подействовала на него книга, высокий, густоволосый и седой Соколов чуть шевельнул пышными усами и громко, вкусно рассмеялся.

— Не вы первый, батенька, а надеюсь, и не последний. Я одних писем получил, почитай, под сотню. И не жалею.

— А чего можно было жалеть? — удивился Морозов.

— Так ведь черная романтика у меня, чистое голое отрицание, одно слово — нигилизм. А вот во имя чего отрицание, я пока не придумал. Но очень хочется.

— Во имя равенства, всеобщего братства, свободы, — озадаченно сказал Морозов.

— Подростете — одумаетесь, — сказал Соколов. — Во-первых, присмотритесь-ка, батенька: равенство противоречит братству. А? Не усмотрели? Братья — всегда старшие и младшие, какое же тут равенство. А свобода, она людям не нужна, — и он вдруг махнул рукой, резко оборвав разговор. Но Морозов молчал, всем видом своим настаивая на продолжении, и Соколов, остро и прямо глянув на него, серьезно сказал:

— Вы не думайте, я книжкой своей горжусь и от нее не отказываюсь. Но вы все читаете ее не как книгу, а как наставление по службе и стараетесь делать,

что написано. Вы так со всеми нелегальными книгами, кстати, — оборотная сторона нашего рабства. А надо думать! И может быть, еще раньше, чем учиться. Все это ломать надо без жалости, тут я прав, по попутно и думать тоже, как быть дальше. Не разделяете?

— Пока не понимаю просто, о чем р е ч ь , — честно ответил Морозов, и Соколов снова одобрительно захохотал.

— Хорош, хвалю за правду! — Он понизил голос доверительно. — И я не понимаю. Честное слово. Оттого и пью. Что строить, так и не решу пока. Ясно, что не эту вонючую буржуазную демократию, где все только жрут и плодятся. Но что? Если надумаете, не забудьте старика, ладно?

— Чт о в ы , — сказал Морозов, — уж если не вы, с вашими знаниями, с вашим кругозором...

Соколов обреченно поморщился и отошел, сильно потрепав Морозова по плечу огромной твердой рукой.

А еще совсем недавно был полон планов и устремлений блестяще образованный и безукоризненно честный человек, подполковник генерального штаба Соколов. Он строил свою жизнь уверенно и свободно, успевая всюду и всюду преуспевая. Он воевал на Кавказе, проявляя полное бесстрашие под пулями горцев, потом ездил с военными поручениями в Китай, а потом проявил бесстрашие куда большее, пожалуй (потому что без свидетелей, в одиночку): посетив в Лондоне Герцена, провез от него в Россию солидный запас запрещенных книг. А предвидя польское восстание, на крутом взлете карьеры подал в отставку, не желая участвовать в подавлении его. Писал статьи, много ездил и громко спорил, а главную книгу свою — «Отщепенцы», воспевающую каж-

дого, кто выступает в одиночку против всех, принес в цензуру в девять часов утра четвертого апреля шестьдесят шестого года. В одиннадцать же утра того дня у решетки Летнего сада Каракозов стрелял в царя. Тираж книги был изъят прямо в типографии (к счастью, далеко не весь; преступное небрежение российских полицейских еще много лет служило делу борьбы с властями), а Соколов — препровожден в крепость. У книги был и второй автор, но Соколов с военным спокойствием принял все на себя. Крепость — суд — крепость — отсидка — ссылка. Сперва Архангельская губерния, потом пустынное поселение под Астраханью. Настолько пустынное, что даже жандарма там не полагалось. Да еще пустыней стало оно от нагрянувшей холеры (Соколов пересидел ее в бане, запасшись едой и алкоголем). А потом исчез сосланный. Не скоро обнаружили его следы.

Но все это Морозов узнал потом. Сейчас он только прочитал книгу и голову положил бы за автора.

Возвращая взятое в библиотеку, он уже будто знал, что чтением не обойдется, был не то чтобы раскованней и развязней с хранителем библиотеки, но чувствовал, что обрел право спрашивать. И немедленно воспользовался им: спросил, нельзя ли ему познакомиться с кем-нибудь из других читателей на предмет обмена мыслями в дружеском кругу. И услышал поразительный ответ; с ним тоже хотят познакомиться, и послезавтра, если это ему удобно, пусть в назначенное время придет по назначенному адресу.

В первую оставшуюся ночь он почти не спал, а во вторую удалось ненадолго заснуть. Он все эти часы придирчиво просматривал свою жизнь и себя самого, с отчаянием находя, что для великого и чистого дела борьбы за свободу не подходит ни в коей ме-

ре. Но зато он готов к любым испытаниям, согласен немедленно отдать жизнь — возможно, это оценят те героические люди, встреча с которыми предстоит.

Напоследок завтра он пришел точно в срок (самыми трудными были полчаса бесцельного кружения вокруг назначенного дома, чтобы не надоедать до времени), какая-то девица сухо сказала ему, что за ним зайдут, и уселась читать книгу, и за ним зашел, действительно, молодой человек с густой бородой и серьезным бледным лицом. Он тоже сказал, что тайна должна сохраняться свято, потому что иначе неизбежна гибель многих прекрасных людей, и повел с собой обмирающего, но державшего себя в руках Морозова.

Они оказались в огромной комнате замоскворецкой квартиры, где стоял рояль, сидело пять женщин (красивых, стройных, обаятельных, особенно сама хозяйка) и десять или больше молодых мужчин. Они познакомились с ним, крепко пожимая руку, хвалили его статью в гимназическом сборнике, расспрашивали о планах на жизнь. Все были чуть старше его, года на два, на три, не более. А уже через полчаса он спорил с кем-то и с ужасом соображал, что ведь больше не позовут, зачем он спорит, идиот, надо соглашаться, но нечестно поддакивать, если не согласен. А вдруг и вправду не позовут? Позвали.

Всего один раз в жизни он напивался допьяна, до странного, будто сдвинутого и взвихренного состояния рассудка, когда все нипочем, но все в тумане, и будто залит туманом с головой, а язык работает отлично — собеседники ничего не замечают, но сам почти не осознаешь, что говоришь, что делаешь, и готов на что угодно. Это было несколько лет спустя, его тогда напоили друзья, заставив пить без меры за попытку примирить их с одним отвергнутым ими

человеком. И напившись, — только радости такой тогда не было, — он вспомнил свое состояние в первый вечер нового знакомства.

Это поколение не пило совсем. И от легкого пуританства отчасти, но лишь отчасти, а главное — это совершенно не было им нужно. И хотя уже тогда безуспешно выясняли ученые социологи и психологи, что дает человеку алкоголь и отчего становится он необходимым, но этот частный факт они могли бы считать неопровержимым: то поколение, которому, по словам Глеба Успенского, «суждено было пропасть», а вернее, то состояние, в котором они все находились, та осмысленность, та посвященность и полнота существования, ощущавшиеся и м и, — алкоголя не требовали, были самодостаточными для жизни.

Морозов отвечал, участвовал в разговоре, но не спрашивал — это было верным признаком его смятения и выключенности. Он все воспринимал сквозь яркой радужный туман, звучащий и движущийся.

Надо ли говорить, что неописуемо прекрасную хозяйку дома — Олимпиаду Алексееву (а она еще пе-ла — и как! — песни о революции и бунте) он полюбил мгновенно, истово и навечно.

Только через два или три таких вечера он стал различать лица — приходили одни и те же; уже без страха участвовал в бесконечных и горячих спорах. Ибо спорили тут обо всем, и единого мнения не было ни по одной теме.

Хотя все вертелось вокруг одного и главного: более так жить нельзя. Потому что растет нищета и кошмарно бесправие народа, потому что угнетение его все тяжелее, беспощадней и изощренней. Надо раскрыть народу глаза на причины и природу этого зла, надо помочь народу выйти из покорного прозябания. Сделать это должно образованное сословие в

лице своей молодежи. Потому что, во-первых, самим существованием это сословие, самим получением знаний обязано народному труду, и надо этот долг вернуть. (Не говоря уже о том, что надо вернуть долг за отцов и дедов, веками ведших паразитическую жизнь за счет народного труда.) А во-вторых, образованная молодежь способна помочь народу выбраться из такого состояния, а человек, способный что-либо сделать для всего общества, обязан это сделать. Ибо самая цель человеческого личного существования — отдача всех сил и способностей общественному благу. А в-третьих, медлить более нельзя, ибо преступно само участие в жизни, устройство которой осуждаешь без попыток переменить его.

Переменить! В этом сходились все. Но как? И тут загорались споры, шедшие тогда — Морозов узнал это чуть позднее — по всей почти России, во всех почти ее городах, среди всей почти учащейся молодежи. Будто разом все одинаково ощутили и восприняли нечто, висевшее над головой, содержавшееся в самом воздухе, которым дышали, и заставлявшее решать, как жить далее и что надо срочно делать.

Одни говорили: хватит учиться бессмысленным отвлеченным наукам, надо жить в народе и помогать ему по мере сил. Другие говорили: не жить в народе, а немедленно призывать его к бунту. Третьи говорили: нечему учить народ, впору поучиться у него самим, потому что народ готов к бунту, готов воплотить в народную революцию свое извечное недовольство, надо лишь зажечь спичку, чтобы вызвать незамедлительный этот взрыв. (Их потом остро и безжалостно назвал один из кружка вспышкopusкателями.) Четвертые говорили: надо осмотреться и обжиться в народе, узнать эту великую и таинственную массу вчерашних рабов.

Так что, несмотря на споры, все сходились на одном и том же: пора в народ, в массу, в жизнь. Это единственный путь возвращения народу долга и воплощения себя в общественном служении. Стремление это, нараставшее, единодушное и массовое, было чистым чувством, чистым горением, и не трезвой холодной мысли было это горение остудить.

В первый вечер Морозов, оказывается, немного различал лица, потому что сразу запомнился ему человек о огромным, очень выпуклым лбом, шапкой курчавых волос, глубоко сидевшими большими глазами и могучей, очень ладной фигурой, выдававшей природную силу. Сергей Кравчинский стал ему другом на всю жизнь и неизменно, будто помня первые встречи, относился с чуть заметной покровительственной любовью, хотя старше был совсем ненамного. Он кончил артиллерийское училище, где-то даже послужить успел — непрерывно захлеб читая книги, а в комнате — чтобы не засиживались досужие офицеры — держа из мебели только одну табуретку, на которой сам и сидел. Просидел недолго, впрочем, — ушел в отставку, сейчас числился где-то студентом. Он уже постранствовал с приятелем, таким же силачом, как он, работая пильщиком дров, уже побывал у молокан, и уже был известен полиции, его искали. Вообще, как только появлялось в самом глухом углу России что-нибудь необычное, что-либо непривычно живое, недреманное око реагировало трогательно единообразно: схватить, связать, доставить, а только потом выяснить, кто, откуда и зачем. Гигантская работа еще предстояла ему, но одиночки уже испытывали участь, постигшую вскоре тысячи.

Сергей Кравчинский и сказал Морозову однажды, что к нему достаточно присмотрелись и пора ему узнать важное: это вовсе не кружок революционеров —

те, что собираются у Алексеевой. Настоящий хорошо законспирирован, и Морозова решили туда принять. Согласен? Неужели есть люди еще лучшие, чем эти, подумал Морозов, что же это делается, господа, как повезло в жизни, обидно только, что незаслуженно. И странно от того же самого: вот-вот разберутся в его никчемности, а тогда, конечно, прости-прощай вечера эти, и люди эти, и счастье это.

В конспиративном кружке оказались несколько человек из тех, что уже прекрасно знакомы были по спорам вокруг рояля Алексеевой. Но теперь он был принят, стал своим и его посвятили в историю (он слушал ее с замиранием сердца, как рыцарскую легенду, не подозревая, что всего через шесть лет будет писать об этом и три издателя наперебой станут просить его отдать работу именно им. А потом она пропадет и всплывет чуть ли не сто лет спустя, а его авторство обнаружится еще позже). Вот что это была за история.

Пять лет назад два студента Медико-хирургической академии решили, что настало время создавать истинно народную партию для борьбы за народные права. Так решали вокруг все, но этим двум в силу их личных качеств удалось больше других. Кружок, возникший тогда, исходил прежде всего из одной существенной идеи: первые камни в фундамент прекрасного будущего могут закладывать только безупречно чистые люди. И оттого нравственные качества членов кружка становились первым и главным мерилom при приеме в него.

Один из этих ребят стал тем гонцом и курьером, что явился однажды в пустынную дальнюю глушь, где жил, изнывая и перегорая, ссыльный писатель Соколов. Ему были предложены деньги, документы и помощь для побега за границу — чтоб участвовать в

новом журнале, обсуждающем без цензуры и страхов текущие русские дела.

— Согласен безо всяких условий, — радостно вскричал Соколов, валявшийся с утра до вечера под окном на огромной лежанке среди раскиданных вокруг повсюду книг и каких-то обрывочных записей. — Согласен! Сейчас только сожгу всю эту белиберду, — он кивнул на бумаги, — и давайте сразу же выпьем за ваше появление, ангел-спаситель.

Приехавший застенчиво, но твердо отказался. Он благоговел перед автором «Отщепенцев», но нашел в себе силы устоять.

— Да вы действительно ангел! — разочарованно вскричал Соколов.

Он выпил один и по-военному быстро собрал нехитрые пожитки. Через две недели он уже поселился в Женеве, равно привечающей всех.

Но пока собиралось и затевалось издание журнала, кружок начал важное просветительское дело, занявшись распространением книг — легальных, пропущенных цензурой, но раскупавшихся мало, а для постановки мировоззрения полезных. На издательских складах были завалы таких книг, и члены кружка принялись распространять эти книги по стране. Это была польза, не поддающаяся, казалось бы, измерению, но несомненная польза, доказательством чему — реакция недреманного ока. Книжным магазинам было очень скоро строго-настроено запрещено полицией иметь оптовые дела с нигилистами. Мера почти бессмысленная, ибо всегда находился подставной покупатель, но показательная — весьма.

Потом они издали несколько книг, запрещенных цензурой, — почти весь тираж полиция изъяла и сожгла.

А из Великих Лук исчез за границу при помощи того же кружка молодой писатель Ткачев, привлекавшийся к процессу нечаевцев, автор одной из прокламаций к обществу, три раза побывавший в тюрьме и два года в ожидании суда просидевший в Петропавловской крепости. Ткачев тоже сразу и безоговорочно согласился ехать.

Издавать журнал взялся бывший ссыльный, бежавший из Вологды, Лавров, когда-то полковник, математик, философ, автор знаменитых «Исторических писем», ставших на короткие годы евангелием, поднявших во весь голос эту странную, для того поколения неоспоримую тему — возвращения народу долга.

И вышел первый номер журнала «Вперед». Он, честно сказать, мало кому понравился — слишком оторванным оказался от того, чем они жили, слишком сухим оказался и умственным, потому что сам Лавров был таким, но все-таки это был журнал! А предисловие понравилось всем. И Морозову тоже — очень. Потому что в нем не было ничего конкретного, в любой конкретности нашлось бы спорное, а только один призыв заключался. Призыв и сигнал сбора — громкий, долгожданный, своевременный, как солнце весной.

Распространение книг, затеянное кружком (вот благодаря кому я читал все эти книги, подумал Морозов, а сколько же таких, как я) уже кончилось почти к этому времени. Еще приходили книги, отпечатанные в Женеве (кружок там устроил типографию — «Отщепенцы» Соколова оттуда и попали в Россию), по уже совсем другим увлекались теперь эти люди. Большинство занималось с рабочими, образовывая их, по большей части — обучая грамоте для начала. Занимались географией, историей, чита-

ли книги, обсуждали жизнь. Центр был в Петербурге. Москва была отделением кружка, одним из нескольких отделений. Морозова приняли сюда накануне полного разгрома во всех городах. Уже давно, правда, уехал в ссылку Марк Натансон, основатель этого кружка, а Николай Чайковский (кружковцев называли «чайковцами» по его имени, потому что всеми внешними связями, и знакомствами, и приемом новичков ведал он) уже отошел от общих дел.

А оставшиеся занимались с рабочими на петербургских и московских окраинах. Там были Тихомиров, Клеменц, Кропоткин, Синегуб, другие, там же была Перовская и еще несколько девушек. Уже им всем не много предстояло оставаться на свободе, и полный разгром кружка, десятки арестов его членов совпадут с сотнями других арестов — людей, пошедших тем летом в народ — бездумно, вдохновенно, с полным самоотвержением и великой надеждой. Такое только в России случилось за всю историю человечества. А беззаветная гибельная святость пошедших сопоставима лишь с такой же абсолютной неосведомленностью их о жизни и характере боготворимого ими народа. Потому что единственно реальные знания их, у многих бывшие с юности, казались им неверными под влиянием читавшихся книг, они друг другу и книгам куда более доверяли, чем собственному восприятию и памяти. А взрослые, городские впечатления были уже случайны — от словоохотливого извозчика, болтливового молодца из зеленой лавки, подвыпившего мужика с корзиною грибов. И оттого они еще более верили друг другу, книгам и статьям, уверявшим, что надо только припасть к народу, как Антей к земле, и все несправедливости и неустройства рухнут от этого слияния.

* *
*

Петр Алексеевич Щепочкин, мужчина сдержанный и суховатый — не оттого, пожалуй, что был таким, но оттого, скорей, что такими представлялись ему английские джентльмены, — никогда не хвастал своим многочисленным и частым гостям (дом был богатый и хлебосольный) учебными успехами любимого старшего сына Николая (носившего, впрочем, фамилию Морозов — по матери, с которой Щепочкин не венчался, детей своих, тем не менее, открыто признав). Успехами же сына Николая он не хвастался не только от сдержанности, которую тщательно лелеял, заметив, как она поднимает его в глазах окружающих, но и потому, что хвастать было решительно нечем. Из рук вон плохо, а главное, совершенно неровно и непонятно учился сын Николай. То поражал учителей неведомо откуда взявшимися знаниями университетского уровня и толка, то запускал предмет, никакого чувства вины упрямо при этом не обнаруживая. Два раза он в результате проваливался уже на экзаменах и сейчас — в девятнадцать лет! — переходил еще только в седьмой класс гимназии. Чрезвычайно способен и усидчив, если хочет (но почти никогда не хочет), рассеян и вечно занят чем-то посторонним — вот что говорили учителя раз, а то и два в год приезжавшему отцу, уездному предводителю из Ярославской губернии, владельцу миллионного, очевидно, состояния в лесах, угодьях и земле, потомственному дворянину, англоману и меценату Щепочкину.

Он не то чтобы расстраивался при этом — нет, он предпочел бы ясно понимать сына, знать, чего тот хочет, но сын, кажется, и сам не очень-то это знал. Потому что всего хотел и всем интересовался: астро-

номией, геологией, химией, историей, зоологией, чем-то еще, но никак не прямыми учебными предметами гимназии. Хотя не отрицал вовсе, что без них обойтись нельзя, и преданно кивал отцу в ответ на добрые наставления. Одно только Щепочкин знал твердо: сын никогда не врет, это в нем удалось воспитать. А что взбалмошен и разбросан, — соберется, время терпит и состояние позволяет. Искренность же сына и честность безусловно радовали Щепочкина и не оставляли сомнений, что по крайней мере будет он все время в курсе дел и интересов сына, а значит, и повлияет когда нужно. Он умел влиять, любил влиять, легко решал уездные споры и тяжбы и относительно всего на свете был уверенно спокоен.

Летом Николай не вернулся, как обычно, в имение. На две телеграммы не было ответа. Будучи по делам в Москве, нисколько не специально и не срочно, Щепочкин зашел к его товарищу по гимназии, у которого Николай жил и брату которого, владельцу дома, аккуратно переводились за него деньги. Там он узнал, что Николай уехал куда-то давать уроки. Гимназист юлил и смущался — тоже не умел, видно, врать. Щепочкин не стал вникать, он оставил сыну сухую записку с приказом немедленно возвращаться домой и адресом на всякий случай своей московской гостиницы. В гостиницу никто не пришел.

Через два месяца Щепочкин снова был в Москве (дел никаких, но властно потянуло съездить). Николай нигде не было, а из гимназии, как выяснилось, его уже давно исключили, так как еще летом его документы забрали жандармы, объяснив, что Морозов Николай занимается ныне противоправительственной пропагандой.

Щепочкин не ахал и не суетился. У двух московских друзей он взял рекомендательные письма и вме-

сте с визитной карточкой послал их шефу московских жандармов генерал-лейтенанту Слезкину. Тот принял его на следующий день, был сама любезность и успокоил: ни в чем отличительно серьезном его сын, к счастью, не замешан. Только что летом по европейской части России прошла какая-то повальная волна сумасшествия учащейся молодежи: насчитано уже свыше тысячи, и число это день ото дня растет. Студенты вдруг двинулись в народ проповедовать идеи равенства и братства. Где призывали прямо к бунту, где просто обучали грамоте, но не без подстрекательства к последующему мятежу, где просто подбивали выступать за уменьшение податей и передел земли. Читали при этом желающим книжки возмутительного содержания и явно заграничного производства, хотя на русском языке и с хитрой подписью «дозволено цензурою». Книжки — о пугачевском бунте, о том, что начальство обирает тружеников, о том, что всюду власть станowych, исправников и богатых мироедов и что надо готовиться к всеобщей смуте, чтобы в результате ее все стали равны, и крестьяне земель владели сами, кто сколько ее осилит. Словом, все на французский манер, только в русском исполнении. Желторотые студенты, различимые ясно за версту, хотя и оделись в смазные сапоги, сермягу и посконные рубахи, ничего о деревне не знающие, даже того, что грамотных там почти нет, несли и несли свои книжки и разговоры. Это было какое-то безумие — цифру вы себе представляете, господин Щепочкин? Их ловили почем зря, крестьяне сами грузили их на телеги и сдавали, становые и исправники сбились с ног — более тридцати губерний посетили эти обезумевшие толпы студентов! Тюремьы забиты до отказа, их держат в полицейских частях, неясно пока, что это за повальное сумасшествие. Однако же, несмотря на

разность идей и самую непонятность их народу, все это идеи бунтовские, протестующие, видам правительства и самому правительству нескрываемо и отчетливо враждебные.

— Однако по неподготовленности и зеленой наивности это массовое безумие более всего напоминает крестовый поход детей, — добавил Слезкин, историю любивший и знавший, отчего службу свою почитал ответственной и патриотической в высшем историческом смысле. Щепочкин, к истории равнодушный, молча кивнул головой несколько раз, терпеливо ожидая разговора собственно о сыне. И Слезкин понял его и сердечно сказал:

— Извините, бога ради, что забиваю вам голову сведениями по своим печалям, сейчас перейдем к вашей.

Он придвинул к себе выписку, приготовленную для него еще вчера.

Щепочкин услышал совершенно неожиданные вещи: его безусый Коля оказывался одним из серьезнейших смутьянов и возмутителей. Кроме пропаганды среди крестьян в Даниловском уезде (как же близко был, просто рядом, хоть заехал бы успокоить мать), кроме не подтвержденных покуда других путешествий по деревням в видах подготовки смуты он обвинялся в давней, еще не выясненной досконально пропаганде среди учащихся, ибо основал какое-то тайное общество и выпускал рукописный журнал.

— Извините, — заторопился Щепочкин, — извините, тут я осведомлен в деле. Это был совершенно безобидный, чисто гимназический журнал, где их компания помещала свои статьи о научных изысканиях, — в том, естественно, виде, как они выглядят у гимназистов, и совершенно невинные юношеские стихи.

30 Журнал этот легко найти и представить...

— Не трудитесь, — сказал Слезкин, сняв очки и близоруко глядя на собеседника усталыми добрыми глазами. — Не трудитесь. Кара за журнал такого рода и его безусловное восприятие — все равно неотвратимы, если уж мы вмешиваемся сюда. Сегодня там безобидные статьи, а завтра им не хватает этого безобидного содержания — сменились интересы, стало скучно, пришел новый автор, просто не успели набрать достаточно стихов и описаний своих экскурсов в науку — бац! — и появляется яркий, неистовый памфлет против порядков и предрержащей власти. Отчего? Откуда вдруг? Почему? Зачем, главное? Неизвестно. Так захотелось, так получилось, так написано. И уже это не гимназический наивный кружок издает невинный рукописный журнал будущих дарований, а молодые смутьяны пробуют свои зубы. В направлении такого рода, знаете ли, есть некая пряность, соблазнительность, заманчивая легкость первого вступления на стезю умственной зрелости. А дальше пошло-поехало. Путь-то наклонен, а у нас в России — круче всех. Поэтому не затрудняйтесь представлять нам журнал, ибо сам факт, что он е с т ь , — доказательство вины большее, чем его содержание.

— Слишком хорошо понимаю в а с , — сказал Щепочкин удрученно.

— Заметьте притом — я не сгущаю к р а с к и , — сказал Слезкин удовлетворенно. И еще более расположился к собеседнику. — Так что, когда сын ваш появится, речь будет идти не об оправдании, а о снисхождении. Но оно зато не замедлит, и это я вам обещаю твердо. В этом смысле и советую вам написать сыну, как только он объявится в поле зрения. Засим честь имею.

Слезкин встал и с приятной улыбкой пожал сильную руку завязанного охотника Щепочкина.

И в декабре того же злополучного семьдесят четвертого года сын действительно объявился. Маленьким конвертом короткого письма, пришедшего из Женевы. (До сих пор целы это письмо и сам конверт, уже более ста лет аккуратно хранясь в фонде вещественных доказательств громкого судебного процесса над участниками хождения в народ. Крупный, аккуратный гимназический почерк. Таким он и остался на всю жизнь, только стремительнее стал и менее разборчив.)

«Папаша, обстоятельства заставили меня бежать из России. Я попался в одном тайном обществе, по которому в настоящее время производится следствие. До сих пор я скрывался в России и потому не мог ничего написать к вам, потому что если бы письмо мое распечатали в почтамте, то узнали бы, где искать меня.

В Москве я приходил к вам в Кокоревскую гостиницу в назначенное время, но не застал вас, а на другой день меня уже предупредили, чтоб бежал из Москвы.

Теперь я нахожусь в Женеве. Напишите, что делается в семействе. Крепко целую всех. Н. Морозов».

Вот и пришла вам пора, господин Щепочкин, сидеть над вопросом из тех, что с легкостью разрешали вы для других, давая им внушительные и безукоризненные советы. А решаешь для себя — все предстает в ином свете, и куда запутаннее все, сложнее и непонятней. Вот ясно, скажем, что мальчишку надо приструнить и вернуть, но тон письма, однако, таков должен быть — это очевидно, — чтобы не чувствовался в нем перепуганный российский обыватель. Пото-

му что вдруг ощутили вы, господин Щепочкин — впервые, надо сказать, за ваши сорок с лишним л е т , — что ни состояние огромное, ни полная независимость от страха вас не гарантируют. Завтра же полетит все это прахом по обвинению в укрывательстве или сочувствии злоумышленным лицам. И умом понятно вроде бы, что законность уже есть нынче, и правопорядок есть, и правосудие, и права личности новым судебным уставом отчасти защищены, только все это — от ума, то есть от лукавого просто, а куда более тонким инструментом — чувством, ощущением, кожей всей, тесно прикосновенной к российской подлинной жизни, знаешь отлично и несомненно: чушь это все насчет законности и правопорядка. Легкий наружный узор на котле, где варится все по-прежнему, и где никакая законность, писанная хоть в ста томах, не спасет того, кто выкнет против властей или просто несообразно их видам. Но вам это стыдно, неприятно осознать, господин Щепочкин, и злость ваша — на что она, кстати, направлена, злость ваша? — переносится исключительно на сына, навлекшего на отца и всю семью не только позор, но и зловещую опасность. Оттого, господин Щепочкин, написав сыну сухое письмо, скорее даже верноподданного дворянина, чем рассерженного отца, вы поскорее едете и несете копию этого письма, злясь и негодуя — на кого теперь, господин Щепочкин? — в жандармское управление. Разве сын станет вас больше уважать за такую трусливую предусмотрительность? Разве это, наконец, имеет какое-либо отношение к будущему смягчению его участи? Нет, это простой и несомненный акт вашей личной, собственной осторожности: вот, дескать, господа, что написал я своему крамольному сыну , — видите, я не разделяю ничуть его убеждений, не подозревайте нас в единстве взгля-

дов. И этим вы отчасти отказываетесь от сына, господин Щепочкин, и злитесь в бессилии на него же за свою неодолимую боязнь власть предержажших, но согласитесь, что ему будет очень больно и стыдно узнать об этом, и вы тем самым роете пропасть между собой и сыном. А от таких разочарований в отце очень быстро взрослеют дети, затвердевая в своих былых взглядах, и уже ничего теперь вам не удастся объяснить своему сыну. Потому что фактом предусмотрительной подачи копии письма в полицию вы очень выявили себя, оказав рабскую заинтересованность в ее мнении о себе, а свободному человеку, свободно выбравшему себе путь и участь, как найти общий язык с тем, кто еще покуда даже внутренне — раб?

В письме своем отец рекомендовал «немедленно ехать в Россию и отдаться Правительству, а затем чистосердечно и откровенно рассказать о своих действиях». Суд примет во внимание и возраст, и раскаяние, писал отец. Если нет денег — явись в посольство или к консулу, рекомендовал отец. И советовал молиться, уповая на милость божию.

Письмо делало честь Щепочкину — российскому дворянину, но лишало его сына, ибо дети редко прощают родительские слабости, это одна из областей, где они жестоки, несмотря на полную доброту во всем другом. А что письмо это в виде копии сдано в жандармское управление, Морозов узнал на первом же допросе.

* * *

*

А в тот светлый день конца января, когда письмо отца еще только штемпелевалось в международном отделе московского почтамта, и усталый близорукий перлюстратор глядел на него, лениво гадая, читать

его или нет, ветер на Женевском озере ощутимо запах весной. И молодой эмигрант Морозов, сидевший на одинокой скамье под памятником Руссо на крохотном островке посреди Роны, отложил книгу и потянулся. Потом он протер очки, взял книгу снова, но ему не читалось сегодня. Им овладело вдруг томительное, от всего отвлекающее чувство невероятного счастья. И не беспричинного, вовсе нет. Во все не от возраста, весны и утреннего солнца. Вернее скажем, — не только от них. Жизнь так удалась, была такой полной и осмысленной, что иногда страшно становилось: ведь ничем не заслужил, может, все происходит по ошибке и она вот-вот откроется? Почему, в самом деле, кружок решил именно его отправить в солнечную Женеву для участия в издании газеты? Ну ладно, с этим просто повезло. К тому же было известно, что Морозова и щут, — лучше ему было пока уехать. Но ведь эмигранты, жившие здесь довольно уже давно и составившие теперь редакцию, могли, по справедливости говоря, встретить его ревниво и недоброжелательно, неправда ли? Двадцатилетнего вчерашнего гимназиста. Однако и тут сердечность, распахнутость и дружелюбие новых друзей были ошеломляющи — до слез хотелось оправдать душевную щедрость этих сильно побитых жизнью людей.

А разве это все? Газета «Вперед», которую меньше года назад с волнением и трепетом впервые взял в руки, теперь напечатала его статью о Даниловском уезде, о том, как он работал там в кузнице, обучаясь ремеслу, чтобы жить поближе к народу. А газету «Работник», предназначенную для русских рабочих и мастеровых — для ее издания и был он прислан, — уже сам он набирает в типографии почти с той же быстротой, что и его опытные в печатном деле старшие коллеги.

Днем он бегал на лекции географа Элизе Реклю, прочитал наконец всего Герцена и Бакунина, что были изданы за границей, десятки других книг и ощущал, непрерывно ощущал, что растет. А обедал он со всеми в клубе эмигрантов — в кафе мадам Грессо, жены коммунара, и несколько раз уже поднимался в горы и подолгу смотрел на Монблан. А вечерами часто ходил к привлекательному и странному человеку, писателю-эмигранту Ткачеву. Это он, высланный несколько лет назад за печатание прокламации к студентам, сразу согласился бежать, чтобы участвовать в заграничном издании. Только, в отличие от всех, он считал бессмысленным и невозможным поднять народ, все еще верящий в царя, и единственно разумным полагал тайный заговор для захвата власти. Из-за этого он почти со всеми разошелся, оказавшись в Женеве. Оторванные от страны эмигранты не только тосковали о России, но и болезненно любили все без исключения русское, а Ткачев говорил о возможностях народного бунта скептически, с недоверием и желчью. Никто не понимал, отчего Морозов нашел с ним общий язык, но зато все было понятно самому Морозову. Он тоже совсем не верил, что им удастся поднять народ. Он не верил в это еще тогда, участвуя в кружковых спорах, но только боялся возражать, думая, что, быть может, его опыт помещичьего сына — неправилен и односторонен. Походив теперь по нескольким десяткам деревень, поработав и пообщавшись с людьми, он окончательно уверился в этом. И никому не смог убедительно свою уверенность изложить. Иногда ему даже казалось, что спорившие с ним — умнейшие, притом уважаемые и любимые люди — надели на разум какие-то странные мысленные очки, мешающие им увидеть реальность в реальном свете. А Ткачев думал как Мо-

розов, и им было интересно обсуждать пути — иные, чем возбуждение народа.

Снова подул ветер, уже не пахнувший весной, холодный, и Морозов захлопнул книгу. Пора было идти обедать, он и так запоздал уже слегка ко времени их обычного общего сбора. Пешеходный мостик на берег Роны, зеленая аллея, четыре изученных до мелочей проулка, бульвар, подъем наверх — кафе Грессо. И ни на миг не оставляющее чувство, что жизнь полна, осмысленна, великолепна. А главное, впереди она столь же невыразимо и непременно светла.

Из-за двери маленького заднего зала доносился звучный, всегда чуть приподнятый голос товарища по редакции — старого эмигранта Жуковского.

— А на чем Нечаев провел Герцена? — громко говорил Жуковский. — На той же самой святой вере. Он ведь хитер был немисливо, Сергей Геннадьевич, к каждому имел подход. С Бакуниным он был горячий взбудораженный студент, в Москве со студентами, говорят — важный и деловой эмиссар революции, с Огаревым — пылкий романтик, заведомый мученик идеи, а к Герцену явился мужик мужиком. Огляделся вокруг себя в гостиной у Александра Иваныча, поокал немного о чем-то, а потом заметил дорогой ковер, приложил палец к ноздре да как шваркнет на этот ковер! Потом палец — к другой ноздре и на другой — как шваркнет! Александр Иваныч, конечно, в восторге: мужик пошел в революцию! И согласился дать денег на издание газеты, хотя — умнейший ведь человек — не скрывал: никакой личной симпатии и доверия Нечаев ему не внушил.

— Жук, но ты же себе сам противоречишь, — быстро сказал нервный Ралли, бывший нечаевец, тоже сотрудник редакции. — Значит, не всем мужикам можно верить.

— Нет!... — почти закричал Жуковский, не обращая внимания на подсевшего рядом Морозова, с улыбкой кивнувшего всем вместе. — Нет! Я себе не противоречу. Я просто о том, что и Герцен свято верил в труженика, потому только и обманул его Нечаев. И если совершится революция, я бы организовал специальный отряд для проверки всех прохожих. Позвольте, гражданин, вашу руку. Мозолей нет? К стене! — Последние слова он выкрикнул по-французски. Очевидно, разговор шел о Коммуне и ее ошибке, что не расправилась вовремя с врагами. А может, и о будущем России. Споры здесь возникали по любым и невообразимо разным поводам, но всегда стремительно переходили на проблемы всемирные и важнейшие.

— Нет, ты не прав, что так сужаешь, — начал было наборщик Гольденберг, но тут Жуковский заметил наконец Морозова, кивнул ему радостно, надеясь на поддержку, и протянул горячую слабую руку. Морозов пожал ее, но вдруг повернул ладонью вверх и патетически воскликнул:

— Мозолей нет?! К стене!

Все расхохотались. Жуковский смущенно отдернул руку и сказал удрученно:

— Что ж, правильно, к стене старого Жука, я от своей идеи не отказываюсь.

Однако был заметно сконфужен, и Морозов пожалел о своей по-молодому безжалостной шутке. Эти люди, давно оторванные от жизни России («Хоть бы умереть, сволочи, разрешили на родине», — говорил Жуковский), жили в мире своих идей, образов, умозрений и очень цеплялись за все, что пришло им в голову, неохотно расставаясь с самой бессмысленной находкой. Оттого и газета, издаваемая ими сейчас, была до чужеродности далека всему, что бурлило и кипело дома. Им приходилось приду-

мывать и приукрашивать, сочинять и измышлять материал, — так, как писали прежде в герценовский «Колокол», им никто не писал. Вскоре она и захирела, эта мертворожденная газета, — только на родине, на земле событий, о которых шла речь, имела бы она жизнь и дыхание, и Морозов это понял почти сразу. Это было единственное, что отравляло его безоблачную женеvскую жизнь, но куда он не решался произнести вслух свои мысли, обрекавшие этих людей снова на бесцельное прозябание.

— Ты еще не знаешь, — сказал Морозову Гольденберг, — что ты теперь революционная знаменитость.

— Это еще почему? — сказал Морозов, ожидая какого-нибудь дружеского подвоха в отместку за свой. Но все заговорили радостно и разом, потому что в их кругу такая новость была и отличием, и гордостью: в списке важнейших разыскиваемых преступников, тайно разосланном по всем полицейским учреждениям России, было только что опубликовано имя Морозова. Газета «Вперед» в Лондоне воспроизвела этот перечень из нескольких десятков лиц со всеми подробностями личных примет: «Роста высокого, лицо круглое, бледное, с тонкими чертами, борода и усы едва заметны, носит очки» — это было написано о Морозове.

— Однако примет не густо, — сказал он нарочито спокойно, возвращая газету. Гордость и счастье — как у чиновника от высочайшей хвалы или высокой награды — распирали его, и выдержка давалась с трудом.

— Ну теперь ты ближе, чем раньше, к цыганкиному прогнозу, — сказал Коля Саблин, друг по кружку, спутник по переходу границы, присяжный остряк, не могущий справиться с неутолимой и жгучей

потребностью по любому поводу шутить, а по возможности — и каламбурить. Он искренно, усердно и тщательно пытался удерживаться, сам видя и понимая, что качество его юмора вовсе не чрезмерно высоко. Он таким и остался во всех воспоминаниях, Коля Саблин, — прежде всего упоминали непрерывные шутки, самих шуток не приводя, потом — множество неоконченных стихов, потом — что был прекрасным товарищем, потом — как сжег бумаги и застрелился, когда полиция ломала двери его квартиры, где хранился динамит и документы.

А пока — молодой, гладко выбритый, с полноватым лицом солидного католического патера и быстрыми яркими глазами — он принялся рассказывать, изображая то перепуганного Колю Морозова, то настойчивую цыганку, поймавшую их в приграничном местечке под Вержболово.

— Красавчик, — восклицал он, вращая глазами, — дай руку, скажу судьбу, скажу любовь, скажу печали. Куда бежишь, молодой, почему не хочешь узнать счастье?

В какой-то момент он изобразил точно подловленный жест Морозова, и смех слушателей еще более воодушевил его. Теперь уже он просто врал, на ходу выдумывая дикие подробности о престолонаследии Морозова после смерти турецкого султана с обязательством не бросать гарем, а добавить туда, наоборот, пятерых русских нигилисток, но Морозов не перебивал его, сам с удовольствием слушал. Цыганка-то действительно была настоящая, в цветастом многочисленном тряпье, и с ребенком на руках, и с браслетами, и даже с папироской. Накануне их привезли в это пограничное местечко, переодев Морозова, как самого молодого и безусого, в наряд еврейской девицы, едущей в гости, а то и на смотрины, и

сходство было изумительное — скромная черноокая красавица с нежным бледным лицом сидела на повозке напротив трех зажиточных евреев (все трое одеты прилично, вовсе не в свои дурацкие столичные костюмы, а пейсы наклеены — первый сорт, правда, только у двоих, у одного, слава богу, свои, он работает здесь двадцать лет). Три пограничных разезда проехали за это время мимо них, скользнув равнодушным взглядом по семье знакомого еврея, исправно платившего им за поездки в гости через границу и провоз нехитрого барахла для торговли. А в пограничном местечке — вот парадокс — было уже настолько безопасно, что им даже позволили погулять, дав и Морозову чей-то лапсердак по росту (одежду им отдали уже на той стороне) — тут им и попалась цыганка. Он бы дал ей мелочь и уклонился от приставаний, но ей повезло: она нечаянно угадала его имя, и он ошеломленно застыл, удивленный, как и его смешливые спутники. А она, обрадовавшись удаче, стала что-то быстро высматривать у него на руке, понесла несусветную чушь о любви, изменах и торговле, постепенно выпросила рубля три — деньги немалые и вдруг со строгой важностью сказала: «Не ходи, Николай, через границу!» Тут они все трое залились жизнерадостным смехом, поняв, что цыганка приняла их за молодых контрабандистов, часто шнырявших в этом удобном месте со своим товаром, и ушли на последней зловещей фразе, даже не вспомнив о ней, когда назавтра переходили границу.

Морозов смотрел, улыбаясь, на своего тезку и друга Саблина и вспоминал с расслабленным послеобеденным благодушием, каким взрослым, загадочным и суровым показался он ему ровно год назад, когда зашел за ним к какой-то сухой девице, чтобы привести впервые в кружок Алексеевой. Год назад! Кажет-

ся, что прошла вечность, столько впечатлений было за этот год. И Саблин теперь кажется старинным, давним-давним другом.

— И его ближайший друг — он его таким называл, во всяком случае, на деле-то он никому не верил и ни с кем не дружил, — говорил между тем Ралли, внезапно начав и продолжая, как это умел только он, с когда-то прерванного места свой бесконечный рассказ о Нечаеве, с которым было связано все самое святое и самое мучительное в его жизни, — так вот этот друг, с позволения сказать, приносит мне архив Сергея и предлагает его мне — мне! — продать.

Все уже много раз слышали, скорее всего, эту историю подвига нервного и сублильного Ралли, но не перебивали. Гольденберг, добрый и преданный товарищ, даже помог ему, сочувственно и с интересом сказав:

— И ты...

— Избил его, отнял архив и выгнал, — с гордостью сказал Ралли. — Потом мы долго его сортировали с Бакуниным, очень много сожгли, а часть писем вернули.

— Как вернули, кому? — спросил Саблин.

— А он, когда с ним все поссорились, украл у многих письма, которые их компрометировали, — ответил Ралли.

— Вот это да! — присвистнул Саблин.

— И вот теперь ваш друг находит возможным общаться с близким соратником Нечаева, — ядовито сказал Жуковский, обрадованный случаем уколоть Морозова. И добавил патетически: — Общаться с Ткачевым! Кошмар и странность.

Но Саблин был настоящим товарищем. — Скажи мне, с кем общается твой друг, и я скажу тебе, кто ты! — патетически воскликнул он. Жуковский скроил

свою саркастическую гримасу. Гольденберг поощрительно засмеялся — он любил всех и никого не ограничивал в общении.

— Ткачев — очень талантливый и образованный человек, — миролюбиво сказал Морозов.

— Он хочет заговором захватить власть, — взорвался Ралли. — А тайный заговор — это всегда обман, генеральство, бесчестье, грязь и насилие.

— А в твоём всеобщем восстании, Руль, разве нет насилия? — спросил Жуковский.

— Но это насилие массы во имя завтрашней справедливости! — ответил Ралли напыщенно.

— В горячке, глядишь, и лишнего хлопнут, — хитро сказал Саблин, зная прекрасно, как боятся эти кровожадные теоретики даже упоминания о возможных жертвах. Убийство, генеральство и обман были самыми страшными понятиями в этих спорах после всего, что явил своей деятельностью Нечаев, были козырями, которыми покрывались любые доводы оппонентов. Всегда с обоюдным успехом. Оттого так нескончаемы и уже давно непродуктивны были эти эмигрантские споры.

Морозов встал, мягко отодвинув свой стул, и тут же поднялся Саблин. Он не уходил, только шепнул, что завтра зайдет с утра и сел обратно. На общий поклон Морозову кивнули сухо — все знали, что вечера он обычно просиживает у Ткачева. Но так как за полное бескорыстие и общее доброжелательство («Ты, как шенок, со всеми играешь», — сказал ему однажды, ссорясь, Ралли) его любили, то вслед за сухим кивком все лица выразили что-нибудь обратное: Жуковский подмигнул, Гольденберг широко улыбнулся, великан Грибоедов показал волосатый кулак, и даже у Ралли явственно помягчело лицо. Они еще и потому любили Морозова, прощая ему пренебрежение

к внутренним раздорам эмигрантской колонии, что понимали: он вот-вот вернется к живому русскому делу. А это означало неминуемую тюрьму, и притом достаточно скоро.

А Морозов медленно шел по улицам Женева, ставшим ему привычными и знакомыми, будто прожил тут долгие годы, и жалел, что не курит, — ему всегда казалось, что папираса или трубка снимают или ослабляют любое душевное напряжение, именно оттого так цепко пристрастие к ним курильщиков. Ему бы хотелось сейчас взять папираску, легко зашмолить ее спичкой, затянуться — и чтобы спала тяжесть, нахлынувшая вдруг сразу после ликующего утреннего чувства легкости и счастья. Тяжесть эта возникала последние дни неизменно после разговоров с новыми друзьями, этими осколками прошедших освободительных волн. Тут и жалость была, и стыд, и снисходительность, и страх оказаться однажды таким же выброшенным за борт жизни и не понимать этого, и еще что-то смутное было здесь, и острое ощущение срочной необходимости решаться на что-то и уезжать. Но на что? В России все арестованы, только Клеменц успел уехать за границу да скрывается где-то друг Кравчинский, но уже ясно как день, что открытое возбуждение деревни, пропаганда с наскоку провалились полностью и безвозвратно. Кто-то еще шумит о возобновлении, о свежих силах, — пусть попробует пожить в деревне. Еще до того, как его арестует мгновенно приезжающий исправник, он успеет услышать равнодушно-обреченное: «Не нами это заведено, не нами и кончится».

А иногда и того хуже. Поработав кузнецом в глухой деревушке под Даниловом и недолго побыв после этого в Москве, он пошел с товарищем под Кострому заниматься пильщиком дров. Товарищ вскоре про-

студился там в ледяной болотной воде гниловатого леска, который они валили, пришлось возвращаться, и по дороге они заночевали в одной избе, где Морозов спросил у хозяйки, не слыхала ли она о недавно приезжавших под Данилово городских студентах. Та обрадовалась и охотно рассказала заезжим, что на самом деле, вся округа это знает, были там не студенты, а внушители-колдуны. Они давали грамотным читать особые книжки, а там на каждой, почитай, странице — черное слово. Оно с виду обычное, но как прочитал его — спохватываешься, да поздно, уже ты в их власти. А для неграмотных устраивали гулянья, построили в имении у барина качели, а сами ходят в толпе, желающим дают в зеркало поглядеться. А как посмотрел — все, уже ты ихний. Тут они ведут тебя в горницу и на левую руку повыше локтя ставят антихристову печать — теперь будешь всю жизнь делать, что они велют.

Рассказав это, хозяйка горячо побожилась, что говорила чистую правду, потому что сама видела на одном такую черную печать.

У Морозова опустились руки после того, как он узнал, в какие слухи обращаются их разговоры, но никому в те шальные месяцы был неинтересен чужой опыт, каждый спешил набраться своего. Только не каждый успевал до ареста, и оттого надежды на народ и споры о его участии в завтрашней революции долго еще не угасали.

Ткачев же говорил лаконично: «Нечего обращаться за помощью туда, куда надо, наоборот, протягивать руку помощи». Ткачев предлагал заговор, захват власти и только тогда — переустройство. Безраздельно согласных сторонников у него было двое или трое, и то включая жену. Он был категоричен и неуступчив. Прямо глядя на собеседника стального цвета

жесткими глазами, он говорил все, что думал, не скрывая ничего. В том числе — и свое мнение о собеседнике. В эмиграции к нему почти никто не ходил. С издателем газеты Лавровым он рассорился сразу по приезде. Он с юности был таким, Ткачев, и, когда мечтал о переустройстве страны (вся жизнь его с гимназической скамьи была посвящена лишь этому одному), то додумался однажды вот до какого плана: уничтожить всех, кто старше двадцати пяти, и тогда неизбежно сама собою жизнь пойдет по-иному.

Ему было сейчас тридцать, но никакого превосходства или назидания не почувствовал ни разу Морозов в его тоне, хотя уже давно оценил глубочайшую и разностороннюю образованность его и острый публицистический ум. Общение с Ткачевым доставляло Морозову еще одну тайную радость: что-то, значит, есть во мне, часто думал он, возвращаясь, раз я дружу с таким человеком и ему со мной интересно. Что-то есть. Знать бы, что именно, легче бы придумал, как жить дальше.

* *
*

Ткачев сидел у камина явно расстроенный и вялый. Он приветливо улыбнулся Морозову, крепко пожал ему руку, усадил, а жена его, полная красавица-блондинка с голубыми, но не кукольными глазами, немедленно принесла чай.

— Сидим в о т , — медленно заговорил Т к а ч е в , — и вспоминаем суд. Меня защищал Спасович — вам знакомо это имя?

— Я читал полный отчет о процессе , — кивнул головой Морозов.

— Спасович очень талантлив , — сказал Ткачев. Жена согласно наклонила голову, и Морозов подумал, как много сил черпает, очевидно, Ткачев от этого мол-

чалимого и преданного многолетнего одобрения всего, что он делает и говорит. Они — настоящая пара, подумал он.

— Он себя прекрасно проявлял, когда еще не был адвокатом, — продолжал Ткачев. — А жена мне напомнила, как я обиделся на Спасовича, когда он сказал в защитительной речи, что мы несколько не опасны правительству, потому что у нас ни связей, ни денег, и что оправдать нас следует именно в силу этой лишенности всего, что необходимо для серьезного дела. И я вот опять сижу и огорчаюсь, что в словах, ради добра нашего сказанных, было столько злой и обидной правды.

Типично эмигрантское расстройство духа, подумал Морозов, но вслух ничего не сказал. А Ткачев, прощательный человек, сказал, уставясь в пего неподвижными глазами:

— Не подумайте только, что я жалуюсь вам на излюбленную эмигрантами тему о безденежье и одиночестве. Наоборот: вчера мне сообщили, что появились деньги на издание газеты. Она будет называться «Набат». Нравится?

— Очень рад за вас. Очень, — искренне сказал Морозов. — И название великолепное.

— Хотите принять участие? — неназойливо и как-то вскользь бросил Ткачев. — Буду рад.

Морозов конфузливо улыбнулся, не желая категорически отказываться, чтобы не обидеть любившегося и уважаемого человека, но Ткачев все понял сам.

— Знаю, з н а ю , — сказал он, болезненно поморщившись. — Знаю, что сейчас издавать нелегальную газету имеет смысл только на родине, иначе она обречена на равнодушие или пустоту, как «Вперед» или «Работник». Но не выходит покуда. Да я и не печачу

люсь. Пусть будет орган, в котором сами революционеры почерпнут мысли и идеи, а уж до них-то мой «Набат» донесется.

В тот вечер они еще долго и очень дружески разговаривали, будто расставаясь друг с другом. Ткачев оживился под конец, был полон планов, а Морозову захотелось, наоборот, уйти и немного отсидеться, подумать ему хотелось — одному. На островке Руссо уже темно, вот жалость какая, сейчас посидеть бы под этой молчаливой статуей и почитать, как бывало, книгу, непрерывно во время чтения думая о чем-либо еще. Ну да ладно, завтра ведь снова утро.

Он заметил на столе у Ткачева старое издание шиллеровского «Вильгельма Телля» и попросил на день-другой. Он любил всех писателей, не боящихся романтики и пафоса, а Шиллер был не последним из такого ряда. Он уже года три не перечитывал его. Домой он возвращался медленно.

Сегодня был какой-то странный день, ему все время хотелось остановиться, присесть и неторопливо, основательно подумать. Может быть, память его машинально отсчитала год? Ровно год назад он мучительно думал дня три подряд, как ему жить дальше. Не хотелось бросать науку, а понимал, что новые друзья с их планами и наука — несовместимы. Тогда он ходил и ходил, то по улицам, то по комнате, очень мало спал, то днем, то ночью, урывками, перебирал все, что надеялся сделать в науке: и астрономию, и увлечение зоологией, и геологические, такие успешные раскопки. А путешествия? А история? А химия? Все это приходилось бросать и, конечно же, навсегда. Но оставить новых знакомцев он уже тоже не мог и потому думал, терзаясь и отчаиваясь найти выход. Потом его вдруг осенила мысль простая, но яркая и точная, будто подсунул ее кто-то лукавый, до поры

помучив Морозова. Вот такая мысль: бросить дело свободы было бы просто подлостью сейчас с его стороны, было бы трусостью и мерзостью, и не только он не простил бы себе этого никогда, но и природа не раскроет своих тайн такому ничтожному человеку. Значит, пока борьба, а потом, коли уцелеет, — наука. И он радостно принялся раздавать свои многочисленные коллекции, свои научные книги, свои любимые приборы, в числе которых микроскоп был ему особенно дорог и потому подарен самым первым. И облегчение чувствовал тогда огромное, и подъем, и одушевление — вернейший признак, что выбрал единственно верный путь. И вот пролетел год, и он снова думает, терзаясь, и уже совсем не о науке, уже и в новой жизни оказались развилки, тяжелые необходимости выбора.

Уже давным-давно кончились деньги, выданные ему кружком, и неудобно было просить новых. Неудобно потому, что сумму он получил большую, но почти все на второй день приезда отдал ненадолго займы, а догадавшись, что это наверняка без отдачи, огорчился на полчаса — пока не сообразил, что прекрасно может жить в типографии. И теперь уже месяца два постелью ему служила огромная ровно уложенная стопа испорченной типографской бумаги, и такими же листами бумаги он уютно укрывался, как одеялом. Зато высоту подушки было легко менять, лишь протянув руку за новой кипой, а наборные кассы типографии выглядели снизу необычно и экзотически.

Он улегся на свое издательское ложе и раскрыл «Вильгельма Телля». Все было в этой пьесе знакомо ему. Вот в ужасную бурю среди всеобщего страха за жизнь Телль спасает на лодке беглеца — человека, убившего всесильного наместника, который посягнул

на честь его жены. Вот собираются среди ночи на берегу озера жители горных сел и дают клятву стоять вместе против всевластного поработителя. Среди них нет Вильгельма Телля, вольного стрелка, и вот организатор тайного заговора уговаривает Телля идти с ними, Телль умело отнекивается. Тот настаивает. Диалог их прекрасен, одно из лучших, наверно, мест пьесы.

- Соединясь, мы сделали бы много.
- В крушеньи легче одному спастись.
- Ты холоден к общественному делу.
- Надейся каждый сам лишь на себя.
- В союзе дружном слабые могучи.
- Но сильный лишь один всегда могуч.

И уже не настаивает этот человек, он разочарован в Телле, но тут вольный стрелок просто и веско заканчивает бесплодную их беседу:

- Я не хочу вам помогать словами,
Но будет вам нужна рука моя, —
Скажите слово, Телль пойдет за вами!

А вот наместник, жестокий и деспотичный, приказывает положить свою шляпу, чтобы все кланялись ей, как ему, а за неповиновение — тюрьма. Он любыми средствами хочет сломить гордый дух всегда свободных людей. И Телль не кланяется шляпе. А вот он стреляет в яблоко на голове собственного сына и признается, не дрогнув, что в случае промашки второй стрелой пронзил бы наместника. И вот его везут в тюрьму, лодку застигла буря, он бежит и исчезает. Бессильно ропщут швейцарцы на новые жестокости наместника, но появляется из засады вольный стрелок Телль и пронзает деспота стрелой. Возникает на мгновение на утесе, говорит свои гордые слова и исчезает непойманный и неуловимый.

все делать бесшумно, будто боясь разбудить кого-то или испугать, он встал, быстро схватил карандаш и зажег свечу. Спустя годы он осознал в себе эту смешную повадку: возникавшие идеи — их было неисчислимое множество, во многих томах его книг поместилась лишь часть и х , — эти идеи он всегда очень боялся спугнуть, как птиц или зайцев, и к бумаге, чтобы записать и х , — подкрадывался. Теперь он взял листок из какой-то статьи и на обороте записал: «Телль. Выстрел. Свобода. Ультиматум. Способ!» — и тогда только перевел дух. И тут же засмеялся счастливо: вот дурак, неужто он мог забыть такую блистательную идею, вовсе незачем было так спешить записывать ее. Но спать уже не хотелось. Очень хотелось е с т ь , — но еды в типографии не было, естественно, н и к а к о й , — а главное, рассказать кому-нибудь хотелось, с такой силой хотелось, что авторство отдал бы за собеседника. Но собеседника тоже не было. И бежать к кому-нибудь поздно. Оставалось ждать до утра.

Простая это была идея. Группа заговорщиков должна существовать, тесно спаянная верностью и честью. Но захватывать власть не надо, в этом Ткачев не прав. Не говоря уже о том, что и захватить-то ее не просто. Нет, главное — что не надо. Борьба по способу Вильгельма Телля. Революционная партия выносит приговор наиболее усердным слугам деспотии. И приводит его в исполнение. Во-первых, этим карается жестокое усердие, что заставит призадуматься многих, но главное — публикуются в нелегальной печати требования, при исполнении которых убийства немедленно прекратятся. Требования, элементарно человеческие, давным-давно ставшие нормой жизни во множестве стран: свобода слова, свобода собраний и обществ, всяческое послабление древнего и позорного сегодня недреманного ока. А уж

тогда — мирная пропаганда, подготовка и образование народа, постепенная всеобщая выработка идеала будущего строя. А для того, чтобы проложить к этому дорогу, найдутся готовые на жертву, и, конечно же, он будет первым из тех, кто вызовется на гибель. Не других же посылать первыми, если он придумал этот путь! Жалко мать, отец — человек твердый, но зато не будут десятками гнить по тюрьмам лучшие люди из молодежи, а послужат мирной пропаганде, как только она станет возможна.

Потом он часа на три уснул, проснулся с ощущением определенности и покоя; было еще слишком рано, пошел на свой любимый остров Руссо, но сегодня не читалось. С трудом он дождался времени, когда не жаль было будить Саблина, и ему — единственному ему изложил эту свою идею. Не только потому, что Саблин был верным другом и умным человеком, но и потому, что из нее следовало ясно и неопровержимо, что пора уезжать в Россию.

Идея не просто не понравилась Саблину, но возмутила и взбудоражила его. Он даже свою неизменную насмешливость и зубоскальство забыл, так ненавистна ему была перспектива подготовленного тайного пролития крови. Морозов убеждал его — сперва огорченно, но тихо, потом — в крик до хрипа. Он говорил, что не навязывает свою идею, что революционеры сами придут к ней в ближайшее время, отчаясь в пропаганде и озлясь от бесконечных арестов, от полной невозможности свободно общаться с народом.

И Саблин тоже кричал. Что цель не оправдывает средства, что в тайном убийстве пролитая кровь, даже кровь деспота и сатрапа, — это бесчестно пролитая человеческая кровь и что единичные покушения — подлый путь, кошмарный тупик, затягивающая пропасть. И про нравственность кричал, и про Нечаева.

(Меньше чем через пять лет Саблин будет, так же возбужденно крича, настаивать, чтобы ему доверили бомбу и позволили первым выйти на карету царя, но его не возьмут в метальщики, дорожа его опытом хозяина конспиративной квартиры. Он смертельно обидится, но это не помешает ему деятельно участвовать в подготовке нескольких покушений.)

С одним только Саблин согласился: уезжать в Россию. Немедленно, спешно, вместе. Возвращаться как можно скорее, потому что здесь впустую и бесполезно тратятся их жизни, нужные для настоящего дела. Хоть завтра. Только денег надо бы достать. А в Петербург написать сегодня же, что газета и без них на ходу, есть кому ее делать. О том же, что она бесполезна, лучше рассказать уже дома.

И все-таки провозились еще месяц. Деньги Морозову дала Вера Фигнер, русская студентка, учившаяся в Цюрихе и несколько раз приезжавшая к ним. Морозов еще в день первого знакомства влюбился в нее, но мужественно хранил это в тайне. Во всяком случае, он никому ничего не сказал, так что откуда это знали другие, было совершенно неясно.

Документы у них были прекрасные, в Женеве хорошо готовили документы, и однажды в самом начале марта большая толпа эмигрантов — беженцев из нескольких стран провожала их домой. В торжественно-приподнятом настроении были все — эти двое мальчишек радостно ехали на верную гибель, — но настроение не зачеркивало былых ссор и сплетен, и провожавшие стояли группками.

— Страшно видеть это, — сказал Саблин, когда они уже отъехали от перрона. — И жалко их всех безумно, и стыдно за них.

— О, зря ты, зря, — горячо возразил Морозов. — Я об этом много думал, Коля. Представь себе, что ты

просишь отца показать тебе героев войны, и он ведет тебя в какой-то странный дом. Здесь один без обеих ног — он отморозил их зимой на переправе. У другого выбит глаз и он глух — его контузило взрывом, когда он подрывал ночью неприятельскую батарею. Третий весь трясется, четвертый берет еду культяпками — руки отрублены у него в конной атаке. А нервные они все до обмороков и дрожи, но сколько они пережили! Мы ведь были в доме инвалидов, Коля, разве можно их осуждать?

— А почему ты, тезка, стихов не пишешь? — спросил Саблин, и крупное гладкое лицо его, помягчев, чуть посветлело изнутри, как всегда, когда он шутил с людьми, ему симпатичными. С другими оно твердело в таких случаях, это давно заметил Морозов.

— Я б п и с а л, — сказал Морозов искренне. — Мне хочется. Вот не выходит только. Хотя бы как ты, и то хорошо.

— Это почему же — хотя бы? — надменно спросил Саблин, и они заговорили о другом. Поезд вез их недолго. Предстоял заезд в гости (в Берлине был Клеменц, а в Цюрихе — Фигнер), потом снова дорога, пересадка, дорога, дом знакомого контрабандиста, к которому было рекомендательное письмо, и Россия, по которой оба смертельно соскучились.

А ночью на пути из Цюриха ему приснился Коля Саблин, переодевшийся цыганкой. Большое лицо его было подкрашено жженой пробкой, смоченной в крепком чае, и оттого выглядело дочерна загорелым, но женский сарафан свободно болтался на его отчего-то высохшей фигуре, и наполовину выступала из-под сарафана загорелая женская грудь с монистами, свободно спадающими с шеи, и он протягивал просительную руку и говорил: — Не ходи через границу, Николай!

Морозов проснулся, взглянул на безмятежно сопавшего Саблина, закинувшего голову на спинку жесткой вагонной скамьи, долго смотрел за окно, где зримо час за часом весна сменялась зимой, будто они пересекали время, и уснул опять, счастливый, что возвращается, что впереди изумительная жизнь, что скоро он опять увидит друзей, к которым успел привыкнуть, которых полюбил, которым верил, без которых уже себя не мыслил.

* * *

*

Рысаки дружно остановились, еще чуть подрагивая и встряхиваясь от возбужденного бега, и из крытой коляски стремительно выпрыгнул невысокий человек, одетый под распахнутым легким тулупчиком в красную рубашку и плисовые штаны, аккуратно вправленные в смазные сапоги. «Подожди!» — крикнул он кучеру, и тот почтительно наклонил голову. Городовой, почти не отходивший в то утро от ворот Летнего сада (обещал знакомый садовник вынести, когда уйдет старший, семена редкостной настурции иностранного привоза), сразу догадался, кто этот человек, и долго провожал его глазами с ухмылкой жадного удивления. Уже полгода, как им показали в участке его фотографии и объяснили, что наезжающего в Питер чудака-миллионера Селифонтова трогать ни в коем случае не следует. Даже когда претя в своей потертой синей поддевке и грубых сапогах в градоначальство или Дворянское собрание. Куда бы ни шел — не обращать внимания. Уже раз десять, если не двадцать, его забирали с криком «куда лезешь, рыло?», даже по шее, говорят, надавали раз под горячую руку; спасибо, хоть не жаловался, — чудака, но добрый. В Петербурге у него не дом, а дворец, в

Москве, говорят, такой же, а лесных и всяких угодий в Ярославской губернии — на миллионы. А он — мужик мужиком, разве что рубашка всегда чистая. И вот его велено не трогать, всюду пускать, будто не замечать, и специально для опознания всем показали фотографию.

Селифонтов пружинисто и весело пробежал по боковой аллейке сада, и возле мраморных скульптур, поставленных в круг, взял под руку высокого человека, одетого, в отличие от него, подчеркнута безукоризненно.

— Извините, что заставил ждать, Петр Алексеевич, — дружелюбно сказал он. — Я к вашим услугам. Но почему здесь, а не у меня, у вас или в клубе?

— Спасибо, что откликнулись, Владимир Сергеевич, — сказал Петр Алексеевич Щепочкин, сосед Селифонтова по ярославскому имению и друг по меценатским забавам. — Мне отчего-то показалось, что предмет нашего разговора, — он явно запинаясь, подыскивая слова, — более подходит прогулке, нежели любому из кабинетов. Я хотел бы поговорить о Коле. Вы знаете, что он сейчас уже не за границей, а здесь и в тюрьме? Был пойман при переходе.

— О господи, — сказал Селифонтов. — Не стану вас успокаивать, вы человек достаточно твердый. Но ведь он был где-то за границей еще полгода назад?

Щепочкин молчал и одну за другой чертил на песке линии острым концом своей трости.

— Но, предводитель, — сказал Селифонтов шуточным тоном, напоминая соседу время, когда тот был в уезде предводителем дворянства и умел находить пристойные выходы из любых конфликтов, предлагавшихся на его рассмотрение. — Давайте выкупим или украдем вашего прекрасного блудного сына. И почему это нельзя обсуждать дома? Поедем ко мне?

Щепочкин вдруг невесело засмеялся, и тогда только стало видно, что это жесткий, решительный человек.

— Не знаю, что это на меня нашло, — сказал он. — Глупею, возможно. Вдруг отчего-то показалось, что вот так, отвлекшись от нашей привычной обстановки, мы сможем обсудить проблему отцов и детей более, что ли, достоверно.

Селифонтов громко расхохотался, далеко закидывая голову, и Щепочкин со смущением и неудовольствием глянул на него. Смеяться над своими промахами он позволял только себе.

— Как мне это понятно, предводитель, — сказал Селифонтов, — уже сколько лет я пытаюсь устроить себе несколько разных жизней, и не выходит ровно ничего. Художники, несмотря на мою осведомленность в живописи, да притом еще порой лучшую, чем у них самих, все равно все время помнят, что я денежный мешок, покупатель, буржуа, но ни в коей мере не полноценный судья или даже собеседник. Одежда моя ни на йоту не помогает мне общаться с теми людьми, с которыми мне бы хотелось, — они что-то чужое безошибочно чувствуют во мне, и из этого не выпрыгнешь. И ваша идея поговорить не в кабинете и не в бильярдной — извините мне мой нетактичный смех — оттого и смешна мне, что понятна. Только — извините, бога ради, еще раз — обратите внимание, что и свиданье-то вы мне назначали запиской, посланной с лакеем, и не просто на улице, не на углу где-нибудь или в полпивной, а в Летнем саду, около ваших излюбленных скульптур, то есть в нашей, нашей обстановке, и нам никуда от этого не деться. Вы думаете, что радикалы или нигилисты — к кому там примкнул ваш Коля? — собираются и ютятся на улицах? Нет, у них свой климат, своя

обстановка и, ютясь на скамейке, мы не ближе к их психологии. Не так ли?

— Мне кажется, я лишаяюсь рассудка, — сказал Щепочкин. — Мне всего сорок четыре, неужели я не в силах понять, чем живет и чем дышит мой сын? Что с ним произошло и происходит? Отчего мы вдруг и сразу стали чужими людьми? Он ведь очень честный мальчик, мы всегда находили с ним общий язык. Владимир Сергеевич, я вас давно знаю, люблю и доверяю безмерно, — дайте мне совет, мне жаль терять сына. Если я, впрочем, уже его не потерял.

Селифонов вытащил небольшую серебряную папиросницу английской работы, но Щепочкин отрицательно качнул головой, и он закурил один.

— Если вы, Петр Алексеевич, — медленно сказал он, — делаете меня конфиденентом ваших отношений с сыном, то я позволю себе спросить сначала, что вы знаете о его жизни после исчезновения? Мы ведь ни разу с женой не расспрашивали вас, почитая бестактностью, хотя, признаюсь, чувствуя известное любопытство. Ваш Коля ведь далеко не ординарный человек, и профессорская будущность представлялась мне как минимум того, чего он достигнет в самом скором будущем. Если, конечно, расспросы не неприятны вам.

Щепочкин заговорил быстро и охотно, однако вмиг исчерпал все, что знал. Хождение в народ, беседа со Слезкиным, побег за границу, письмо, возвращение, арест. Все, собственно. И сына нет. И непонятно, как даже пытаться вернуть и образумить его. О своем письме и его копии Щепочкин сказал тоже. И умолк.

— Есть у меня один знакомый, — медленно заговорил Селифонов, как бы раздумывая, действительно ли можно звать знакомым этого человека, и, решившись, заговорил уже, как обычно, быстро, энергично

и оживленно. — Он человек сложный. Любит, как и я, грешный, пошататься ночью по значным местам, благо наш Петербург начинает приобретать эти европейские черты. Ну хотя бы эти, и то хорошо. Словом, в одном из них наше знакомство и состоялось. Со мной был приятель, и мы его спасли от избиения, если не убийства, — что там произошло, он так и не рассказал, его трое держали в углу, а мы, это случайно увидев, вмешались и их спугнули. Он, надо отдать ему должное, был разве только бледен. Благодарил, во всяком случае, за спасение от смерти. Преувеличивал, скорее всего. Если окажется, что вы его знаете, вернее, видели, — не удивляйтесь, он принят во многих домах. И главное, наконец, — это сотрудник Третьего отделения.

Щепочкин брезгливо поморщился.

— Брезгливость отложим, — сказал Селифонтов настоятельно. — Кроме того, это не вульгарный сыщик и не мертвый чиновник, это личность странная и одаренная. Что-то вроде консультанта, советчика, не знаю, как назвать. У него что-то явно не задалось в жизни — отсюда, скорее всего, и любовь к ночному риску, потому что в месте, где я его застал, играют по-крупной люди, к политике никак не относящиеся и о суде знающие только уголовном.

— Эх вы широко — от живописи до притона, — сказал Щепочкин с чуть порицающим удивлением.

— Скучно, батенька, — сказал Селифонтов просто. — Я бы, видит бог, хоть в разбойники подался, кистенем махать, да корысти нету, а без этого какой разбой. Скучно. Словом, поехали?

— А чем он поможет? — спросил Щепочкин. — Он влиятелен?

— Не знаю. Не буду врать. Во всяком случае, он доброжелателен и осведомлен — это пока лучше, чем

официальные каналы, после того как Коля отказался принести покаяние.

— Ну что ж, — сказал Щепочкин уныло и безнадежно. — Вдруг действительно. Спасибо вам, Владимир Сергеевич, я что-то совсем растерялся.

— Полноте, — сказал Селифонтов бодро. — Я сам люблю с ним видеться. Он еще не скис, это в наши годы редкость.

Они шли к выходу из сада быстро и молча. Щепочкин внимательно оглядывал проходящих мимо молодых людей, и лицо его, твердое, по-английски бритое, с бачками, ничего не выражало. Селифонтов был мрачен. Он шел и думал, что Щепочкин, умный и холодный человек, потерявший сейчас голову настолько, что додумался до свиданий на улице, имеет ведь еще шестерых детей, а у него, Селифонтова, детей никогда не было, а жену он любит, и детей, значит, уже не будет, а племянник Федя, он ведь племянник и есть, а был бы сын, Селифонтов не потерял бы его доверие и любовь такими рабскими эскападами перед властью, как Щепочкин. Хотя, подумал умный и желчный Селифонтов, страха и у него не меньше, дурацкое ощущение, что, случись беда такого рода, даже состояние может не помочь.

Городовой у выхода из сада чуть подтянулся, когда они проходили мимо, кучер лихо, но мягко взял с места, и через пятнадцать минут молчания — только раз Щепочкин вдруг сказал: «Мне бы не хотелось...» — но махнул рукой и замолк — они поднимались на второй этаж доходного дома на Лиговке.

— Так рад видеть вас, что не спрашиваю, чему обязан, — сказал чуть удивленно, но очень приветливо человек в халате, сам открывший дверь на звонок. — Прикажете переодеться или примете извинения?

— Полноте, оставьте церемонии и позвольте представить вам давнего друга моего и соседа — Щепочкин Петр Алексеевич. А вот, извольте любить и жаловать — Рузов Николай Васильевич.

Оба высокие, широкоплечие, прямые, они пожали друг другу руки, с машинальным удовлетворением отметив крепость и силу пожатия. У Щепочкина было твердое и обветренное лицо охотника и наездника, Рузов был бледен, и чуть одутловатое лицо его несло нескрываемый отпечаток жизни бурной и насыщенной, но проходящей в дыму и без воздуха.

— Прощу садиться. Что будете пить? Есть превосходный коньяк.

— Только немного, — сказал Селифонтов, глубоко и удобно усаживаясь в мягкое кресло. Щепочкин очень прямо и неудобно сел на стул, из-за чего вдруг почувствовал себя просителем. Рузов растворил маленький шкафчик-поставец, живо достал рюмки и бутылку, которую Селифонтов с интересом подержал, подробно рассматривая этикетку, разлил коньяк, молча дважды поднял рюмку, обратив ее к каждому по очереди с почтительным поклоном, и, выпив, сразу налил себе вторую.

— Прислуга у меня проходящая, — объяснил он. — Сейчас мы одни, я слушаю вас с полным вниманием.

— Сын Петра Алексеевича находится в Доме предварительного заключения, — сказал Селифонтов безо всяких предисловий, — это из тех нескольких сот, что занимались пропагандой...

— Несколько тысяч, — негромко поправил его Рузов.

— Этого я не знал, но дела это не меняет, — сказал Селифонтов. — Он возмутительно молод — двадцать два, кажется? — Щепочкин молча кивнул, а

Рузов остро и коротко глянул на него, — и мы оба хотели бы просить вас, милейший Николай Васильевич, для начала — а потом последует и просьба — объяснить нам, что происходит. Вы ведь осведомлены несравненно более, так, значит, вам и карты в руки в смысле понимания событий. А потом уже просьба. Не возражаете?

Рузов встал и прошелся по комнате. Остановился, отпил полрюмки и брезгливо коснулся губами ломтика лимона.

— Просьбу можете не излагать, все, что в силах, я, разумеется, сделаю и думаю, что кое-что могу. А насчет растолкования — берусь объяснить все только одной цитатой, единой фразой, если она вас устроит.

И спокойно сказал:

— Подгнило что-то в Датском королевстве. — И пожал плечами. Щепочкин вежливо улыбнулся, а Селифонтов серьезно и печально покачал головой.

— Нет, — сказала она, — это не объяснение. Я от вас монолога жду, а не цитаты. Вы этого ожидали, вы это предвидели, вы это понимаете? Ведь же все прочь, все побоку, конец истории, если наши дети — нам враги... И хорошие дети, кстати, — добавил он.

— Предвидел, — сказал Рузов. — Отчего же. Еще когда на процессе нечаевцев сидел. — Он коротко и остро глянул на Щепочкина. — Вас, очевидно, предупредил мой, смею сказать, друг о роде моих занятий?

— Предупредил, — ответил Щепочкин мягко и со всем обаянием, которое способен был волевым усилием проявить. — Какое это вообще имеет значение, зачем вы меня ажитированным дураком выставяете?

— Привык, — сказал Рузов усмешливо. — Извините, впрочем, ради бога. Привык. Знаю ведь, как

русские просвещенные умы относятся к нашей службе. Однако, если хотите, мысль моя единственно в том состоит, что виноваты нынче мы все — до единого притом. Это наше недовольство, наше фрондерство, наша оппозиция, наше бессильное презрение к порядкам и нравственному авторитету власти сегодня проявляются вовне. Молодежь — она что, она только стрелка прибора, жуткие вещи измеряющего. По нашей же вине обреченная, кстати сказать, стрелка.

Рузов резко замолчал и налил себе еще коньяку. Селифонов тоже выпил и застыл, не выпуская рюмку.

— По-вашему, выходит, — медленно сказал Щепочкин, — что это, значит, только начало?

— Совершенно точно, — сказал Рузов. — Молодежь только воплощает скрытое у отцов в умах и настроениях. Недовольны все, но все притерлись к жизни. А они — и вступать в нее не хотят. Они — только ртуть, а температура нынче у страны.

— Страна ест, пьет и размножается, — брюзгливо сказал Щепочкин.

— А разум ее — бьется в лихорадке, — быстро возразил Рузов. — Я имею в виду слой, который и решает ее судьбы.

— Я понимаю, — отозвался Щепочкин.

— Забавно, — сказал Селифонов.

— Это ужасно, если хотите всерьез, — ответил Рузов. — Могу еще один пример, если согласитесь ответить теперь на мои вопросы, Владимир Сергеевич.

— Давайте, — отозвался Селифонов. — С радостью, если сумею.

— Нет, нужна только честность. Умозрительный опыт позвольте произвести... Допустим, к вам приходит хорошо или даже мало знакомый человек и просит денег, зная вашу отзывчивость и ваше состоя-

ние, на издание подпольного листка — газетки, изобличающей продажность чиновников, темные махинации в сферах, нравы общества вообще с позиций критических. Тайна пожертвования разумеется сама собой, а приводимые факты вопиют и ужасают. Дадите денег? Типа «Колокола» листок, но здесь.

— Не раздумывая да м, — твердо сказал Селифонтов. — Всюду черт знает что. Страна больна. И если обычной печати заткнули рот, готов поддержать нелегальную Немезиду всеми силами.

— Ну вот, — обрадовался Рузов. — Вот вам ответ на ваши же вопросы. А ведь из лучших сынов отечества вы, ведь столп.

— Но на разрушение, на бесовщину не дам, — вмешался Щепочкин. — На поджог не дам и убийству воспрепятствую.

— Это сейчас не бесовщина вовсе, наш великий писатель дал промашку; Нечаев особняком стоял, судили, в общем, совсем иных, чем он, — говорил Рузов, опершись о бюро. — Возьмите хождение в народ, когда их и били, и выдавали, и не слушали, потому, что не понимали, а они шли и шли. Это чистые и, если хотите, святые люди. И притом дети, заметьте — совершеннейшие дети.

— Где-то я читал хорошую мысль — не у Жоржли Санд случаем, — задумчиво и медленно произнес Селифонтов. — Да, да, у Жорж Санд, конечно, — что если дети, лучшая часть нации, чистейшая во всяком случае, массой идет против отцов, то это очень плохо свидетельствует об отцах. Дети, вы правы, чистые дети.

— Прямо исход детей из Гаммельна, — сказал вдруг Щепочкин. — Но кто флейтист? Кто крысолов? Неужто Герцен и вся эта компания писак-эмигрантов?

— Нет! Не спешите искать виновных. Их листки—это, наверно, только музыка, — возразил Селифонтов живо. — А флейтист—сам российский климат, само наше общее настроение, — так я вас понял? — он обращался к Рузову.

— С вами приятно говорить, господа, — ответил Рузов. — Совершенно так.

— А мы ведь действительно смотрим на все это с любопытством неким — странным, отстраненным любопытством, — задумчиво и очень медленно — не привык, чтобы перебивали, — говорил Селифонтов, будто размышляя вслух. — А если обе стороны стрелять начнут?

— Совершенно уверен, что начнут, — сказал Рузов почтительно.

— И мы опять будем наблюдать это с тайным любопытством. А кому сочувствовать станем?

— Попеременно, — проговорил Рузов спокойно. — Кто будет удачливей, и действовал чтобы покрасивее, чтобы неприятно не было ему сочувствовать.

— Странно же это, однако, — сказал Щепочкин. — А как же устои наши, любовь к отечеству, они-то где?

— Любовь к отечеству и престолу — она у нас, развитого сословия, пробуждается и проявляется в отношении ко врагу внешнему, на мой взгляд, — сказал Рузов. — А тут мы ведь и сами колеблемся: и любим вроде, и понимаем, и привыкаем, а вместе с тем — все осуждаем, хотим перемен, а наши дети — прямое воплощение этого раздвоения нашего, только с фанатизмом молодости — дуют лишь в одну дуду.

— Вам это даже не странно совсем? — спросил Селифонтов. Рузов пожал плечами.

— Мало ли в человеке странного, — медленно ответил он, пристально глядя сквозь стекло своей

рюмки. — Чувство облегчения, например, и стыдной радости, когда умирает очень, очень близкий долго болевший человек. Не знакомо?

— Хороший вы человек, — произнес Селифонтов мягко и соболезнующе, ощутив, что Рузов говорил о чем-то сокровенном.

— Благодарю.

— Но если это так, — продолжал Селифонтов, — то дальше будет гораздо хуже и страшней, не правда ли?

— К сожалению, да, — равнодушно ответил Рузов.

— А что именно будет? — спросил Щепочкин.

— Не знаю, — энергично отозвался Рузов. — Я уже бывал Кассандрой, больше, признаться, не хочу. Вы меня спрашивали о том, что совершается, — вы сами и ответили. Речь может идти только об отдельных людях — о вашем сыне, например. Тут я сделаю что могу, и в самом скором времени. Если вы его, например, получите на поруки, — надеюсь, справитесь?

— О, я постараюсь, — оживился Щепочкин. — Наше взаимное доверие было недавно полным, и я очень надеюсь на свои силы. Вы можете этому поспособствовать?

— Многих отдадут, — сказал Рузов. — Так что тут моей заслуги не будет. Это не избавит его от суда, который непременно последует, но решение суда вряд ли будет строгим. Скорее всего — снова отдадут под надзор. Но хорошо бы воздействовать на него раньше, чтобы суд услышал раскаяние или хотя бы твердое обещание не возобновлять прежних занятий.

— Я постараюсь, — повторил Щепочкин. — Вы мне возвращаете надежду. Это мой первенец. С благодарностью пью ваше здоровье. — Он взял рюмку.

— Не стоит благодарности, — ответил Рузов. — Я буду рад, если что-нибудь получится. И видеть вас буду рад всегда. Располагайте мной и пожалуйста.

— И еще у меня сомнение, — медленно заговорил Щепочкин. — Не сочтите за недоверие, ради бога, поймите мои чувства отца, я хочу, чтоб было наверное...

— Никаких денег тут никому давать не придется, — надменно сказал Рузов.

— К счастью, мне это даже в голову не пришло, не осмелился бы сказать, — усмехнулся Щепочкин облегченно. — Нет, я о другом. Не полезнее ли будет для быстреешего разрешения обратиться с этой просьбой к министру юстиции, чтобы не затруднять вас одолжениями у кого-то? Я не сомневаюсь в ваших силах, но я хотел бы наверняка. Пути у меня есть, признаться. Я от беседы с вами опомнился как-то.

— Знаете что, — проговорил Рузов усмешливо, — я не люблю и не хочу проричать, но, к сожалению, глубоко уверен, что в будущем вам еще предстоит обращаться ко многому множеству высоких лиц со всякими просьбами о сыне, и потому сейчас, когда можно обойтись без этого, — не просите у них по мелочи. Вам еще пригодится ваш кредит.

— Благодарю, — сухо ответил Щепочкин.

— Экий вы, батенька, черный оракул, — примирительно вмешался Селифонтов, вставая. — Все обойдется. Люди с годами успокаиваются и находят себе применение.

— Я не хотел вас обидеть, простите великодушного, — ответил Рузов. — Только такого Россия еще не видела.

Когда они уже садились в коляску, Селифонтов, нескрываемо довольный визитом, вдруг досадливо промолвил:

— Ах, черт, забыл спросить, где он сейчас играет. Ну да ладно, мир тесен. Поехали, — сказал он кучеру. — Я завезу вас, Петр Алексеевич, не возражаете?

— Спасибо, — промолвил Щепочкин. — Я ваш должник.

— Э-э, пустое, — поморщился Селифонтов. — Хуже, что он, кажется, прав по всем статьям.

* *
*

По случайному подозрению схваченный на пограничной станции, через несколько дней назвавший свою фамилию (иначе грозили посадить в тюрьму контрабандиста, отца шестерых детей), оказался Морозов в числе великого множества других, набранных по России за это время. Тридцать один том протоколов дознания был составлен только по Петербургу, в них на сорока восьми тысячах страниц устанавливалось и перечислялось все, что говорили дети, тщетно пытаясь пробудить отцов. Два вагона вещественных доказательств — книги, брошюры, прокламации, письма, записки и личные записи — прибыли в Петербург для суда. Осваивая непомерное количество поступивших сведений, один из жандармских офицеров «от чрезмерной работы и утомления впал в чахотку и умер». А слова эти о нем написал его коллега по тому непомерно тяжелому труду — коллега же сам «стойко вынес таковой благодаря возрасту и здоровью».

Спешно заканчивалось в Петербурге строительство гигантского Дома предварительного заключения. В его конструкции было учтено множество тюремных тонкостей, но самая изощренная полицейская мысль не смогла предусмотреть в полной мере изворотливо-

сти разума заключенного, жаждущего общения с людьми.

А Морозов покуда содержался в одиночной камере полицейской части в Москве, где был полностью лишен чтения за отказ отвечать и называть имена. Те часы, что его держали у следовательских столов, были ему легче, чем минуты, когда вызывали и везли на допросы. Потому что в те годы прочно бытовало мнение, что в Третьем отделении бьют и пытаются. Но и с этими страхами — лишенными основания, как он постепенно убедился — справился Морозов легко, очень радуясь, что оказался на уровне своих горделивых и заносчивых мальчишеских мечтаний о стойкости. Он только вовсе не знал, что настоящее испытание ожидает его впереди, в камере, лицом к лицу с призраками, порождаемыми его собственным сознанием. Оттого ли, что был лишен чтения, от нехватки ли еды, от одиночества — но только грозные симптомы надвигающегося сумасшествия начали являться в его жизни уже месяца через два после ареста.

Среди ночи наваливался на него, выходя из темной пустоты в углу камеры, гнилозубый рослый старик с седыми свалывшимися космами и безумными воспаленными глазами, наваливался и душил длинными твердыми пальцами, и Морозов явственно ощущал смрад его возбужденного дыхания и собственное неотвратимое удушье. Просыпался в холодном поту, измученный невозможностью крикнуть, боялся посмотреть в угол, откуда появлялся старик, и старался не спать до рассвета. Это повторялось неумолимо из ночи в ночь, а потом и днем, когда пытался уснуть, чтобы прийти в себя ненадолго. А через две недели такой муки — может быть, через три — старик появился наяву. Вернее, почти наяву — в зыбком,плы-

вущем состоянии изможденного бессонницей мозга. Он не вылезал из угла, только следил за Морозовым, бегавшим по камере, неотрывным, мерцающим паучьим взглядом. И какой-то частью меркнувшего сознания понимая, что это галлюцинация только, плод воображения, не мог Морозов справиться со страхом — настоящим, реальным, неизбывным и обессиливающим. И понимая прекрасно, что надвигается сумасшествие, ничего он не мог поделать.

Осенью перевели его в отстроенный наконец Дом предварительного заключения, а там в первый же день дали книги. Спасителем его оказался Брет Гарт, и на всю жизнь сохранил к нему Морозов благодарность за легкое необременительное чтение, от которого вдруг все в мире выровнялось и стало по местам. Ночные кошмары, галлюцинации, навязчивые мысли исчезли, опять вернулось спокойное ожидание свободной жизни. Более того, даже жажда подготовиться к этой жизни вернулась, и когда выяснилось, что с воли можно получать от знакомых в неограниченном количестве книги, крохотная камера стала похожа на библиотеку.

А потом заговорили стены — тюрьму заполняли арестантами, уже по году и больше отсидевшими в разных местах, и здесь им предстояло сидеть еще более двух лет. Потому что затеявший огромный общий процесс почти над тремя сотнями сразу прокурор Жихарев, имя которого обрело известность с той поры, был человеком чрезвычайно умным и дальновидным: понимал, что на высоты государственного поприща попадет, лишь проявив подлинно государственное по масштабам умение обобщать и провидеть. Он не ошибся: он стал сенатором. А из просидевших годы в тюрьме (без суда, лишь в ожидании его!) несколько человек сошли с ума, несколько умерло от

разных болезней, расцветших в заключении, и не перечить, ибо учету не поддается, сколько десятков лет жизни было отнято у всех остальных...

Постепенно Морозов обживался в своей крохотной камере, ежедневно теперь общаясь с друзьями (стуком, и на прогулках, и еще одним способом, уникальным в мировой истории тюремного дела, но об этом чуть позже), и занимаясь иностранными языками. Выучил, очень быстро, английский — по самоучителю и романам, потом итальянский — по либретто опер, ничего другого не нашлось, потом испанский — и прочел, наконец, как давно уже хотел, «Дон-Кихота» на языке автора. Он читал часов по десять в день, ему оставалась в тюрьме одна только, почти неотъемлемая у человека свобода — свобода внутренней жизни, и он сполна использовал ее. Он был худ, как индус во время голода, но чувствовал себя прекрасно. Даже пел по утрам, проснувшись. Потому что всем нутром своим, всем естеством, жизнерадостным и жизнелюбивым, ощущал как несомненную реальность, что впереди еще — долгая и прекрасная жизнь. На что она потратится вся, он еще не очень понимал, но чему посвятит ближайшие годы, знал твердо.

Однажды его вызвали на свидание, и оказалось, что отец не забыл его. А еще спустя две недели оказалось, что, несмотря на отказ Морозова сознаваться в чем бы то ни было, следователь готов отдать его отцу на поруки под условленный законом залог в три тысячи рублей. Следователь намекнул, что совершается нечто исключительное, что Морозов не достоин, не заслужил этой временной свободы, но за него просят лица, которым следователь не хочет отказать. Согласны? Безусловно согласен, ответил Морозов.

Ибо это означало прежде всего — повидаться с теми, кто на свободе.

По дороге они молчали с отцом. Щепочкин еще не знал, как вести себя с сыном, а сын жадно вдыхал холодный воздух, пахнувший весной, и думал, что отец надеется перевоспитать его за время, оставшееся до суда, и заранее жаль его напрасных усилий.

* *

*

— Я получил записку в а ш у , — сказал Селифонтов, усаживаясь в то же самое кресло, — и вот я здесь. Что-нибудь случилось?

Рузов был в халате, мрачно курил трубку и с нескрываемым вожделием распахнул свой поставец, явно игравший не последнюю роль в его жизни. «Никак не научусь пить о д и н , — говорил он, торопливо открывая бутылку, — что основательно портит мне репутацию». Они выпили и помолчали.

— Это по поводу вашего протеже Морозова, — сказал Рузов, со вкусом затягиваясь дымом. — Дело в том, что Щепочкин ваш трусоватым оказался до неприличия. Я отчего-то полагал всегда, в силу низкого происхождения, очевидно, что за какой-то количественной границей наличного капитала российский обыватель смелеет и как бы расковывается чуть...

— В Баден-Бадене, — сказал Селифонтов.

— Не понимаю. — Рузов вытащил трубку изо рта. Селифонтов засмеялся жизнерадостно.

— За границей, — пояснил о н . — И то, если там нет никого из могущих сообщить на родину.

— И вы тоже? — недоверчиво спросил Рузов.

— Думаю, что да , — просто ответил Селифонтов, так же безмятежно улыбаясь. — Просто случая не

представлялось. Я ведь и обычно не ругаю наши порядки. Мне они представляются естественными. Как холод на севере и зной на юге, если хотите. Что толку в осуждении климата? Это природа.

— Словом, на второй день после поступления на поруки молодой Морозов с раннего утра исчез куда-то. Исчез — подожди, дождись, а потом обращайся со внушением или принимай меры, не правда ли?

Селифонтов молчал, со вниманием ожидая продолжения.

— А Щепочкин, — раздраженно и брезгливо говорил Рузов, — не медля ни секунды поехал к градоначальнику. Явно страхуя себя и выказывая благонамеренность. В результате его заявления полиция весь день и ночь производила обыски, ища его будто бы сбежавшего сына. Комедия! Французский водевиль! Входили, смотрели в шкафу и под кроватью, извинялись и уходили. Мне приятель мой, офицер, рассказывал, что в двух домах видел на столе нелегальные газеты, но в тот вечер ему это не поручалось, и он не заметил их.

— А служебное рвение? — спросил Селифонтов с искренним удивлением.

— А почему вы думаете, что наплевать к усилиям правительства задевает своей проказой только ваши круги? — ответил вопросом Рузов. И продолжал: — Морозов-то вернулся в тот же день поздно ночью, но машина поисков уже заработала. А в результате кто-то сообщил это выше, естественно, и позавчера следователю Крахту — через него я и устроил взятие на поруки, так как формально это не полагалось, ибо Морозов-сын никого не назвал и вел себя вызывающе — было передано высочайшее недоверие. Высочайшее! Вот ведь в чем идиотизм нашей жизни: мелочи раздуваются черт знает до каких

размеров, а серьезные вещи уплывают мимо зрения, как плотва. Словом, завтра его забирают опять. Хотите ли вы, чтобы я продолжил содействие?

— Мне он очень симпатичен, — сказал Селифонтов. — Он, знаете ли, талантлив очень, я это чувую, я редко ошибаюсь. В нем просто ощущается, бьет наружу какая-то сила, еще не нашедшая себя покуда. Вот как в в а с , — вдруг добавил он.

— Благодарю, — Рузов иронически поклонился.

— Только не обольщайтесь, свою вы уже закопали, кажется, да притом не без умысла — извините, впрочем, за бестактное залезание в душу, — сказал Селифонтов, не привыкший себя стеснять. Да здесь, как он чувствовал, и не надо было слишком подбирать слова, очень уж умен был собеседник.

— Вы правы. Безусловно правы, — задумчиво протянул Рузов. — Я вам даже откровенностью отвечу за вашу прямоту обо мне. Я, видите ли, ненавижу все это не менее, пожалуй, остро, чем свихнувшаяся сегодняшняя молодежь. Даже, если хотите, сильнее, ибо взрослый, умудренный, да и нахожусь в самой середине болота. Но решимости, сил, чего-то еще, что надо для действия, поступка, для воплощения, что ли, своих отношений, — не нахожу в себе, хоть плачь.

— Лень, страшно, неизвестно, как приступить? Отчего? — отрывисто спросил Селифонтов.

— Тут другое, — сказал Рузов. — Тут ощущение бессмысленности любого рода деятельности такой. Понимаешь отлично, что канешь камнем в болото, и даже кругов не пойдет, больно вода плотная и устоявшаяся. Вот, скорее всего, что. Для этого безрасудство некое нужно, молодости свойственное. А потом выдыхается эта легкость — и всё. Ум, тело, мысли, убеждения — всё то же, а решимости уже нет.

74 Блажен, так сказать, кто смолоду был молод. А кто

вовремя созрел, блажен ли? Не уверен, не знаю, смотря на какой стадии созрел. Потому что зрелость — это отверждение сильное, вот что, заметьте, обидно. Застыл, и все тут. А состояние, в котором застыл, содержание, в котором застыл, — форме не отвечают, а сил меняться уже нет.

Селифонтов хотел что-то сказать, но не стал, потому что образ Обломова, пришедший ему на память, явно не годился здесь или только отчасти годился. Но Рузов, обретя доверительного слушателя, не нуждался, кажется, в том, чтобы тот был еще и собеседником. Он разжег погасшую было трубку и продолжал.

— При этом, заметьте, что пора застывания, отверждения в случайной форме застала меня в учреждении кошмарном, страшном, значение которого недопонимают, а раздувая порой до дурацких размеров, вовсе не о настоящем его значении и влиянии говорят.

«А какое же настоящее?» — выразил Селифонтов всем своим видом.

— Оно создает в духовном климате городов российских — особенно городов, я о развитом слое говорю, вырастающем в этом климате, — некое излучение, что ли... слова не найду... разлитое в самом воздухе и впитываемое... вот как влага в нашем Петербурге разлита в воздухе самом, густо его насыщая... типа запаха, который повсюду, хоть и неуловим... тончайшие миазмы — вот! — миазмы страха.

— Эх, хорошо, — выдохнул Селифонтов, и его круглое загорелое лицо засветилось от удовольствия понимания. Рузов воодушевился еще более.

— Окруженный, пропитанный этим, этим дышащий человек вырастает неполноценным. В чем? Не знаю. Только, простите мне мысль мою бездоказа-

тельную, она мне однажды как ощущение явилась, как чувство...

— Как озарение, — подсказал Селифонтов.

— Ну, это слишком громко, — отмахнулся рукой Рузов, — для мыслишки моей, но рассмотрите ее, однако: не от этого ли ущербного вырастания и возникают освободительные веяния в молодежи? А?

— Слушаю вас, — отозвался Селифонтов.

— Дать ей свободу выражения полную и гарантии всякие того, что личность уважаема и неприкосновенна и думать, развиваться, говорить иметь право беспрепятственное — не уйдут ли тогда все ее силы, сегодня понапрасну наше болото сотрясающие, на созидание и расцвет?

Селифонтов слушал его, чуть склонив лобастую голову, и смотрел не мигая то в глаза ему, то в рот. А когда Рузов умолк, заговорил, чуть заметно подражая ему, но без улыбки. Будто не пародировал и опровергал, а продолжал единым духом, увлекшись.

— А каждую рябину в лесу российском обрызгать специальным заграничным составом, чтобы такие же аппетитные грозди давала, только величиной с виноград и сладкие, — не переменится ли тогда питание мужика русского, на мякине нынче прозябающего?

Рузов нашел в себе силы засмеяться, но выглядел чуть огорошенно, — очевидно, высказал заветную мысль и такой встречи ее не ожидал. Селифонтов, достаточно тонкий человек, сразу уловил это и сказал сердечно:

— Не обижайтесь, Николай Васильевич, мысль ваша глубока и точна, только и я, грешный желчный человек, шаржировал ее не напрасно. Россия — это, батенька, Россия. Мы тут живем, и она такова, а

безжизненное. Было бы ли по-вашему, если бы? Конечно было бы, только посчитайте, сколько в этой фразе «бы». Не многовато ли?

— Вы, оказывается, скептик и пессимист хуже моего, — сказал Рузов с нескрываемым удивлением.

— А вы что думали, — заносчиво спросил Селифонтов, — что денежный капитал — он и мировоззрение просветляет? Позвольте лучше я теперь свой вопрос вам задам?

— Извольте, — Рузов опять разливал коньяк.

— Отчего же и зачем вы стараетесь так? — спросил Селифонтов живо. — Я без упрёка спрашиваю, мой интерес чисто любознательного толка. Всяческие доклады, записки, безусловно, пишете. Вы ведь в это ум вкладываете, чувство, душу.

— Душу — нет, — быстро сказал Рузов, — душу — совсем нет. Если бы я душу вкладывал, сам не знаю, что бы написал и до чего додумался. А ум — конечно. Однако чего же вы хотите? Я служу, своего капитала не имею, — вынужденно, таким образом, отдаю свой ум внаймы, бесчестно было бы с моей стороны ум этот утаивать и взнуздывать. Что вижу, что понимаю, — говорю, пишу, рекомендую. А поставлен, обратите внимание — предупреждаю ваш неминуемый вопрос, — смотреть вниз, а не вверх и анализировать обстоятельства конкретные, а не пересмотр устоев.

— Трудно с вами, — засмеялся Селифонтов. — А предложите вам сотрудничать с ними эти молодые злоумышленники, вы как?

— Не знаю, — сказал Рузов. — Уже думал об этом. Не знаю просто.

— А как же честность, коли не знаете и не уверены? — настаивал Селифонтов. — Вот и запутались мы с вами оба, милейший Николай Васильевич, в двух

этих сосенках — личные убеждения и личное благополучие. Нет, нет, не перебивайте меня — это вы о благополучии своем говорили, что, дескать, честность ваша служебным рвением управляет, и все такое. Отчасти да, честность. Только ведь если бы она одна, сидеть бы вам в младших письмоводителях. А вы звон где. И жалованье — соответственно. И чем круче, выходит, вы забираете, тем сильнее разрыв ваш внутренний и непреходящее расстройство духа.

Рузов чуть подался вперед, намереваясь возразить что-то, но Селифонтов мягко поднял руку:

— Минуточку, уважаемый. Вы хотите со всей силой несколько обиженного самолюбия накинуться теперь на меня, не так ли? Я это сделаю сам. Вы совершенно правы, я бы тоже это все вокруг переписал. Но только как? Состояние мое раздать? Упекут в заведение психиатра Корсакова или кто там теперь вместо него, а по умалишенности назначат опекуна над имуществом, вот и вся недолга. А жить мне, между прочим, хочется, я от жизни, видите ли, удовольствие испытываю. Писать всеподданные доклады? Или пустой звук выйдет, или снова заведение. И выходит, одна у меня дорога — заботиться о процветании того, что под моей рукой находится. Что ваш покорный слуга и делает. А там — кривая вывезет. Она ведь всегда вывозит. Не знаю только, через сколько именно поколений.

— Интересно вы меня в угол прижали, — проговорил Рузов задумчиво. — Значит, ничего нам с вами не переменить?

— Ничего, — ответил Селифонтов твердо.

— Интересно, — протянул Рузов. — Интересно мне вас было слушать. Я ведь, честно сказать, хотя почитал в вас человека мудрого, но думал, вы так, жизнью жуируете.

— Не без этого, — охотно отозвался Селифонтов. — Кто же из нас без греха? Но теперь мы можем смело вернуться к нашему злодею. Да, одну еще только фразу позвольте, притом из вашего репертуара. Вот и выходит ведь неоспоримо и явственно, что наши смутные впечатления и мечты молодежь-то воплощает без оглядки и с жертвенностью. Потому что вкуса настоящей жизни ощутить не успели, и убеждения свои — прямиком в действие. Такие святые только в нашей России и возможны, и не нам их осуждать, согласитесь. А?

— Отсюда и мой план о Морозове, — сказал Рузов. — Я знал, что вы согласитесь, и уже, в сущности, договорился.

— Слушаю, — ответил Селифонтов. Он еще не совсем остыл и потому коньяк свой выпил с жадностью, будто холодную воду.

— Насколько я понимаю, — Рузов встал и принялся расхаживать по комнате, — Морозов с радостью сбежал бы, но, скорее всего, боится подвести отца. Завтра-послезавтра эта ситуация искусственно прерывается, его возвращают на досидку вплоть уже до самого суда...

— Который состоится?.. — спросил Селифонтов.

— Очень нескоро, — нетерпеливо промолвил Рузов. — Слишком большое количество моих коллег делает себе карьеру на этом гигантском процессе нигилистов. Только он до начала суда вряд ли доживет — я наводил справки.

— Разве он так плох? Я не заметил, — встревожился Селифонтов.

— Он хилый, худой, а там чахотка просто прыгает на людей со стен.

— Так! — сказал Селифонтов грозно. — Предложение ваше?

— Есть офицер, которому скоро в отставку на пенсию. Пенсион этот может быть большим или меньшим в зависимости от усердия и беспорочной службы. За Морозовым отправится он, сняв с отца, таким образом, ответственность за сохранение сына. И тут — по пути, так сказать, в тюрьму, как в романах нашей юности, — на все четыре стороны. Но значительно урезанный за служебное упущение пенсион должен быть компенсирован.

— Охотно! — воскликнул Селифонтов, прося в. — Меня даже не интересует эта сумма, назовете ее просто, когда пора будет выписывать чек. И спасибо вам сердечное за ваше служебное преступление.

— Полноте, — засмеялся Рузов. — Я, знаете ли, такое удовольствие получил, устраивая эту романтическую сделку, такую забытую полноту жизни ощутил, что хоть меняй род деятельности. Об одном только попросить вас хочу предварительно: мальчишке — ни слова. Предоставим ему возможность, и все.

— А если он не поймет, что это возможность?

— Вы имеете дело с профессионалами, — с комической надменностью выговорил Рузов. Селифонтов встал и крепко пожал ему руку.

* *
*

А назавтра после этого разговора — о нем узнал впоследствии только Щепочкин, у которого по окаменевшему лицу предательски покатались две слезинки, — был в Петербурге редкостный весенний день. Солнце сияло на голубом и чистом, вовсе не петербургском небе, ручьи по булыжнику неслись, подпрыгивая и грозно шурша, как игрушечные горные реки, и по дороге вдоль моря за городом было столпотворение колясок и карет. Отец задался не-

скрываемой целью показать сыну, сколь прекрасна и разнообразна жизнь обеспеченного молодого человека, поэтому ежевечерне их ждали кресла в партере какого-нибудь театра, до поздней ночи они засиживались в гостях, днем ездили по музеям или картинным выставкам, и владельцы книжных магазинов уже знали их в лицо. На второй день после взятия на поруки Морозов с утра сбежал в поисках друзей. Только к вечеру удалось ему разыскать Кравчинского и Клеменца. Он узнал, что оставшиеся на свободе придумали новую форму пропаганды: поселение в деревнях в качестве писарей, торговцев и фельдшеров. Он рассказал свою идею о борьбе по способу Вильгельма Телля, но Клеменц высмеял его, и Кравчинский поддержал Клеменца (меньше трех лет оставалось до того дня, когда именно Кравчинский совершит первое убийство-возмездие). Морозов с удивлением обнаружил, как похож Клеменц на их соседа по Ярославскому имению Селифонтова (дня через два он увидел Селифонтова и снова поразился сходству). Оба очень невысокие, очень плотные и ладные, круглолицые, с едва заметными выступами скул и калмыцким разрезом пристальных глаз, оба высоколобые и с гладкими прилизанными волосами. Сходство довершалось одинаковостью любимой одежды: простонародная пестрядинная подпоясанная рубаха, кафтан, сапоги. Оба играли во что-то почти одинаковое, только разобраться, во что именно, Морозов не мог покуда. И оба свободолюбивые до кончиков ногтей, резкие и независимые в суждениях, готовые сокрушить сарказмом или легкой шуткой любую мысль, с которой не согласны. Отправляясь куда-нибудь, Клеменц ездил только в общих вагонах и обожал рассказывать, как много-много раз, приняв его за неглупого хозяйственного мужичка, пытались 81

его распропагандировать охочие до бесед с народом случайные попутчики-студенты.

— Он на меня, милый, глядит, как щука на карася, прямо подмывает его обратить меня в свою веру. Я ему помогаю: что, говорю, господин хороший, не из студентов будете? Тут он ко мне подсаживается и давай на ухо жужжать: про налоги непомерные, про бесправие и что, дескать, собраться надо всем воедино и жизнь эту распроклятую переделать. Я слушаю, киваю согласно, потом ему говорю: значит, вы, господин хороший, полагаете достижение анархии по Прудону гипотетически возможным при помощи якобинских методов? Тут у него от моих ученых слов лицо пятнами, и до самой станции молчок. А я ему еще перед выходом: что вы, мол, полагаете о федерации вольных общин? Тут он от меня бегом, как черт от ладана.

Клеменц был много взрослее и умудреннее их — ему было уже лет двадцать восемь, но выглядел он старше и зарабатывал на жизнь писанием статей, никогда ничего не беря из общей кассы кружка. Он даже и в этих отношениях предпочитал быть совершенно независимым.

В тот день Морозов вернулся очень поздно, сразу лег спать, утром отец выглядел смущенным, а через день Морозов узнал случайно о проявленной отцом предусмотрительности. Он и виду не подал, что знает, но стало очень больно за отца, и внутри ощутимо оборвалась одна из последних нитей, связывающих их.

Две недели пронеслись, как час, и вернувшись однажды с прогулки к морю, они застали ожидавшего их жандармского офицера. Тот сказал, что следователь срочно вызывает Морозова к себе, и предложил ему собрать вещи, которые он хочет взять с собой.

Отец страшно выглядел в эти недолгие минуты. Морозов понял, что он внутренне терзается своим поступком, поэтому старался быть с отцом по-сыновнему мягким и благодарным за эти промелькнувшие дни. Чем еще больше, кажется, растравил молчаливого Щепочкина.

Ехать в экипаже офицер отказался и сказал, что они пойдут пешком. Оба были немногословны по дороге, думая каждый о своем. Они быстро прошли вдоль линии Васильевского острова, миновали Николаевский мост, вступили на длинный бульвар, начинавшийся от моста почти сразу. Тут капитан остановился и сурово сказал, глядя прямо в глаза арестанту:

— Теперь, Николай Александрович, идите вперед сами, у меня здесь небольшое дело, я минут через двадцать — тридцать постараюсь вас догнать.

И круто, по-военному, развернувшись, исчез. Ничего не поняв, Морозов по инерции еще с минуту неторопливо шел вперед, как вдруг остановился, мгновенно вспотев от мелькнувшей мысли. Свободен! Можно бежать! Сколько раз он придумывал, как убежать, пока сидел в Москве! Он непрерывно ощущал несвободу. Приучив себя много думать о других, а по возможности — и ощущать их переживания, он думал даже, что и смерти новых друзей, и сплошные болезни их — отчасти от такого же непрерывного ощущения несвободы, а вовсе не от холодных каменных стен. Это ведь родилось одно из самых внутренне свободных поколений, возможно, за всю многострадальную историю русскую, и наиболее ощутимая несвобода выпала именно на его долю. Бежать! Паспорт ему сделают быстро, он поселится где-нибудь в губернии, будет работать писарем, видаться с друзьями, он еще склонит их к новому способу борьбы.

У выхода с бульвара на мостовую стояло штук пять извозчичьих пролеток, и лихачи толпились без дела возле передней двойной упряжки.

Морозов остановился, потому что очень колотилось сердце, и внимательно огляделся вокруг. Капитана нигде не было, шли прохожие, не обращая на него внимания, и глупым показалось опасение, что это сделали нарочно, чтобы выследить, куда он поедет, и таким путем найти оставшихся на свободе. Нет, что-то другое здесь, жандарм явно предоставляет возможность убежать. Зачем, почему — думать сейчас некогда.

Морозов сделал шаг к выходу и снова замер в неподвижности. Торопливые мысли сейчас лихорадочно мелькали, сменяя друг друга, в его взлохмаченной непокрытой голове. Очень торопливые мысли. О тех, кто сейчас в тюрьме, и о тех, кто, подобно ему, отдан пока на поруки. В случае его бегства все льготы будут немедленно отменены и десятки незнакомых друзей, ровесников и единомышленников, сейчас получивших краткую передышку, вернутся опять в тюрьму. Причем часть из них — на болезни и возможную смерть, это уже обнаружилось вполне. Понимая результат, имеет ли он право бежать?

Откуда-то вдруг всплыла в сознание мерзкая мыслишка: ведь они не узнают. Никто на всем божьем свете не узнает, отчего именно прекратилось отпускание на поруки. Ужесточился режим, и все тут. И вообще — незнакомые это все люди. И может быть, из-за одного побега отдачу на поруки не отменят. Подумаешь, из нескольких сот — один. Зато сколько он сделает на свободе.

И вполне трезво, очень спокойно, даже не ужасаясь этой мысли, а просто оценив ее по достоинству и отметив ее появление как интересный психологиче-

ский факт, Морозов вздохнул сожалеюще и опустил-ся на скамью поджидать непонятого капитана.

Он очень повзрослел за несколько минут раздумья, как взрослеет любой, делая крупный выбор, и, как любой, он вовсе не заметил, что мелькнул сейчас в его жизни важный миг сотворения себя.

Минут через тридцать появился торопливо шедший капитан. Увидев Морозова, он совершенно откровенно расстроился (откуда было знать мальчишке-арестанту, что он за один миг лишил небогатого жандармского офицера маленького домика с большим зимним цветником и огородом на Охте, уже присмотренного и прицененного). Лицо его выразило такое разочарование, что и Морозов пожалел: эх, надо было бежать. И одернул себя: не надо. И бодро встал навстречу поугрюмевшему капитану. Теперь уже тот торопился. Сам нанял извозчика, не спрашивая цену и не торгуясь, всю дорогу молчал и, сдавая Морозова, не попрощался, хотя снова был чрезвычайно вежлив. Очень уж хороший цветник; огородик ладно, и дом требовал ремонта, а вот цветы были бы ранние и оправдали бы уход сполна.

Сидеть нечаянному разрушителю капитановой мечты предстояло еще два года.

* *
*

Впоследствии у Николая Морозова было, как и у всех, множество разных кличек. Его звали Воробьем (за худобу и легкость), Арсеналом (за любовь к оружию), Сумчатым (за то, что всюду возил и таскал за собой сумку, подаренную Верой Фигнер), Зодиаком (за пристрастие к астрономии), Маркизом (за поражавшую всех мягкость и вежливость), но ни одна из кличек не доставляла ему такой гордости и

наслаждения, как Поэт. Звали его так за стихи, которые переписывала и читала тогда молодая городская Россия. Они печатались в нелегальных сборниках, издавались отдельно, заучивались, копировались и распространялись в списках.

А впервые прозвучали для друзей, переданные путем уникальным, единственным, без сомнения, в истории мировой поэзии, которая знавала всякое, но так остро, сильнее, чем воздух, никогда не нужна была, наверно, людям, ибо так ей передаваться — не приходилось.

Недавно отстроенный Дом предварительного заключения с первого по шестой этаж пронизывали сточные трубы канализации. От каждой из них шло на каждом этаже по два ответвления в камеры. А сами стульчаки, похожие на уродливые граммофонные трубы, соединялись с общей трубой узким выгнутом коленцем, в котором всегда застаивалось немного смывной воды. Неизвестно, кто именно из трехсот заключенных вдруг догадался и, преодолев брезгливость, вычерпал эту воду руками и, стуком попросив соседей сделать то же самое, заговорил с ними через пустую трубу. Вскоре заговорили все. Свободно, вполголоса заговорили, слышимость была превосходной. Надзирателям ничего не удавалось сделать: когда кто-нибудь из них входил в камеру, крышка стульчака была уже захлопнута, и веселое наглое лицо молодого нарушителя так не гармонировало с невыносимой от знойного лета вонью, пронизавшей камеру, что блюстителю высказывали, матерясь. И начальство махнуло постепенно рукой на этот способ запретного общения через так неудачно усовершенствованные параша — туда ему, в конце концов, и дорога, этому заграничному книжному духу, отравившему нынче столько пустых голов. А тюремный врач констатиру-

вал не без профессионального интереса, что заключенные явственно и несомненно поздоровели от такого общения, избавились от нервного истощения, сукины дети, стадные бараны, одержимые коллективным духом.

Первое свое стихотворение заключенный Николай Морозов прочитал, уткнувшись лицом в стульчак Дома предварительного заключения. Кося глазом в тетрадь, поправляя очки, потный от волнения, не замечая мерзкого запаха сточных труб, дрожа от страха, что его сразу разоблачат, ибо он сказал, что прочитает Огарева.

Стихи спасли его, придя неожиданно и сразу, когда он вдруг, не понимая сам отчего, бросил читать, перестал общаться с соседями и смертельно затосковал. Снова обрывалась жизнь. Порванные отношения с отцом, где-то далеко мать, которую он вспоминал только плачущей, что еще более усугубляло гнев на отца, постоянно плохое самочувствие, изнуряющая тошнота, невыносимые головные боли, острое чувство бессмысленности прозябания в этой клетке, постоянное ощущение утекающих, испаряющихся куда-то сил, желаний, мыслей.

И вдруг — стихи. Он бегал по своей камерке, не догадываясь поднять кровать и опустить к стене стол и табуретку, натыкаясь на них, до синяков разбивая ноги, стараясь ходить в такт ритму, гулу, вдруг запевшему в нем и легко облекавшемуся словами. Это были стихи о тюрьме, непонятным образом избавлявшие от всех тюремных переживаний — даже физических, как он почувствовал вскоре с удивлением и радостью.

Днем стихи уже были переписаны в тетрадь и названы «Тюремными видениями». Была гордость, была усталость и опустошенность — самое счастли-

вое чувство, какое он знал и раньше, когда, просидев подряд часов семь, заканчивал статью и ощущал, что голова пуста, чиста и более ни на что не способна. Но так как знал, что скоро снова станет способна, а результат был тут, налицо, и был всегда прекрасен — до первого чтения, во всяком случае, то и чувство изнеможения и пустоты были сладостными до предела.

Теперь лежали стихи. Еще вчера читали Некрасова и Лермонтова — их знали многие, читали отрывки из Пушкина — его помнили мало, читали стихи сидевших тут же друзей — особенно Синегуба. Всякое переживала русская поэзия, еще и не так ее читали. И вот Морозов чуть осипшим, севшим голосом вдруг предложил почитать Огарева. Когда слышались возгласы согласия и наступила тишина, показавшаяся мертвой, когда начал читать — впервые в жизни вслух свое, когда явственно почувствовал, как это плохо, коряво, наивно, стало неприятно, только уже поздно было останавливаться и надо было следить за выражением — будто читаешь наизусть, а не по тетрадке. Да еще крышка стульчака-граммофона дернулась и, ударив по голове, застыла. Было нечем дышать, противно и хотелось исчезнуть.

Молчание показалось осудительным и невыносимо долгим.

— Это надо списать, продиктуйте, — раздался первый голос, тут же покрытый другими — восторженными, просящими повторить, взволнованными. Стихи ведь были о них, о тюрьме, о том, что видишь и переживаешь в заключении.

— Диктуйте, такое надо обязательно знать наизусть, — сказал чахоточный сосед, вскоре умерший в заключении. — Какие прекрасные стихи пишет, окazujeается, Огарев.

— Это не Огарев, — негромко сказал Морозов, которому хотелось кричать и прыгать.

Теперь восторгам не было конца, а похвалы удесятерились. Они все очень любили друг друга. Им было по двадцать тогда, и они все были заодно, и все в плену у врага, и каждый отдал бы жизнь за другого.

Стихи были продиктованы, копия передана Феликсу Волховскому, всеми уважаемому ветерану (ему было как будто тридцать), составлявшему как раз сборник нелегальных стихов для издания в Женеве. Сборник был передан и издан. Он назывался «Из-за решетки», и еще много-много раз Морозов читал в нем свое первое стихотворение. И хотя понимал уже, насколько оно слабое и ученическое, все равно любил. Первое!

И сразу пошли другие. Жизнь обрела смысл, краски, звуки, жизнь стала снова полной и по-прежнему многообещающей.

* *

*

Покуда шло к концу небывалого размаха дознание и со всех сторон в Петербург везли сводки и донесения, Морозов еще раз потребовался в Москве. Прямо с вокзала его доставили в скрипящей плотно занавешенной карете на Арбат (это он узнал потом) и в несуразно огромной комнате с лепными амурами по углам потолка показали четверем измученным людям. Это крестьян из села, где он однажды побывал, привезли на опознание как свидетелей, но держали как подсудимых, зная, что жаловаться никто из них не посмеет.

«Нет, не э т о т, — говорили мужики, как о д и н, — этого не признаем, не видели», а он по глазам и 89

потеющим лицам понимал, что они прекрасно узнали его, но выдать не хотят, и было обрадован за народ, но сообразил, что не признать им проще, они стаснулись не признавать, рассудив, что так их быстрее отпустят за ненадобностью, а иначе — продержат до суда, который когда-то еще будет.

Посадили в камеру на втором этаже, где некогда большое окно было заложено теперь кирпичом, но и сквозь оставшийся квадрат виднелась цветущая лужайка и конец дорожки, по которой гуляли дежурные городовые — как на подбор сожалеющие и услужливые. Только денег уже не было, и никто из друзей не знал, что он опять в Москве.

А к вечеру в соседних камерах появились люди, сразу оживленно заговорили друг с другом, и Морозову в одном из голосов послышались интонации Ивана Джабадари — чернобородого быстрого грузина, с которым он познакомился год назад накануне перехода границы по пути в Женеву. В тот вечер первого знакомства в гостях они договорились, что скоро Морозов поедет к ним на Кавказ, где тоже очень нужны смелые люди, чтобы Кавказ не отстал от России, когда всюду полыхнет и начнется. А буквально через день, уже в Берне, он снова встретил Джабадари, переехавшего границу по паспорту приятеля, благо для пограничников все эти чернобородые маслиноглазые люди были на одно лицо. Худой Морозов тащил, сгибаясь под тяжестью, три тюка, а рядом преспокойно шел великан Грибоедов (однажды с врачом Веймаром и писателем Успенским своротивший полицейскую будку, куда их запер обруганный ими городовой) и подпрыгивал от избытка энергии, веселился и напевал Саблин.

— Почему один несет? — спросил Джабадари, искренне удивившись.

— Самый молодой, кому ж нести? — важно ответил Грибоедов не улыбнувшись, а Саблин еще покровительственно потрепал Морозова по плечу, как хлопают для одобрения прилежную лошадь.

— Ай, молодцы! — сказал Джабадари и предложил помочь, на что Саблин немедленно ответил: «Что ты, Иван, брось ты, иди по своим делам, мы же свои люди, а своя ноша не тянет, правда, Коля?» — на что Морозов радостно засмеялся, согнулся еще сильнее и бодро пошел вперед.

Это действительно оказался Джабадари. Уткнувшись лицом в решетку, не сводя глаз с лужайки, они проговорили до вечера, и рассказ его был невесел.

Русские девушки, прекратившие учебу в Цюрихе, вернулись в Россию и начали поступать на фабрики для пропаганды среди рабочих. Соня Бардина, сестры Любатович, Бетя Каминская, другие облачались в мастеровую одежду, обзаводились подложными паспортами и... недели по две, по три им удавалось проработать, после чего их изгоняли за чтение книжек или просто по подозрению — за необычность. А у них уже был кружок, уже писалась программа, и по многим фабрикам были свои рабочие — чудо активности и готовности. И тут неожиданно Дарья Скворцова, жена одного из лучших, Николая Васильева, выдала всех, назвав квартиру, где они тайно собирались. Квартиры этой она не знала, но, должно быть, просто выследила мужа, подозревая, что завел любовницу. А потом успокоилась — пусть ходит, балуется разговорами, но тут его забрали по доносу приятеля, и Дарья пришла теперь за сочувствием на эту выслеженную ею лично конспиративную квартиру, в которой все равно каждые полчаса хлопали двери — кто-нибудь забегал узнать, что с Васильевым. Шел только апрель семьдесят пятого года, и к арестам их

московское общество еще не очень привыкло. Кто-то над страхами Дарьи посмеялся, бабешка она была с норовом, и Джабадари сказал после ее ухода, что квартиру надо срочно менять. Назавтра зашел, а они все сидели и пили чай и еще только собирались, собирались, а через час в комнату влетело человек двадцать полицейских.

— Что, главное, обидно, — быстро говорил Джабадари, заново переживая позор глупого провала и оттого заметно сбиваясь на акцент, которого обычно почти не было, — когда я шел к дому, меня городской предупредил — сам городской! Шел мне навстречу, посторонился у калитки и говорит: ты, брат, лучше сюда не ходи. Но условный знак был на месте, через занавеску было видно, как они там пили чай, а когда я сказал о странном городском, меня Соня Бардина и Петр Алексеев подняли на смех. А Чикоидзе еще шепотом по-грузински нашу поговорку сказал: настоящему абреку безрогая коза — лучший советчик.

— А бумаги отобрали? — спросил Морозов.

— Ни одной, — радостно закричал Джабадари, и городской по ту сторону лужайки, посмотрев на него, сонно покачал головой.

— Успели спрятать? — спросил Морозов.

— Съели, — сказал Джабадари гордо и печально. — Съели все до одной бумаги. Съели и устав и программу, и несколько паспортов, и письма, и все их запили чаем.

Городовой, стоя недалеко от них, вдруг начал делать какие-то непонятные знаки, куда-то показывал глазами, кивал головой, будто обращая на что-то внимание. Оба замолчали и услышали хриплый мужской голос. Кто-то звал: «Михайло, слышь, Михайло!», голос был сиплый, будто сорванный. Говорили явно из какой-то нижней камеры, и Джабадари

вдруг радостно откликнулся, — очевидно, это было его имя по подложному документу.

— Господин, а господин, слышите или нет? — говорили снизу.

— Слушаю, слушаю, — сказал Джабадари, — а вы кто?

— Я Николай Васильев, неужто не признали, — обиделся голос, — я вас сейчас же узнал, как вы с соседом начали перекликаться, положительно, думаю, это Михайло.

— Как же не узнать, узнал, здравствуй, Николай, — сказал Джабадари приветливо, и что-то появилось в его тоне от разговора старшего с маленьким. — Тебя по одному твоему «положительно» сразу узнаешь. Как живешь-можешь?

— А, черт тебя возьми, Михайло, я ведь думал, ты и говорить со мной не станешь.

— Да ты что, почему? — обеспокоенно произнес Джабадари.

— Да ведь ты, оказывается, барин, да еще столбовой дворянин, мне капитан Ловягин опосля нашей очной ставки все рассказал. Я теперь год целый думаю, положительно, думаю, чудеса делаются, как ты ловко нашего брата-мужика околпачил, мне и в голову не пришло, что ты барин.

— Почему ж это околпачил? — обиделся Джабадари, и Морозов вдруг почувствовал, что его, нечаянного свидетеля разговора, стесняется этот симпатичный грузин. — Не все ли тебе равно, Васильев, барин я или мужик, если я с тобой заодно?

— Нет, не все равно, Михайло, я ведь, например, думал, что все господа мошенники, да и при тебе говорил это нашему брату фабричному. А если бы все меня послушались и пошли на площадь, и царь бы всем господам суд устроил нашими руками, я бы

господ-то никого не пощадил, положительно ни одного человека. А вот, оказывается, ты тоже барин, грех на тебе за сокрытие, Михайло.

— Да ладно тебе, — растроганно произнес Джабдари, и — в сторону Морозова: — Это один из наших лучших пропагандистов. Это его сожительница нас и продала в отместку.

— Дарья что, — бубнил снизу Николай Васильев, обрадованный возможностью пообщаться. — Баба, она баба и есть. Хоть и помеха, да несильная. Нам со стороны поддержка нужна, нетути поддержки. Вот, к примеру, посадили меня в острог, и сижу я как в яме, положительно, как в яме сижу; караулит меня свой же брат мужик, и не выпустит он меня до самой смерти. Затоскуешь по воле, подойдешь к нему и говоришь ему в фортку, как своему брату: что, милый человек, слышь, долго меня тут будут томить? А он мне в ответ: ступай, ступай от фортки, не велено разговаривать. Ну да и понятно: он сам тоже попал в яму. А тут приходит капитан Ловягин, я к нему: что, господин милый, долго ли еще меня будут томить в яме? Не знаю, говорит, Николай Васильев, не знаю, а что вам — скучно? Вы бы книгу почитали. Да кабы я книги умел читать, я в острог бы не попал, положительно, никогда не попал, а попал, так скоро бы вышел; сколько ведь господ попадает в острог за разное мошенство, а он напишет письмо и, смотришь, опять па свободе гуляет. А наш брат как попал в тюрьму, так там и пропадай. Вам надо грамоте научиться, говорит капитан Ловягин. Поздно, говорю, пробовал и раньше, а теперь в тридцать лет не научишься. А я вас в две недели научу и читать, и писать, говорит мне капитан Ловягин, да так убедительно. И научил. Теперь я что читать, что писать умею. С неделю назад сижу я это в Сушевской части, стро-

гости такие, что хоть вешайся, положительно, хоть вешайся, Михайло. Я говорю унтеру: жаловаться хочу, а он мне в ответ: пиши прокурору. Я написал, и меня через неделю сюда, а здесь хорошо, брат, и тебя вот встретил, вот что значит грамота... Хочешь, Михайло, я тебе прочту, что я прокурору написал?

— Давай, давай, Васильев, — ответил Джабадари, и в голосе его слышалось смущение, Морозову хорошо понятное, ибо он думал так же: капитан Ловягин обучил этого фабричного крестьянина грамоте, а друзья из кружка не успели или не сочли главным.

Васильев с чувством прочел первое в своей жизни письмо, которое так сразу облегчило ему жизнь. Начиналось оно так:

«Господин прокурор, барин ты мой милый, посадили меня в эту яму, положительно, ни за что, лишили меня свету, воздуха, пространства и людей. Что ли прикажешь мне теперь вешаться, где же у вас бог, неужели царь приказал положительно ни за что людей в яму сажать, освободите меня из этой ямы, верните мне свет, воздух и пространство...»

Что-то Васильев читал дальше, потом Джабадари отвечал ему, а Морозову стало вдруг тоскливо и остро жаль этого явно способного человека. Он подумал, что и книги, которые станет теперь читать Васильев, вряд ли ему помогут, потому что вся жизнь его — в действии, в движении и четырех стен он не вынесет просто, не перенесет, а на оправдание — надежд никаких.

И не ошибся. Васильев скоро потерял надежду на избавление, а потом, скорей всего, и веру — как в бога, так и в царя. Однажды ночью он обложил себя книгами и сжег. Спасти его не успели.

Многие из этого кружка кончили так же плохо. Желая разделить участь осужденных подруг, отра-

вилась серными спичками Бетя Каминская, а потом, уже в эмиграции, после побега, не нашла в себе сил жить дальше Соня Бардина. Удачно сбежав, снова попался и на вторичной каторге умер Цицианов. Петра Алексеева убили якуты, надеясь, что он с деньгами. А одна из сосланных, Ольга Любатович, вскоре сбежала с места поселения и появилась в Петербурге, но об этом — отдельная и непростая история.

Джабадари впоследствии подробно описал их кружок, свой арест и сидение, особо выделив встречи с Морозовым, которого очень почитал, а Морозов вскоре был отвезен обратно в Петербург и почти не вспоминал о той московской неделе, потому что начались события неожиданные и впечатляющие. А что исторические — осозналось потом, как это обычно и происходит.

* * *

*

Весной и летом семьдесят седьмого года во всех петербургских гостиных, на обедах и за вечерними картами обсуждалась проблема, казавшаяся вполне разрешимой. Чем-то неуловимо семейным веяло от нее, ибо в уменьшенном виде она однажды предстала уже почти перед каждой семьей и оттого казалась знакомой: что делать со взрослыми детьми, явно сбившимися с пути? Все знали о многих сотнях молодых людей обоего пола, арестованных в более чем тридцати губерниях за открытой пропагандой и агитацией, за призывом к неповиновению и бунту. Их выдавали часто сами крестьяне, они были заметны и попадались почти немедленно, ни один из них ничего не умел сделать, но удручало и настораживало самое их количество. Государь велел собрать Особое совещание, состоявшее из министров юстиции, внутрен-

них дел и народного просвещения, присоединив сюда, естественно, шефа жандармов. Каждый из четырех собрал советников в собственном ведомстве, и в раз- решение проблемы оказались втянутыми все. По го- стиним поползли разговоры, в которых участвовали все присутствующие, ибо нет с определенного возра- ста более сладкой и острой темы, чем тема молодого поколения, которое всегда хуже, чем нестигаемая фаланга отцов. Кроме того, это были в абсолютном большинстве дети людей более низкого круга, но многие из обсуждавших эту проблему отвлеченно и без ажитации, про себя с тревогой вспоминали сочув- ственный интерес к ней собственных детей. Во всяком случае, никто не говорил, что это пустяки и случай- ные заблуждения горячей молодости: слишком ши- роким и бурным был внезапный уход такого количе- ства молодежи из разных городов под нескрываемый аккомпанемент неустойчивого волнения оставшихся.

Воспитательные меры предлагались невообразимо разные. Одни требовали мер неукоснительных и стро- жайших, другие — отеческих и вразумительных. Осо- бой жестокостью отличались дамы. Их благородное негодование, возмущение падшими и заблудшими де- вицами не имело предела. Помимо бесчисленных уст- ных мнений появилось несколько письменных сооб- ражений, где предлагались меры крутые и беспощад- ные, от групповой виселицы зачинщикам до массовой розги всем.

Ближе к осени разговоры эти не то чтобы поутих- ли, но как-то отодвинулись, ибо их потеснили обсужде- ния причин неудачного штурма Плевны, где по- напрасну полегло две тысячи солдат. На фоне этих обескураживающих потерь стало еще яснее, что сопляков надо сечь, невзирая на пол и степень про- винности. Робкие отдельные слова о какой-то неуря- 97

лице в государстве, естественно влекущей за собой протест молодежи, встречались гневливо и насмешливо. Ввиду отвлеченности для большинства спорщиков этих досужих обсуждений все решалось ими быстро и убедительно. Однако участвовали в спорах и те, кому предстояло по роду деятельности предпринимать вполне реальные шаги. Обер-полицмейстер и градоначальник Петербурга генерал-адъютант Федор Федорович Трепов, в частности, прекрасно понимал, что значительная часть ответственности неминуемо ляжет на него, а значит — надо выбирать в действовать.

Он был энергичен, деловит и решителен, этот старый солдат, как он любил себя называть еще со времени крутого и быстрого усмирения Польши. Он много работал и во многом успевал. Трепов слушал разговоры о нигилистах и нигилистках сумрачно и внимательно. У него были на этот счет свои твердые рецепты, и он день ото дня получал отовсюду подтверждения их единственной, очевидно, действительности. Ему глубоко запала в душу идея, что все эти протестующие сопляки и хорохорятся-то в значительной степени от того, что их принимают всерьез, держа за опасных пропагаторов и бунтарей, а не за школяров, шкодящих в собственном доме. А отечество — именно дом, в котором мерзкую заграничную шкочу следует искоренять по-отечески, — это сразу отрезвит их и поставит на свои места. В каком виде должна воследовать назидательная остраска, Трепов еще не знал, но в себе был полностью уверен. С гонористыми поляками случалось куда трудней, но и то покусывали удила да пускали бессильную пену.

Многие думали как он, только не имели исполнителей. А он имел. Не хватало повода, точки, зацепки.

И отыскав ее однажды, Трепов распорядился вы-

сечь одного из заключенных, будто бы не снявшего перед ним шапку во время прогулки по двору Дома предварительного заключения. Он надеялся на устрашение, старый служака Трепов, и потому дополнительно, сразу после того как все тюремные окна будто всполыхнули криками гнева и бессильной ярости, в камеры по его приказу ворвались городовые, вволю поразмявшиеся в безнаказанном этом развлечении.

Реакция, однако же, оказалась прямо противоположной. И не только у арестантов, единодушно поклявшихся отомстить, но — против всяких ожиданий — в обществе, только вчера еще таком решительном и непреклонном.

Покуда порка была теорией, на сечении настаивали все. Теперь же мнение вдруг радикально переменялось. Трепову приходилось оправдываться, ссылаться на предварительное благословение министра юстиции Палена, объяснять, изворачиваться в доводах и проклинать тот час, когда он уступил соблазну одним махом разрешить все проклятые российские проблемы.

— Тут дело естественное и простое, — говорил Селифонтов Щепочкину. — Чувство собственного достоинства у русского человека только начало пробуждаться. Оно еще молодое, ранимое, возбуждаемое. А тут прямо по нему точнехонько — бац! Может, у нас первое только нынче поколение с полным человеческим достоинством и с настоящим ощущением личности. Попомните мои слова: мальчишки этого так не оставят. Сечь, может, и надо было, но как-то не так.

Перед министром юстиции графом Паленом стоял молодой Кони и возмущенно требовал расследования, живописуя, какой кошмар являет сейчас собой Дом

предварительного заключения: избитые, карцер, истерики, обмороки, отчаяние.

— Ах, ну что же из этого? — горячо говорил граф Пален, аристократ до мозга костей, тонкий ценитель изящного искусства. — Надо послать пожарную трубу и обливать всю эту дрянь холодной водой, а если беспорядки будут продолжаться, то надо стрелять. Надо положить конец всему этому, я не могу этого более терпеть!..

— Это не конец, а начало, — сказал председатель окружного суда Кони, бледнея от бешенства. — Вы не знаете этих людей, вы их вовсе не понимаете, и вы разрешили вещь, которая будет иметь ужасные последствия, этот день не забудется арестантами Дома предварительного заключения...

Морозов метался по своей лазаретной каморке, куда попал с острой простудой, метался, будто болезни не было, с трудом удерживаясь, чтобы не биться головой о стену. Он все видел, участвовал в бессильном общем крике и реве, свалился было в изнеможении на кровать, но мимо его двери волокли и волокли в карцер. Он твердо знал, что отомстит. Выйдет и немедленно отомстит. Ценой собственной жизни отомстит, потому что нельзя было это так оставить.

Такое чувство владело всеми. Невероятные планы измышлялись в возбужденных молодых головах. Трепова собирались зазвать для подачи жалобы (он откликнулся и ездил лично) и заколоть прямо в камере принесенным с воли кинжалом. Застрелить, отравить, ударить кистенем в висок. Любой в те дни согласился бы, за неслыханное счастье почти, стать исполнителем приговора.

Потом с воли сообщили, что месть состоится обязательно. Две группы уже следили за выездом Трепова, составляя его дневное расписание. Никто не

ожидал, что всех опередит невзрачная бледная девчушка с двумя непышными косичками. Привлекавшая еще по делу нечаевцев за простую передачу писем, она впоследствии сполна перенесла унижения исправительного дома, высылки с места на место, явки в жандармские управления, ощупывающие с ног до головы липкие вопросы и взгляды. О, как она знала, что такое бессилие и унижение! И потому решила, что высеченный должен быть отомщен.

Она только отложила свой выстрел до того дня, когда закончится процесс всех участников хождения в народ, чтобы не усугубить покушением жестокости приговора судей.

* *
*

Из почти двухсот преданных суду Морозов знал немногих и был полон почтения к тем, кто уже чем-нибудь себя проявил. Осенью, когда им вручили, наконец, обвинительный акт предстоящего процесса, шел к концу третий год его заключения. Были и такие, что просидели в ожидании суда более четырех лет. Для Морозова это были странные годы: почти лишенные воспоминаний, будто пролетевшие или истаявшие вмиг. Он чувствовал только, что меняется, взрослеет, но это не доставляло радости, потому что был он в курсе всего, что совершалось на воле, а ничего определенного и обнадеживающего там не происходило.

Когда их под огромным конвоем жандармов привезли всех в зал суда, более похожий на концертный, только за низенькой балюстрадой стоял одинокий стол с красной скатертью и кресла вместо попитров оркестра, а они — зрители и актеры одновременно — заняли весь этот зал, наполнив его звуками голосов и

поцелуев, стало ясно, что и со всеми происходило это возмужание. Истощенные, бледные, почти все горели нетерпением снова яростно приняться за прежнее. И неважно, каким именно способом, но только желание отомстить за погубленные годы зримо прибавилось теперь к неугасшей жажде переустройства всего вокруг.

Сенаторы-судьи первыми приняли на себя поток воинствующих оскорблений. Они не были к этому готовы. Тем более, что сами они были настроены довольно миролюбиво, решив, что приговоры не будут суровы — может быть, хоть это утихомирит уже достаточно отсидевшую, ожесточившуюся молодежь. Необходимо было поугагать, чтоб неповадно было впредь, но часть устрашения уже исполнил, хоть и неуклюже, Трепов. Нет, нет, теперь не следовало горячиться и перегибать.

Четыре дня читали обвинительное заключение. Унылый и монотонный голос секретаря безнадежно и неразличимо утонул в ровном гуле десятков негромких шепотов: обвиняемые слишком долго не общались друг с другом так свободно. Окрики председателя суда и самые страшные угрозы, которые он был способен выдумать и прокричать, действовали на несколько секунд, и все начиналось сызнава. Если бы председатель суда и сенаторы предвидели, что посыпется на них после прочтения, когда начнется собственно суд и пойдут сотни свидетелей, они бы почли за счастье тихое жужжание зала в первые четыре дня.

Всего этот небывалый в истории мирового суда процесс длился более трех месяцев.

Кончилось чтение обвинительного акта, и председатель суда сделал заявление, противозаконность и произвол которого сразу подводили основу под общее

решение сорвать этот суд. Особое присутствие сената объявляло, что судить их всех будут отдельно, разбив на семнадцать групп.

Тогда зачем же их произвольно объединяли в один процесс — людей из разных городов, незнакомых друг с другом, в совершенно разное время взятых и годы отсидевших?

Кричали все. Топали ногами, стучали по скамейкам чем придется, выкрикивали оскорбления суду, стараясь вспомнить все, что знали, в выражениях ничуть не стесняясь. А когда по чьему-то приказу, вмиг исполненному служителем, в зал ввалилась орава жандармов с саблями наголо, шум усилился и даже защитники кричали что-то возмущенно, забыв о приличиях и нормах.

Всех увели. На вечернем «оконом» совещании более ста человек постановили на суд более не являться. Если поведут силой — идти, но и там бойкотировать сенаторов, отказываясь принимать участие в подлом и позорном спектакле. Стговорившихся вмиг назвали протестантами. Те, кто по разным причинам решил не уклоняться, а участвовать, стали, естественно, католиками. Это в большинстве своем были те, кто не за малостью даже совершенного, а за полным отсутствием вины решили не отягощать свой облик ссорами с судом, надеясь на неминуемость оправдания. Среди них — понимаемых и явно не осуждаемых, но в чем-то незримо преступивших круговую поруку дружбы — был один-единственный, кто рвался в суд и кого все понимали, разделяя его ожидания и жажду. Ипполит Мышкин приготовил речь, и его друзья уже знали, насколько она была удачна. Мышкину терять было нечего. Человек с блестящим прошлым, чуть ли не правительственный стенограф (точно и виртуозно записывал с невероятной скоро-

стью), он завел типографию, где печатались нелегальные брошюры — те как раз, что носили по деревням все ухидившие в народ. Но главное — с оружием в руках попался он в далекой Сибири, когда, переодетый и с подложными документами, попытался увезти Чернышевского. А заподозренный, посланный на проверку с двумя конвойными казаками, стрелял и ранил одного из них. Каторги Мышкину было не миновать, но напоследок страстно хотел он высказать в лицо судьям все, что думает о кошмаре русской жизни вообще, и о самих судьях — в частности.

И в одно из заседаний суда он произнес свою знаменитую речь. А вечером в тот же день, усевшись потверже на птичьем, круто наклонном подоконнике своей камеры, он звучно и внятно повторил ее для всей тюрьмы.

Весь процесс решили печатать. В камеру Льва Тихомирова начали через подкупленных служителей стекаться наскоро сделанные заметки. Каждый описывал кроме обстоятельств своего дела и разговоров еще и те оскорбления, которые он со вкусом и радостью бросил в лицо сенаторов, когда силой приводили в суд.

Отказавшийся от посещения суда вместе со всеми, проговорил и Морозов свою порцию протестов и оскорблений высоким мальчишеским голосом. Потянулись трудные, взбалмошные дни. Было много разговоров и смеха, но сквозь веселость эту, чуть напускную, проглядывала уже усталость — ждали решения своей судьбы, которое вот-вот должно было последовать.

Выговаривали, не стесняясь, защитники свое возмущение процессом, выкладываясь как могли. Адвокат Александров (через три месяца он обретет всемирную известность блестящей защитой Веры Засу-

лич) сказал, что история острым гвоздем пригвоздит к позорному столбу не обвиняемых, безвинно пострадавших, а устроителей этого позорного процесса. Другой адвокат очень чутко уловил, как свидетель против его подзащитного странно мусолит слово «пропаганда», употребляя его кстати и некстати, и вдруг спросил незадачливого обвинителя: «Как вы понимаете это слово? Это зверь или растение?» И, под общий хохот, удрученно пожав плечами, сказал этот крестьянин, посланный сюда кем-то из уездных властей, но плохо подготовленный ими: «А ей-богу, не знаю».

Сенаторы вытерпели все. И хотя слег с острым сердечным расстройством председатель суда, вкусивший более всех ядовитых и жалящих нападков, но так явственно были неповинны и так несправедливо пострадали за годы тюрьмы эти молодые люди, да притом явно дозволено было, хоть и не сказано никем вслух, проявить гуманность и снисхождение, что они сочли за лучшее проявить их. Приговоры были не только мягки неожиданно (почти все отпущались на свободу, ибо срок зачтенной предварительной отсидки много превышал срок осуждения), но еще и ходатайствовали сенаторы перед царем о смягчении участи тех, кого все же осудили под тяжестью улик.

И Морозов был освобожден. А накануне вечером он узнал от зашедшего к нему адвоката Бардовского, который собирался быть его защитником, что какая-то неизвестная стреляла в градоначальника Трепова, придя к нему на прием, а после выстрела, не пытаясь бежать, сама отдалась в руки прибежавшим жандармам. «Началось! — подумал Морозов. — Неужели правда началось?» Это было то, о чем он мечтал. Тайная группа людей, связанных только честью, долгом и дружбой, вершит правосудие, мстит за

несправедливость, добивается свободы для молчаливо покорного большинства.

Он вышел на свежий воздух воли, помышляя об одном только: поскорее склотить эту группу. Нескольких он уже держал на примете.

Жалко было до боли, до стеснения в груди жалко тех, кто не вынес заключения. Больше всех, пожалуй, кристального мальчишку Михрютку Купреянова, умершего уже в последние дни. Предстояло еще освободить тех, кто осужден был на каторгу, чтобы не было отныне бессмысленных смертей в неволе.

А те, кто был осужден на каторгу, понимая прекрасно, что безнадежно отягощают свою участь, переправили на волю коллективное «завещание», напечатанное немедленно за границей и оттуда вернувшееся обратно. Простые и обреченные слова составляли этот удивительный документ, обращенный к товарищам по убеждениям. Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг, уходя навсегда, быть может, как ушел Купреянов, авторы «завещания» просили тех, кто продолжит начатое ими, не смущаться любой их судьбой. Ибо их приговором на долголетнюю каторгу власть решила создать устрашающий пример — для «развращения людей слабых». Они открыто заявляли, что по-прежнему остаются «врагами действующей на Руси системы, составляющей несчастье и позор нашей родины» и завещали «товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенной бодростью» к светлой цели.

Это все лично Морозову было прямо обращено и адресовано, и слова эти он так и читал как предназначенные лично ему. Многие читали их именно так. Потому впоследствии и сходились единодушно в том, что Большой процесс явился очень важным собы-

тием — и годы тюрьмы, и смерти товарищей, и ярко обнаружившаяся несправедливость, и «завешание» это — все, все собирало в единую пружину ненавидящую готовность выпущенных объединиться уже не только ради пропаганды.

И Морозов, — сразу ставший нелегальным, ибо сразу достоверно узнали они, что Третье отделение, несмотря на решение суда, собирается всех выслать в архангельские и вологодские, от греха подальше, места, — принялся немедленно искать приложения своих сил, своей решимости, своих мыслей.

И его уже очень ждали.

Глава вторая

Пыльным августом семьдесят шестого приехал в Петербург белокурый и улыбчивый, чуть полноватый, но совсем не рыхлый, а напротив — очень крепко сбитый, среднего роста молодой человек в студенческой накидке и высоких сапогах. Он уже бывал здесь в прошлом году. Потом уезжал домой, исключенный из Технологического за участие в беспорядках. Очень ненадолго уезжал. Впрочем, он и не учиться вернулся. Доброжелательно и зорко оглядывался он вокруг, примериваясь и присматриваясь. Дома у него жили все очень сплоченно и дружно, и полнейшее семейное согласие, редкое для больших семей слабого достатка, наложило на детей глубокий, неизгладимый отпечаток. Невозмутимая душевная ясность, распахнутость, теплота и отзывчивость, оптимизм, ничем не колеблемый — всю жизнь сопутствовали детям. У них в семье так много и всегда вовремя говорилось о справедливости

и добре, так много евангельских текстов читали по вечерам и обсуждали, что мать даже спохватилась однажды: а жить-то ее дети как сумеют в этом слишком реальном мире? Утешило и успокоило ее отчасти, что старший, общий любимец, по характеру своему был отчаянный сорвиголова. Причем проявлял себя вполне необычно: не сверстников бил, а упрямо играл одно лето в кошмарную игру с тремя злыми соседскими собаками. Прятался, кидал в них камень, а когда они бросались на него, хрипя от ярости, каждая с него ростом, отбивался палкой, получая удовольствие в этой неравной схватке. И хотя несколько раз его спасали от этих псов, одолевавших его и готовых разорвать, и хотя поколотили его раза два сами соседи, в отместку за пережитый ими страх, он упрямо продолжал свое. И, припомнив забаву эту, решила мать, что не пропадет ее сын в реальной жизни. Даже понадеялась она тайно, что, может быть, и ростки напряженной, чуть фанатичной жажды справедливости, взлелеянные ею в детях, не вырастут чересчур и слишком и не обременят их жизнь.

В этом она, однако, ошибалась. И немного лет спустя, когда ее и отца, уже одиноких стариков, вызвали в столичный город опознавать сына, самого страшного за последние годы государственного преступника в России, она ясно понимала, и отец понимал отлично: это так воплощалась их любовь и христианские разговоры, что велись у них в семье непрерывно. К слезам безутешного отчаяния и горя явственно примешивалась у замечательных, очевидно, стариков гордость за первенца.

Ничего, к сожалению, больше не известно о родителях Александра Михайлова. Разве только детали, согласно и миру семьи наверняка помогавшие: у отца был характер веселый и безмятежный, с ма-

терью они обоюдно обожали друг друга и детей, и от жизни получали удовольствие, никакими лишениями не омрачаемое. Ибо материальную недостаточность числили по ведомству второстепенному.

И от этого климата в семье, и от разговоров домашних, от внушенной отцом любви к природе, от душевной силы незаурядной, откуда ни на что не направленной, возникла у гимназиста Михайлова глубочайшая тайная решимость посвятить свою жизнь делу единственно достойному и величественному: переустройству человечества на основах справедливости и гармонии. Не застенчивый, но затаенный, он однажды сам себе принес клятву, что станет жить и умрет ради всех. Конкретно он не смог бы объяснить, в чем он именно тогда клялся, но без слов, ощущением — очень ясно и ярко понимал.

И потому, примкнув — очень быстро, еще в гимназии, — к тому общему брожению молодых, что исподволь шло тогда по России еле уловимой подземной дрожью, предвестием скорых потрясений, он ни к одному из определившихся течений покуда не приставал насовсем. Потому что ни в одном из них не просвечивала странная идея, с гимназических лет пришедшая ему в голову и прочно овладевшая им: идеалы грядущего переустройства должны создавать вместе какую-то новую религию. Такой, притом, проникающей и впечатляющей силы, чтобы она поглощала человека так же глубоко и целиком, как известные, но дряхлеющие верования.

Социалистические идеи, хоть и высказывал их каждый по-своему и порой почти противоположно, казались ему путем верным. И поскольку цель была кристально ясна: социальное полное переустройство на началах равенства и справедливости, — то и средства — почти все, а может, вообще все — полезные

для достижения этой цели, годились и были хороши. И потому впоследствии казался многим Александр Михайлов чуть циником, чуть склонным к одобрению того, что по нравственности своей выглядело сомнительным. Но он считал, что само время определяет и диктует эти действия, которые зато приблизят и установят такой порядок вещей и такие человеческие отношения, что те временные нравственные послабления, уступки времени окажутся оправданными сполна.

А сейчас он приехал к людям, которые закончили только что счет арестам и потерям и собирались начать заново. Приехал, чтобы включиться, участвовать, отдать себя целиком. Оттого и присматривался он так истоиво и внимательно: ведь не род занятий или развлечений выбирал, а образ пожизненного служения. В Киеве, где побывал летом, он его не нашел. Там говорили слишком много, бравировали и гарцевали друг перед другом, во что-то непонятное играли, собирались учинять бунты — чтобы местные пожары переросли однажды во всероссийский... Выглядело это все несерьезно.

В Петербурге он стал одобряющим свидетелем, а не успел опомниться — и соучастником нового тайного общества. Начали бежавший из ссылки неутомимый основатель кружков Марк Натансон и его жена Ольга. Двое крохотных детей не мешали ей активно участвовать в работе. А Марк объезжал город за городом, отыскивал уцелевших, договаривался, улаживался, сводил. И еще не успел насмешливый Клеменц прозвать его «собирателем земли русской», как и вправду возникло общество «Земля и воля». Сам Клеменц, от великого свободолюбия своего и нежелания связывать себя дисциплиной не вступал в него покуда, но насмешки вдруг прекратил. Только

одна его шутка и так закрепилась за ними прочно, хоть и обронил он ее скорей в досаде, чем от словесной лихости. Никому из посторонних члены «Земли и воли» не раскрывали, где собираются, свои квартиры содержали в тайне (аресты и легкомыслие прошлых лет пошли на пользу), и Клеменц — даже ему не говорили — пошутил тогда в легкой обиде, что, должно быть, они таятся в пещерах, как троглодиты. Так и сохранилось за землевольцами: троглодиты, но очень скоро даже это несерьезное слово стали произносить с уважением.

Потому что действовать всерьез начало это новое содружество. Они решили не бродячей пропагандой, а поселениями, укоренившимися в деревнях, подготовить русское крестьянство. Идти писарями, торговцами, фельдшерами, учителями, на любые места и должности. А в Петербурге оставался центр — чтобы снабжать деньгами, осведомлять и руководить.

И настолько удачным казался всем этот план: покрыть Россию сетью связанных поселений, где каждый будет знать свою местность и своих людей, и его тоже будут знать, что общество «Земля и воля» уцелело, не дрогнув, когда учредитель его снова был опознан, схвачен и сослан. Дело продолжалось, дело не могло угаснуть, и во исполнение дела еще ранней весной семьдесят седьмого в числе нескольких других — их по-прежнему была только горстка — опять бесследно исчез из Петербурга несостоявшийся студент Александр Михайлов.

А в Саратове объявился очень деловой, по-приказчицки прилично одетый белокурый мужчина лет тридцати (ему было еле-еле двадцать два тогда, но выглядел он всегда солидно, и паспорта ему поэтому всегда делали с завышением). Был апрель, солнечный и погожий, и большую часть дня он прово-

дил на улицах или базарах, на набережных у Волги, в трактирах и постоялых дворах. Опытный приказчик по хлебной части приискивал себе место ввиду сокращения торговли из-за военного времени. Деньги у него пока водились, так что с выбором не нужно было торопиться, и вполне понятно выглядело неспешное любопытство бывалого опытного человека. А поселился он на окраине, где жили издавна торговые люди, ремесленники, мастеровые и небогатые мещане. Снимал он угол за перегородкой у глубоко набожной старушки и не уходил оттуда, хотя предложения были всякие. И старушке очень нравился постоялец. Скромный, самостоятельный, вежливый, не табачник и не берущий в рот спиртного, с почтительным интересом относящийся к старушкиным молитвенным отправлениям. Сам он был очень богобоязнен, только веры, к сожалению, негодной — хоть и православной, но поганой — никонианской, государственной веры, а хозяйка была из раскольников. И в разговорах их, все более задушевных и частых, с охотой посвящала постояльца, слушавшего с таким вниманием, что хотелось говорить и рассказывать, в основы своей веры и подробности строгих обрядов. И постоялец был склонен, склонен вместо дурной никонианской шепоти креститься старинным двоеперстием и перенять всю чистоту староверческой манеры жить. Она дала ему почитать несколько молитвенных старых книг — из тех, что отнимались и сжигались бдительной царской церковью, а вскоре, окончательно осмелев и прельстясь накануне смерти обратить в староверчество молодого, что на том свете заслугой было бы немалой, достала из потайного места несколько заветных «цветников» — сборников духовных поучений, мыслей и наставлений. Постоялец благодарно и прилежно учился.

Ибо он за этим и приехал сюда. Его привлекал потаенный и замкнутый мирок раскольников-старообрядцев. Несколько миллионов было их в это время по России. Со времени церковного раскола, с правления Алексея Михайловича, тишайшего царя, неудержимо множились по всей Руси тайные скиты и поселения старообрядцев. Уже раскололся этот мирок в свою очередь на десяток, если не более, разных согласий, сект и толков, но общее у них у всех было. Оно-то и привлекало Михайлова. Было верное служение идее и полное подчинение ей всего распорядка и самого устройства жизни. Было пристрастие к высоким духовным темам — о добре и зле, о жизни и смерти, о вечном и преходящем. Была чуткость к проповеди и готовность впитывать проповедь. Была, наконец, неколебимая враждебность власти. А отсюда — были скиты, тайники и подполья, свой суд и своя власть, свои наставники и авторитеты. Найти духовную систему, которая объединила бы их всех, и сплотить эту великую силу — вот о чем мечтал вчерашний гимназист Михайлов. И за это методически принялся.

Отношение староверов к окружающей их жизни было так созвучно тому, что чувствовал сам Михайлов, было так неприкрыто осуждающе — он уже не раз мысленно хвалил себя за идею проникнуть в этот замкнутый духовный круг. У старушки хозяйки висел возле самых икон аккуратно исписанный чьей-то рукой листок в рамочке под стеклом. Назывался он «Известия новейших времен» — выписка из какого-то «цветника», посвященного приближению конца света. Михайлов много раз читал ее, незаметно и прочно выучив:

«Благодать на небо взята...
Любовь убита...»

Правда из света выехала...
Кротость таскается по лугу...
Правосудие в бегах...
Кредит обанкрутился...
Невинность под судом...
Ум-разум в каторжной работе...
Закон лишен прав состояния...»

И все венчалось крупными, прописными буквами выделенным: «Терпение осталось одно, да и то скоро лопнет».

Книгу эту старушка обещала, но не нашла. Зато принесла другую. В ней было то же самое, в сущности, но уже написано стихами, будто был в старoverческом мире свой интеллигент некий, свой, например, Хомяков, и если Хомяков известный писал свое знаменитое «В судах черна неправдой черной к игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна...», то безвестный поэт из народа писал, естественно, традиционный, только черный раешник: «Пришла газета с того света, в нынешний век смотри всяк человек; правда сгорела, истина охромела, добрую совесть закопали, смирение ногами попрали; славолюбие епископом стало, сребролюбие всеми облагодало».

Он постепенно вникал в дух и букву раскола разных толков. Кое-что он читал еще в Петербурге. Теперь же окончательно убедился: искать ему надо странников, или, что то же самое, бегунов.

Это была крайняя секта русского раскола. Отрицание власти — как светской, так и церковной — было у них полным. Они считали, что уже наступил век антихриста, и чувственное воплощение его — царь. Точнее, череда царей, начиная с императора Петра Первого. Апокалиптический зверь, явление ко-

того предсказано, и есть царская власть. Образ его, воплощение — всяческая чиновно-полицейская, всякая гражданская власть. А другое воплощение — власть церковная. Антихрист заставляет служить себе путем подчинения, воздействием каждой из властей, и бороться с ним открыто — бессмысленно. Ради сохранения жизни — а пришествие Христа будет, и всем воздастся по заслугам — надо уклоняться от всяких отношений с любым из образов антихриста. Надо бежать от податей, переписи, паспортов и присяги. Особенно надо бежать от военной службы, ибо это — жертва кровью, которую пуше всех требует антихрист.

У бегунов была разветвленная по всей стране сеть тайников и явок, где всегда могли подкормиться, отдохнуть или пересидеть опасность странники. Обратив всю эту секту на пользу революции, чтобы воспользоваться связями и умениями бегунов, — вот чего вознамерился достичь Михайлов.

И во многом, что поразительно, преуспел. Он талантлив был необычайно. Потом, значительно позднее, в воспоминаниях о нем человек, всех чернящий и низводящий, дойдя до способностей Александра Михайлова, употребит эпитет «великие».

Летом он исчез из Саратова. Но по деревням губернии начал ходить и ездить молодой солидный человек, являвшийся, в зависимости от нужды местной общины, то лавочником, то мельником, то писарем, то кузнецом. Обстоятельный, практичный, знающий, он неторопливо расспрашивал о житье-бытье, о постоялых дворах, о мастерских и о всяком прочем. Средства у него были, и разумным выглядело его желание поискать сперва, где бы осесть надолго.

Он присматривал места для поселений землевольцев, но свой главный интерес не забывал. В ста-

роверческих селах он ел и пил отдельно от хозяев — в стороне на лавке и из собственной посуды, не курил и явно никогда не был бритым. Уходил молиться в одиночестве. Не по братии ли он какого согласия? — гадали хозяева и охотно заводили духовные беседы. Он обсуждал с интересом, участием и смыслом любые вероучения, ни одно из них не осуждая. «Испытую крепость свою в духовных беседах», — объяснял он свою любознательность. Так прошли лето и почти вся осень.

А в октябре в одной из саратовских церквей, где православные священники, как на дежурство, выходили после субботней всенощной на диспут со староверами, в толпе слушателей стоял с приятелем молодой человек с не улыбочивым, слегка взволнованным лицом. Спутник его, Жорж Плеханов, товарищ по «Земле и воле», пришел посмотреть, что успел и сумел Михайлов. Служитель причта поставил два аналоя, зажег возле каждого по канделябру и до прихода батюшек меланхолически рассказал двум интересующимся молодым людям, что ревнители древнего благочестия почти перестали нынче ходить на эти диспуты, потому что батюшки, по слухам, доносят в полицию о приходящих спорщиках и власти не мешкают с воздаянием. От этих сведений белокурый господин расстроился слегка, но волноваться не перестал.

Вскоре пришли два священника. Они раскрыли две огромные книги и принялись, поддерживая друг друга, унылым дуэтом опровергать какое-то положение староверов одного из согласий. Слушатели поредели, было скучно, так как никто не возражал. Очевидно, батюшки и впрямь не брезговали оказывать услуги светской власти. Однако молодой человек почтительно задал все же какой-то вопрос о смы-

сле одного из пророчеств. Батюшка нехотя ответил. Снова последовал вопрос — уже содержащий вполне смиренное по тону, но опровержение, подкрепленное цитатой. Минут через десять оба священника суетливо листали книги, помогая друг другу, а белокурый возражал по памяти, чуть напевно выговаривая тексты. Смущение обоих коллег длилось очень недолго — до того момента, как один из них совершенно между прочим спросил у назойливого вопросителя, где тот живет. Вопроситель сразу потерял желание спорить, уклончиво сказал, что он приезжий, и ушел вместе с приятелем. «Победихом, победихом!» — повторял он всю дорогу, чрезвычайно собой довольный. Жорж Плеханов кивал головой одобрительно и удивленно.

И той же осенью в том же октябре в старообрядческом селе Синенькие появился новый учитель, нанятый общиной на зиму. Это еще были не странники, до них было труднее всего добраться, это были староверы Спасова согласия. Иначе оно называлось Нетовщиной, потому что утверждали они, что нету уже нынче в мире ни настоящего духовенства, ни настоящих таинств, ни подлинной благодати. А «как нет ныне на земле никакой святости, то желающим содержать старую веру остается только прибегать к Спасу, который сам ведает, как спасти нас, бедных».

Учителя поселили на окраине села, в землянке, выходящей дверью на крутой откос, и сюда по земляным ступенькам, сперва осклизлым, потом ледяным, спускались к нему каждый день ребятишки учиться грамоте. Дело у него пошло так хорошо по сравнению с бывавшими тут ранее в учителях отставными солдатами, ребятишки так полюбили его и так быстро стали бегло читать псалтырь, и жития святых, и даже толковать «цветники», что суровые и недружелюбные

к пришлым людям староверы единодушно расположились к нанятому учителю. Настолько, что даже на молитвенные собрания начали его допускать, и он, как они, становился коленями на расшитый плат, надевал на руку кожаный треугольник и отбивал поклоны, истово повторяя слова древнего благочестия. Как и большинство староверов, спасовцы были беспоповцы, не признавали современных священников, ибо безнадежно пресекалась, по их мнению, преемственность рукоположения в сан. Главою общины был наставник — хозяин молитвенного дома. Человек молодой уже, твердый, пронизательный, знающий и властный, он к исходу зимы совершил неслыханное в кругу старообрядцев: предложил заезжему учителю остаться у них навсегда. Но даже от такого невиданного признания молодой учитель отказался. Впрочем, он обещал вернуться. Его провожали, как никого, не только щедро заплатив по понятиям и уровню села, но и подарив, чего тоже никогда не водилось, несколько тайных «цветников».

Он уезжал весной в Петербург вовсе не для того, чтобы отдохнуть и отдышаться, — вовсе нет: он тут же собрался в Москву, ибо только там, в Публичной библиотеке, надеялся найти старые раскольничьи книги, чтобы пополнить свое образование. Он хотел вернуться во всеоружии, чтобы мир староверов воедино обратился однажды на службу революции. Дело — это название революции, принятое негласно, но всеми понимаемое даже в легальной печати, — могло обогатиться огромным количеством участников, спаянных самой прочной в мире спайкой — духовным единением.

Но ему не пришлось вернуться. Ему пришлось опять броситься сломя голову в Петербург, потому что внезапно и сразу там был арестован весь центр.

А он — кроме того, что верил в пользу и расцвет «Земли и воли», — он еще тайно любил Ольгу Натансон. Он задавил в себе эту слабость, он затоптал ее и спрятал, но глубокая ссадина оставалась и саднила время от времени. А потом Ольга Натансон умерла от скоротечной чахотки — не в тюрьме, к счастью, а отданная на грани смерти домой, и неизвестно, любил ли он кого-нибудь еще. И потому многие говорили потом, что организацию он любил, как женщину.

Тут-то и проявился впервые во всей полноте и яркости его великолепный главный талант: сплочения и соединения. Он с утра до ночи бегал, собирал, узнавал — и менялись квартиры, отыскивались люди, находились новые жертвователи денег. Член организации киевлянин Лизогуб отдал все свое состояние, а оно было огромным, но был приток средств и со стороны. И уже через месяц после полного, как поначалу казалось, разгрома снова существовал центр, а жившие в деревнях получали деньги и любые документы по заказу. Все это сделал один Михайлов, всю тяжесть ликвидации и нового устройства сразу же и безоговорочно взявший на себя.

Он и принимал в организацию — без общего голосования, потому что не новичка, а всем известного надежного человека — своего почти сразу друга и непримиримого возражателя Николая Морозова.

Они ухитрились поспорить прямо в день приема. Такого Михайлов еще ни разу не встречал. Вступавшие в «Землю и волю» были тихи, со всем согласны и радовались доверию. А тут... И пустое, что ровесник, даже старше на год, выглядит мальчишка мальчишкой. Только вот упрямство — не мальчишеское. Твердое, устойчивое упрямство. Тюрьма, что ли, пошла ему впрок?

Они столкнулись лоб в лоб на теме, горячо обсуждавшейся в то время, чуть спустя выясненной будто бы, а на самом деле — оставленной просто за недосяжимостью единого решения, которое устроило бы всех: оправдывает ли цель средства? Если бы не помнился всем пример Нечаева, не встал бы и вопрос, столь светлой представлялась им цель. Но Нечаев всех испугал грязью средств, грязью, которая и образ цели забрызгивала пятнами слишком разных цветов. А тут еще подвернулись трое южных бунтарей, недавно чуть не совершивших дело громкое, шумевшее и беспрецедентное по бесчестию средств. Оно не просто непрерывной темой споров теперь было, оно оказывалось пробным камнем, лакмусовой бумажкой мирозерцания каждого.

Трое киевлян его начали, трое во главе с Яковом Стефановичем, сыном деревенского священника, человеком энергичным и подвижным как ртуть, готовым на любое, лишь бы поскорей началось. А в Чигиринском уезде давно уже среди крестьян шло брожение — они хотели передела земель. Посланных к царю ходяков полиция вернула на родину, и по деревням уезда пошла гулять легенда, что чиновники обманывают царя, искренне желающего крестьянам блага. Несколько деревень отказались платить подати, зачинщиков жестоко высекли, многие дома наказали солдатским постоем, а около сотни крестьян забрали в тюрьму, покуда не одумаются. Нравы были патриархальные, заключенных на день выпускали в город поработать, здесь-то с ними и познакомился Стефанович. Он внушил им полное доверие, вызвался проникнуть во дворец и довести жалобу до царя. Крестьяне положились на него, провожая благословением и молитвой, а он через некоторое время вернулся, привезя с собой два великолепно отпечатанных (ввер-

ху — оттиск орла, а в конце — золотая печать роскошная) личных от царя документа. Печатали их в Киеве подпольная типография, и подложные эти бумаги вполне могли произвести впечатление. Царь жаловался своим верным крестьянам, что не может наделить их землей из-за противодействия чиновников, дворян и злого сына-наследника. Он бессильно и доверительно обращался прямо к землепашцам Чигиринского уезда Киевской губернии:

«Непрестанная двадцатилетняя борьба Наша за вас с дворянством убедила Нас наконец, что Мы единолично не в силах помочь вашему горю, и что только вы сами можете свергнуть с себя дворянское иго и освободиться от тяжелых угнетений и непосильных поборов, если единодушно с оружием в руках восстанете против ненавистных вам врагов и завладеете всею землею... Повелеваем: соединяйтесь в тайные общества, именуемые «Тайные Дружины», с тем, чтобы подготовиться к восстанию против дворян, чиновников и всех высших сословий...»

Царь не просто призывал крестьян к восстанию, но и лично разработал, по великой своей заботе о подданных, устройство этих тайных дружин. Каждые двадцать пять крестьян избирали себе старосту, совет старост избирал Атамана, а уж этот Атаман получал все приказы от специально уполномоченного царем Комиссара, на что у Комиссара была особая от царя грамота. Для работы в Чигиринском уезде царь уполномочил Стефановича. Все дружинники должны были обзавестись пиками или иным оружием и в полной тайне ждать условленного часа. Каждый из дружинников, стоя на коленях перед иконою Спасителя, а также перед крестом, евангелием, зажженной свечой и двумя накрест воткнутыми ножами, приносил святую присягу. Текст ее, лично разработанный

царем, тоже был предусмотрительно приведен в документе:

«Я (имя, отчество, фамилия) перед ликом Спасителя, Святым Евангелием, Святым Крестом, клянусь всю мою жизнь пожертвовать св. народному делу Дружины. Клянусь по приказу Государя Александра Николаевича бороться с оружием в руках с помещиками, чиновниками и всякими моих собратий и моего Государя Александра Николаевича врагами, погубившими нашу волю и отнявшими от нас землю, врученную нам самим Богом и Государем Александром Николаевичем в вечное бесплатное пользование. Клянусь всеми моими силами стараться непрестанно вербовать членов в Тайную Дружину. Клянусь жить со всеми дружинниками в мире и согласии и, как братьям, помогать им в нуждах. Клянусь сохранять в строгой тайне наше общее дело даже на исповеди и никого из товарищей-дружинников не выдавать врагам и если замечу в другом таковое намерение, — донести своему старосте... Если нарушу сию мою клятву, то призываю гнев Господа Бога и всех святых его на меня и на всё мое потомство, и да поразят меня всякие беды и несчастья, и да не щадит меня рука брата-дружинника. Аминь».

Суровая и грозная поэзия этой небесталанно написанной клятвы, убедительный тон всего царского послания привлек сердца крестьян и покорили их, не оставляя места сомнениям. В течение ближайших нескольких недель по возвращении Стефановича из «поездки» в Петербург присягнули на верность восстанию первые триста человек. Затаенное предгрозовое спокойствие воцарилось в деревнях уезда, и начальство, почуявшее неладное, приняло меры к выяснению. В одной деревне этим усердно занимался — впрочем, пока из любопытства — местный священник,

в другой — содержатель придорожного кабака, со-трудничавший с полицией, но добиться долго ничего не удавалось. Даже женщины хранили молчание. Проболтался наконец — по пьянке — один из дружинников, думавший привлечь нового сотоварища. А потом кто-то еще выдал — один, больше никого не нашлось, к чести Чигиринских крестьян, даже оружие уже изготовивших в полной тайне. По деревьям ко-вались пики. Присягу принесли уже свыше тысячи человек. Около девятисот арестовали. Впрочем, суд отнесся к ним довольно снисходительно — они были полностью обмануты, — но часть все же пошла на каторгу. Они, кстати, не винили Стефановича в обмане (с ними потом встречались на этапе сосланные землевольцы). «Бог ему судья, — говорили они о самозваном комиссаре царя, — он ведь хотел нам добра». И Стефановича самого вместе с двумя другими — те были куда помельче личности, просто исполнители его буйной изобретательности — тоже вскоре схватили. А самый успех этой авантюры, замешанной и построенной на лжи, самая массовость удавшегося тайного заговора еще много лет служили темой споров, раскаленных до кипения.

— Это мерзость, — сказал Морозов убежденно, как о давно продуманном и несомненном. — Мерзость.

— Мерзость это эстетика, Морозов, — ответил Михайлов наставительно и усмешливо. И тоже повторил: — Эстетика. А для дела это очень и очень полезно.

Они уже давно были на «ты» и по имени, однако на время церемонии приема Михайлов стал официальным, и Морозов принял игру как должное.

— Ложь не может быть полезна для дела, — уп-рямо возразил о н . — Эти крестьяне обмануты. Что мы скажем им, если они нас спросят?

— Что другими способами их нельзя было поднять. Что ради цели, им близкой и понятной, ради земли и воли годятся любые средства.

— Не любые, — говорил Морозов. — Не любые, Саша. Вы, Михайлов, сами понимаете, насколько это пахнет нечаевщиной. Если мы нечистыми руками станем добиваться победы, то и она окажется запачканной. Я, если хотите, даже не о нравственности — о бессмысленности и неоправданности говорю...

Михайлов собрался сказать что-то, но Морозова уже трудно было остановить. Он вскочил и забегал по комнате. Он почти кричал, так хотелось ему доказать золотому этому человеку, что он ошибается, и притом серьезно.

— И еще, если хотите, Михайлов, мне очень неприятно говорить гадости о товарищах по организации...

— Вы еще не приняты, — холодно вставил Михайлов, заикаясь от волнения и покраснев.

— Плевать на это, я буду принят, потому что я хочу с вами жить, больше с кем мне прикажете жить? Не с кем. Но сказать я хочу — сразу, чтобы не было недомолвок, вот что: если он такое количество хороших, очевидно, людей спокойно обманывает ради самой благой для них же цели, кто поручится, что завтра он саму организацию не обманет? Ради какой-нибудь еще пользы для дела, как она ему будет представляться. Я уж не говорю — для себя. Нельзя ничего настоящего построить на лжи, и пусть я лучше трижды окажусь неправ, но человек, способный на такое шулерство, может обманывать еще и еще! Не перебивайте меня, Саша, мы должны воевать честно.

— Даже с жандармами? — засмеялся Михайлов.

— И в спорах не надо передергивать, — произнес Морозов, останавливаясь вдруг, и таким тоном, будто

это он принимал Михайлова в тайное общество и теперь учил, как жить. — Жандармы — это наши враги, и с ними хороша любая хитрость, это просто военная хитрость, и чем она круче сделана, тем лучше. А несчастные эти крестьяне — наши друзья и соратники, и нельзя их гнать в бой обманом.

— А иначе не пойдут, — вставил Михайлов.

— Значит, им не так уж и нужна эта земля и воля, — сказал Морозов злостью. — Значит, они еще не созрели, и надо их готовить как-то. Мы имеем право только на тех, кто идет с нами открыв глаза, а не обманутый и одураченный подлогом. За царя же они идут! А если другой кто объяснит им, что мы против царя, они же и нас растерзают с готовностью. Вон казаки с Дона, с Кубани, с вольницы всегдашней, кажется, а сегодня кто студентов нагайками разгоняет? Может, и казаков чем-нибудь обмануть надо? Если они пока темные, значит, мы работали плохо. Потому я и говорю: надо нам, нам выступать, надо свободы добиваться для тех, кто может объяснить этим людям, как им быть дальше, и где их настоящие интересы, и кто их настоящие соратники. А Стефанович ваш — он... Словом, я не хочу это слово употреблять.

— Отчего же, говорите уж до конца. Провокатор, что ли? — произнес Михайлов.

— Нет, — смутился Морозов. — Этого я сказать не хочу. Он, возможно, честно и искренне полагает, что это хорошо. Только жертвовать можно — собой. Даже близкими уже нельзя. А он их как баранов погнать хочет. И Нечаев бы его одобрил. Сам знаешь, что одобрил бы. А там, где Нечаев бы одобрил, нам в самый раз подумать. Нечаев, уж не помню, кому именно и когда, но слова такие точно говорил, что, мол, лучший способ помогать народу — это водить его под картечь. Так что он в восторге был бы.

Вдруг Морозов засмеялся, остывая, и сказал примирительно:

— Знаете, Михайлов, бросим этот спор. Мне уже Кравчинский чуть голову не отвернул за такое мнение.

Михайлов улыбнулся, представив себе, с какой легкостью огромный и буйный Сергей мог отвернуть Морозову голову на тонкой шее. И посерьезнел опять.

— Видите, Морозов, вы в одиночестве со своим мнением о Стефановиче и Чигиринском деле. А у нас меньшинство подчиняется большинству, это непереносимое условие.

— Думать я всегда буду как хочу, — упрямо ответил Морозов. — А что я один — подумаешь!

— Это в тебе дворянская спесь говорит, — сказал Михайлов.

— А я, между прочим, из мещан, — возразил Морозов насмешливо. — Меня отец не усыновлял. А вот ты как раз из дворян. Да?

— Да, — сказал Михайлов. И оба засмеялись примирительно, потому что великолепно им обоим было ясно, что на все время, что осталось им свободы и жизни, они все равно вместе. — А про Стефановича ты зря. Он с головой наш и никогда не предаст и не изменит.

— Я, Саша, в запале просто, — согласился Морозов. — Но я так ненавижу ложь, даже если она во благо, что не понимаю, как люди могут это делать, оставаясь в остальном честными. И уж тебе-то, в святом писании так поднаторевшему, это не понимать. Ты ведь религиозный человек, Саша, ты ведь живешь идеями, идеалами, духом наполнен святительским, что ли, не знаю уж, как точнее сказать. А любая ложь — отступничество от любой святости и настоя-

щей духовности. Ну, запутался я в твоих выражениях, прости. Но ты понимаешь, о чем я говорю.

— Понимаю, — кивнул Михайлов. — Только знаешь, очень хочется побыстрее. Чтобы еще при нашей жизни. Или ты не надеешься?

— Ой, что ты, — очень надеюсь, — пылко воскликнул Морозов. — Я так думаю, года через три-четыре, может. Я ведь почему спешу? Я эгоист ужасный, мне поскорее хочется победить, скинуть с себя этот долг, а потом заняться наукой. Ты-то сам, конечно, не успокоишься, опять во что-нибудь вяжешься, а я — одной наукой.

— Ну ладно, — сухо проговорил Михайлов. — Мы размечтались очень. Вы приняты, Морозов, в общество «Земля и воля». Теперь я могу показать вам наши квартиры и открыть состояние всех дел. На вас у организации есть свои виды.

— Да, я знаю, — простодушно сообщил Морозов. — Мне Кравчинский проболтался под жутким секретом.

— Ну и народ, — сказал Михайлов мрачно. — С вами каши не сваришь.

— Вернее, сваришь, но не утаишь, — радостно ответил Морозов.

— Пошли ко мне? — предложил Михайлов.

Они быстро шли по людным вечерним улицам, неразличимые в неспешном, почти сплошь гуляющем потоке прохожих, перекидываясь отдельными словами, но больше молча. Михайлов внимательно и пристально оглядывал встречных. Уже ходила о нем легенда как о гении конспирации и бдительности, знатоке всех проходных дворов Петербурга. Морозов, то сходясь с ним плечо к плечу, то расходясь в текущей толпе, после Невского шел уже рядом по тихой Расстанной и думал, что Михайлов с его беззаветностью и чистотой не мог не преодолеть чего-то в себе, чтобы оправ-

дывать чигиринскую аферу, и еще думал о том, как везет ему в жизни, что он бок о бок ходит с самыми лучшими людьми своего поколения. Он знал уже о деле, в которое собиралось вовлечь его общество «Земля и воля», понимал, что дело это займет его на все годы, что остались до победы или тюрьмы, и был очень горд, что будет заниматься им. Был только не уверен, что оправдает возлагаемые на него надежды, но знал, что отдаст себя целиком, без остатка. А что-то ведь есть в нем, очевидно, если так ему доверяют, — значит, это «что-то» непременно и обязательно скажется. Как удастся жизнь, черт ее побери, как прекрасно складывается она!

* * *

*

И вдруг — любовь. Она застигла его сразу, неожиданно, всего целиком, и никакой радости он не испытал. Потому что очень давно для своих немногих лет знал это мучительное, каждый раз безответное чувство. Десять лет уже смеялись над его влюбленностями все, кто оказывался осведомлен. С какого-то времени научился подсмеиваться и он, только это было напускное, для наружного употребления, а внутренне — мучился и ничего не мог поделать с собой. Потом вдруг вспоминал шутку тезки своего Саблина, что у Морозова «хроническая сердечная изжога», ухмылялся, чуть легчало, а потом снова томительно и гнетуще ныла душа. Откуда у него эта влюбчивость, он и сам не знал — ее и обнаружил-то не он, а близкие, когда четырнадцатилетний Коля вдруг принялся неотступно и преданно всюду следовать за сестрой отца, дамой рассудительной, более чем двадцатилетней, а вскоре после того лета — и замужней. Он исполнял ее мелкие поручения — она

давала их охотно, — покорно сносил все насмешки и розыгрыши, и ходил, ходил, ходил. Он одного от нее хотел — чтобы вдруг представился случай умереть, спасая ее жизнь или честь. Но случай так и не представился.

Потом она уехала, и через месяц, как ни в чем не бывало, Коля, уже все забыв, веселился, как котенок у огня, дурашливо реагируя теперь на насмешки, — они стали обидны вдруг, оттого, скорее всего, что теперь уже были несправедливы. Но к младшим сестрам взяли гувернантку, и все началось опять. Он тайком хранил в ящике стола два потерянных ею шнура от туфель, он засушил, как великую драгоценность, со смехом подаренный ею букетик, а когда для всего дома уже не была секретна его новая сжигающая страсть, она сделала ему и вовсе царский подарок. Накапав стеарин со свечи на мизинец, дав комку затвердеть, она сняла его с пальца, и в эту формочку опять залила стеарин. А потом разломила ее, и свой мизинец — точное изваяние мизинца! — подарила гимназисту, застывшему в этот миг от счастья и обожания.

Она-то и приезжала после в Петербург, приехавшая отцом, чтобы следить за взятым тогда на поруки совершенно непонятым уже и отчужденно вежливым человеком. Она неназойливо оказывалась рядом почти каждый раз, когда он выходил куда-нибудь, он вежливо предлагал ей идти вместе, она соглашалась с удовольствием, и тягостное молчание безнадежно разъединяло их. Ему и вспомнить было странно, как мучился он недавно от изматывающей душу любви и преданности.

Потом он полюбил Липу Алексееву, милую блондинку, певицу и умницу, с двумя малышами вдову при живом муже, где-то лечившемся от неизлечи-

мого тихого помешательства. Это она была хозяйкой дома, куда его впервые привели, это ради нее он снова готов был на все, и помнил бы еще очень долго, не познакомься за границей со студенткой Верочкой Фигнер. Это ей однажды, не в силах более страдать, тайно сунул в руки записку с объяснением в любви, а вскоре уехал, получив бессловесное ответное объяснение в чувстве исключительно дружеском.

И еще кого-то он любил, а потом остывал и покорно ждал очередного наплыва преданности и тоски, как ждут приступа малярии, который оттреплет, измучает, но непременно пройдет.

И вдруг — любовь. Он вернулся в августе из Нижнего, напрасно прождав там провоза одной осужденной киевской пропагандистки, которую взялся с двумя друзьями отбить у конвоя по выезде из города. Сидя в Нижнем, он узнал о том, что его давний друг Кравчинский решился, наконец, на убийство начальника Третьего отделения Мезенцева и блестяще исполнил задуманное. Мезенцева было решено покарать за многое, но главным образом за ходатайство перед царем об ужесточении приговора по процессу ста девяносто трех. Он долго колебался, Сергей, и выдумывал черт знает что. То он собирался вызвать Мезенцева на дуэль, то отсечь ему голову специальной короткой саблей (и заказал эту саблю, ее многие видели), то окончательно решил поразить его кинжалом, но дважды проходил при встрече мимо. Потому что одно дело — звук ненавистного имени приговоренного за жестокость жандарма, а совсем другое — немолодой усталый человек, медленно и спокойно идущий навстречу. А однажды он шел, что-то улыбочиво говоря спутнику, и Кравчинский с ужасом понял вдруг, что перед ним — очень добрый человек, — может быть, это не Мезенцев? Нет, оказалось —

он, и не то чтобы момент был упущен, какое там, Мезенцев каждый день с утра ходил с приятелем своим, каким-то полковником, наскоро помолиться в часовенке у Михайловской площади, но никакой решимости, никакой вражды не мог в себе пробудить Кравчинский. Но вот газеты сообщили, что еще зимой схваченный в Одессе Ковальский, оказавший при аресте вооруженное сопротивление, казнен и по его могиле под музыку прошли войска. Чья дьявольская выдумка руководила этим, осталось неизвестным, но Ивана Ковальского знали тогда все. Он был из тех неприкаянных, вечно полуголодных и оборванных общественных радетелей, которые носят книги и письма хоть на край города пешком, если их попросят, которые вечно устраивают чью-нибудь неустроенную жизнь, нисколько не заботясь о своей, которые поделятся последним и вечно полны чувствами и болями тех, с кем постоянно общаются. Многие считали его безобидным и добрейшим городским чудачком, но в ту пору всеобщих собраний о всероссийском переустройстве он оказывался сплотителем, звеном, передатчиком новостей и бумаг, самым преданным общему делу и оттого для многих притягательным человеком. Он уже давно таскал с собой револьвер, обещая сопротивляться, и вот исполнил свое обещание, и был казнен через полгода тюрьмы. Остальные, студенты университета, пошли на каторгу, это уже становилось привычным, но казнь Ивана Ковальского, казнь человека, то с Дон-Кихотом сравниваемого, то с князем Мышкиным, кто читал, а то и вообще с юродивым, — это было страшно и невыносимо. И Кравчинский решился, ибо все, что происходило, имело отношение к Мезенцеву. Газеты сообщили, что высокий брюнет (шляпа, значит, не спрятала его буйных вьющихся волос), поравнявшись

с Мезенцевым, поразил его в грудь кинжалом и скрылся на сером в яблоках рысаке. Шедший рядом с ним второй брюнет в это время чуть оттер полковника Макарова к стене, а когда тот ринулся на покушителя, то второй брюнет выстрелил в него, но или промахнулся, или не хотел попасть. Они невозбранно скрылись.

Все несколько дней дороги до Петербурга (его отозвали) Морозова переполняла благодарность Кравчинскому. В этой благодарности даже доля поклонения была, потому что снова — уже вторично — за Морозова было исполнено то, что он сделал бы сам, ибо ни на минуту не уснул после заметки о казни Ковальского и метался по своей гостиничной комнате, как недавно по тюремной камере, сжигаемый ненавистью и жадой вмешаться. Он в ту ночь даже ходил на Волгу, чтобы успокоиться и остыть, и впервые — он отметил это трезво и злорадно, будто вовсе не о себе — природа и звездное небо не пробудили в нем ни малейшего желания вернуться к науке. Жизнь его была решена.

И вдруг — любовь. В день возвращения он пошел вечером к художнице Малиновской, у которой — знал это наверняка — будет Сергей, которого не терпелось обнять. И Сергей был там, неуловимо изменившийся, куда более сдержанный, чем раньше, но, конечно же, донельзя гордый сделанным. А за общим столом — чуть наискосок от Морозова — сидела смуглая, очень тонкая, с большими и меняющимися оттенок серыми глазами под черными бровями серпом, с огромной черной косой, перекинутой на грудь, девушка, на которую Морозов, раз глянув, когда пожимал руку (их не знакомили), старался уже не смотреть, потому что сразу и очень знакомо потянулось, будто его дернул кто-то, и чуть защемило сердце.

В тот вечер они ушли с Кравчинским, которому не терпелось рассказать все, как было, но Морозов чутко расслышал, что и завтра она будет у Малиновской. И показалось ему или нет, что она тоже живо глянула на него, когда он говорил «до завтра» художнице, собравшейся мыть посуду большой малярной кистью? Впрочем, ему всегда казалось в первый раз, что глядели на него именно так.

Ольга Любатович, осужденная по процессу пятидесяти, оказалась в крохотном сибирском городке Ялуторовске, но вместо положенных девяти лет не вытерпела и года. Исправник читал письма, заставлял ежедневно являться в участок, придирчиво допрашивал, с кем кто общается, и Любатович, много раз грозя ему утопиться от такой жизни, выбрала летний день и отчасти исполнила угрозу. На берегу Тобола остались, будто скинутые наспех, запасное платье, башмаки и чулки, а сама она — в прихваченном тайно платье — уехала на поезде. Хватились ее через день, и еще потом дня три ловили баграми тело, а она уже подъезжала к Петербургу.

Повсюду царила нескрываемая полицейская суматоха: искали убийцу Мезенцева. У нее не было ни паспорта, ни денег, ни адресов, а надо было срочно куда-нибудь исчезнуть. Прямо на вокзале к ней подошла какая-то малосимпатичная женщина и предложила приют, потому что «сразу вижу, душенька, что вы приезжая и знакомых не имеете». Она согласилась, а хозяйка привела ее в какие-то пустые меблированные комнаты с большим общим коридором, по которому к вечеру стали непрерывно шаркать шаги, будто шло переселение многосемейной квартиры. Хозяйка принесла булку и чай, ни о чем не спрашивала и была — воплощение ласки и уюта. Только на завтра Ольга догадалась, куда попала, когда хо-

зайка предложила познакомить ее с очень симпатичным и состоятельным приезжим, просто и дружелюбно сказав, что первую неделю она не станет брать с Ольги свою долю, потому что сначала надо приодеться. Ольга попросила еще денек-другой отдыха после дороги, и тут появился в городе присяжный повенный Бардовский, который помог ей отыскать подруг.

Когда-нибудь будет наверняка написана удивительная книга — о поведении адвокатов той поры. Они передавали записки и отказывались от гонораров, они сообщали нелегальной печати детали закрытых судебных процессов, они служили связующими звеньями между подсудимыми в разных камерах, они прятали нелегалов и сами оказывались подследственными. Их предупреждали, отстраняли, высылали, у них делали обыски и подсылали к ним провокаторов. Они печатали стихи в подпольных журналах, и двери их дома всегда были распахнуты для помощи и совета. Нет, не у всех, конечно, но многие, очень многие из тех, кого презрительно звали либералами, помогали движению чем могли. Если сочувствовали. А когда защищали и узнавали подзащитных ближе, несочувствующих не оказывалось. Потому что неописуемо чисты были эти подзащитные и обреченно преданы своему делу.

И Бардовский был из таких помогающих и сочувствующих. Он потом был арестован по обвинению в помощи нелегалам и сошел с ума в тюрьме. Это произошло год спустя...

На другой день после их встречи, — а Морозов ждал вечера с нетерпением, отчего-то не мучаясь на этот раз заведомой неудачливостью своей очередной влюбленности, — она рассказывала кому-то эту историю, и Морозов услышал имя Бардовского. Это по-

казалось ему счастливым предзнаменованием. Бардовский собирался быть его защитником на том процессе, много раз приходил в его камеру, и они очень подружились. Морозов вслух похвалил Бардовского. Любатович горячо поддержала его. Домой им оказалось почти по дороге. Во всяком случае, весь путь в обратном направлении Морозов пробежал достаточно быстро. Каждый день теперь они уходили вместе, потому что еще накануне договаривались, где окажутся завтра.

Они были ровесники, но он чувствовал себя рядом с ней очень взрослым и очень сильным. Впервые в жизни он так чувствовал себя рядом с женщиной, которая ему нравилась. И она явно это признавала, обращаясь к нему за поддержкой, защитой и подтверждением. Резкая и несдержанная в словах и мнениях, упрямая и несговорчивая спорщица, она покорно затихала, слушая его и почти всегда соглашаясь. И понимала все, все на свете. И не притворялась понимающей, нет, потому что глаза ее огромные вспыхивали, изумлялись и затуманивались в совершенном соответствии с тем, что он рассказывал ей. Он всюду носил с собой оружие — она одобряла его. Он шутил — она смеялась, самозабвенно закидывая голову движением пленительным и свойственным только ей. Она ходила легко и стремительно, чуть по-птичьи припрыгивая на ходу, и Морозов, который в спешке обгонял, случалось, извозчиков, с удовольствием брал ее в попутчицы. Он показывал ей созвездия, и ей это было страшно интересно. Он излагал ей свои необычные идеи по истории человечества — доводы казались ей совершенно убедительными.

Она была падчерицей в семье — кто, как не Морозов, мог понять ее терзания после всего, что произошло у него с отцом. Ее же отец, после смерти матери

женившись на гувернантке дочерей, обзавелся новыми пятью детьми, и лишь тут запоздало обнаружил, что живет с совершенно чужой ему, властной, злобной и неряшливой женщиной. Он стремительно опустил, как-то сник, спал и будто выдохся. Ольгу он, правда, очень любил, но не возражал, когда они с сестрой покинули запущенный дом. А все детство — Ольга помнила это все годы — он повторял, глядя на нее: «Если бы ты была сыном!», — и многие, многие вечера она провела в углу на коленях перед иконой, молясь о превращении в мальчика.

От истории этой у Морозова сладко защемило горло и захотелось тут же сильно обнять Ольгу, до боли сильно, потому что какие слова могли передать ей, какое это счастье, что она женщина и что он ее встретил.

Оказывалось интересным все, что даже косвенно относилось к Морозову. Он рассказал ей романтическую историю смерти своей бабушки и деда, и она слушала, раскрыв глаза, и качала головой от изумления, что такие истории бывают и в самом деле, а не только в книгах. Дед Морозова обидел своего молодого камердинера, начитавшегося романов и тайно влюбленного в уездную барышню, которая как раз была в имении в гостях у деда. Дед обругал его и выгнал из комнаты за пролитие соуса во время званого обеда, и мальчишка отомстил ему за унижение в духе только что прочитанного, должно быть, очередного тома приключений. Он сговорился с дворецким, тоже за что-то недовольным, и они подкатали ночью под печь бочонок охотничьего пороха, а потом воткнули в него свечку, зажгли ее и ушли. От взрыва, разнесшего полдома, погибли и дед, и бабушка, а камердинера и дворецкого изобличили, когда они побледили и зашатались, целуя, по обычаю, руку

покойным господам. А дед, между прочим, был по матери своей, Нарышкиной, в родстве с Петром Великим — вот какая у него родня и какие истории с ней происходили.

Она тоже рассказывала ему про всю свою жизнь, и все казалось то очень значительным, то неизвестно отчего безумно смешным. Так они оба покатывались от смеха, когда сообщали друг другу ключи старых секретных шифров, которыми писали письма. Шифр состоял в том, что какую-либо условленную фразу-ключ разносили по нумерованным сбоку и сверху клеткам, и каждую букву таким образом заменяли две цифры ее местоположения. Ключи были невообразимые, и каждый казался потешным донельзя — «Эй, Фомич, кубышкою владей», или этот: «Рубят цветущий южный лес», или этот: «Неуместно беспощадно грубиянить».

Все его рассказы о детстве казались ей безмерно увлекательными. Под влиянием нянюшки он твердо верил в существование леших, русалок, водяных, домовых и привидений. От нее же впервые услышал о святых мучениках за веру. Отсюда и первая мечта была стать, когда вырастет, столпником и сорок лет простоять на одной ноге, совершая обет неподвижности. А потом уже, перед самой гимназией, начитавшись всякого и усомнившись в наличии бога, мысль свою привыкши додумывать и доводить до действия, выбросил в окно икону с вознесением Ильи-пророка. Небеса не разверзлись, и молния не поразила его. Он никому не рассказал об этом, но жить ему стало много сложнее. И Ольга прекрасно поняла отчего. Он никогда не встречал такого мгновенного и глубокого понимания.

Он говорил, что скоро они, конечно, погибнут и что он готов к этому, но хотелось бы успеть хоть

немного подтолкнуть страну к свободе — пропагандой этого не сделать, он-то знает, он с детских лет общается с народом, и никуда крестьянство не сдвинется, потому что нет для него ничего выше, чем батюшка-государь. Но вот заставить самого царя дать стране свободу печати и обсуждений — можно, и они, горстка партизан, должны вынудить у царя манифест убийствами его самых верных слуг, а возможно — и его самого, а наследник — уступит из боязни. Конечно, они погибнут, но должна же Россия иметь светлое будущее.

Обеими ладошками Ольга сжала его руку, и оба они застыли от невыносимой близости друг другу. А потом заговорили о Москве, и оказалось, что оба они обожают этот тихий провинциальный город своей юности и когда-нибудь съездят туда вместе.

Он объяснился ей спустя десять дней после знакомства, покорно и привычно сказав при этом, что если она его любви не разделяет, то он все равно уезжает скоро по делам. Но на этот раз — впервые, впервые! — не было у него тоскливого обреченного предвидения ответа, была, наоборот, — откуда? — спокойная уверенность, что его тоже очень любят. Ольга так и сказала ему. Она так и сказала, что жизни без него просто себе не представляет, и если его заберут, то, попытавшись освободить его, чего бы это ни стоило, она в случае неудачи сама явится в полицию, чтобы разделить его участь. И он знал, что она говорит правду, и был так счастлив, что одни улыбались, глядя на него, а другие отводили глаза.

До нашего времени дошел невредимым полицейско-обывательский миф о свободной любви этих людей, миф о разврате нигилистов. То, что возникла эта ложь именно в те г о д ы , — естественно, ибо кроме того, что любая связь без церковного обряда почиталась

греховной, еще и просто ушаты грязи выливала Россия на своих дочерей, потянувшихся к воле и самостоятельности. Однако, присмотревшись поближе, мы с удивлением обнаружим не только аскетизм, но и немислимое целомудрие молодых мужчин и женщин, порвавших в семидесятых годах с привычным течением событий. Не входила в их мировоззрение свободная любовь — наоборот, отвергалась любовь вообще, а то, что почти во всех случаях торжествовала в конце концов жизнь, было каждый раз победой естества над мировоззрением. Ибо чувство ответственности, достигшее у них высоты необычайной, было главным среди переживаний, и оно задавало тон любовью отдельной жизни. А неминуемая впереди каторга или гибель означали для любви безответственное оставление на произвол судьбы беззащитного крохотного человечка. Но любовь побеждала, как всегда побеждает жизнь, находя объяснения, лазейки и тропинки самообмана. Вечная боязнь друг за друга, желание постоянно видеться и знать, что происходит с другим, порождали стремление хотя бы вместе поселиться. И легальные — заключали так называемые фиктивные браки, а нелегальные — заводили фальшивые паспорта мужа и жены. И потом только, иногда много месяцев спустя, брак из фикции становился фактом — торжествовала жизнь над придуманной и принятой этими чистейшими людьми схимой.

Сосланный в Сибирь за распространение книг и пропаганду поэт Синегуб подробно рассказал в своих воспоминаниях историю такой любви. Он вызвался поехать в глухое село под Вяткой, чтобы вызвать путем фиктивной женитьбы юную девушку, мечтавшую о свободе и учительстве. И поехал, и превосходно сыграл свою роль, и вынес мучительную для него свадьбу и неудобства, связанные с трудной двусмыс-

ленностью дальнейших нескольких дней, и увез спасенную для новой жизни Ларису. Только одно омрачало его гордость своим поступком: он полюбил ее, а вынужден был молчать. Вслушайтесь в эту логику, вот его собственные слова: «Никогда бы у меня не повернулся язык заявить Ларе, что я в нее влюблен до безумия: это было бы преступлением, посягательством с моей стороны на ее свободу, так как я был ее законный муж». И она любила его, не смея признаться.

И здесь все кончилось как обычно, и однажды они бросились в объятия друг другу, не в силах больше выносить искусственную муку разделения. А потом, отдав ребенка подруге, она уехала к нему в Сибирь.

Бывало по-всякому, чаще бывало очень трагично, это поколение тщательно и продуманно обустроивало свою обреченность.

Морозов и Любатович решили поселиться вместе, но ее и Кравчинского уговорили на время уехать: очень уж опасно стало вдруг в Петербурге, и один за другим, как ячейки надвигающейся сети, ложились на город ночные обыски. Для Кравчинского это оказалось отъездом навсегда, а Любатович очень скоро вернулась, и тупая пустота, не проходившая у Морозова с вечера проводов, исчезла вдруг, и жить стало невыразимо легче. Они поселились вместе, и повсюду ходили вместе, и держали друг друга за руку, а к вечеру начинали дичиться друг друга, оживленно говорить о пустяках, и расходились, болезненно напрягаясь. Ольга плакала почти каждый вечер, но Морозов этого не знал, потому что она всегда успевала добежать до своей комнаты.

А потом — это было очень поздней осенью спустя, наверное, год после признания в любви — моросил то

круг, и они бросились друг к другу так внезапно и неожиданно для себя, что ничего не успели сообразить, а когда опомнились, пришли в сознание, было уже поздно, и было чувство такого ликующего счастья, что почти не осталось места для угрызений совести.

Но до той поры случилось еще много-много всякого и чрезвычайно разного.

* *

*

До сих пор водилось обычно так: выходили отдельные подпольные листки — будто голуби вылетали из тайного мира несогласных, чтобы оповестить, что он существует, и опять все замирало — типографию накрывала полиция. Злой рок какой-то висел над любыми печатными затеями, и появились даже высокие умы из мирка «надпольного», целую теорию развившие из этих провалов — о полной невозможности вольной печати на отечественной земле. Издание Герцена было затеей блистательной, удавшейся, достойной восхваления и подражания, но что-то неуловимо с той поры переменилось в воздухе, и стало ясно всем с несомненностью, что время борьбы из-за границы безвозвратно и безнадежно ушло. Только дома, в родных смертоубийственных условиях имела смысл свободная печать. Не то чтобы умом — всем естеством ощущая это, один за другим пытались разные люди наладить тайное печатание — и проваливались, обнаруживались, попадались по выпуске первых же брошюр или листков.

И все были недовольны этим, решительно все. Власть негодовала на самую непрерывность попыток, на самую неистощимость этого родника возмущения и несогласия. Закупоренный, зажатый, исчерпанный, — возникал он снова и снова. Особое совещание министров раздраженно констатировало: «Такое поло-

жение дел не может признаваться терпимым долее, оно не соответствует достоинству государства».

И впрямь — не соответствовало. Только что было поделаться с возникавшими вновь и вновь молодыми людьми, — откуда только берутся такие? — которым не жаль было положить свою жизнь за один только громкий вскрик о том, что они думают и чего хотят. И выходил-то этот вскрик души таким тихим из-за ничтожной малости тиража, — что может маленькая типография? — и такая значительная часть этого крохотного тиража сжигалась, а то и в участок относилась благонамеренным адресатом и читателем, и так обреченно, так одиноко звучал потому вскрик этот, что бессмысленным казался, наивным и глупо-романтическим. Только поди же ты, — утешал кого-то, радовал, просто осчастливливал порой, а с другой стороны — безумно будоражил пресекательные инстанции, а значит, имел и смысл — полный, и цель — достигнуто.

Но наладить дело регулярное не удавалось покуда никому. И поэтому, когда эмигрантская газета «Община» (Клеменц, на язык быстрый, обзывал ее за народность «Овчиной» обычно, хотя сам же ее редактировал) объявила, что переносит издание свое в Россию, чтоб выходить на месте событий и в гуще жизни, все стали ждать очередного провала. Лег своевременно экземпляр газеты с этим объявлением на стол шефа жандармов (роль таковую временно исполнял тогда, по убийству Мезенцева, Селиверстов и был ретив, ибо служил на совесть), и сыск немедля принялся за дело, чтобы захлопнуться капканом неминуемым на очередной тайной квартире.

Только так и осталась эта пасть — отверстой. И с каждым месяцем — все более конфузливо отверстой. Более года изумляло Россию дерзкое и беспре-

пятственное, неуловимое и недостижимое предприятие — Вольная Петербургская типография. Так и значился этот ярлычок на всех ее изданиях — и газетных, и книжных, приводя в бессильную, клокочущую ярость ревнителей недремлющего ока.

Интереснейшая переписка завязалась со временем у шефа жандармов с самодержцем российским. Шеф писал старательные служебные доклады, а царь сбоку имел обыкновение начертывать свой комментарий, образуя занимательный письменный диалог. Растянутый во времени, сопровождал все события года этот никому до поры неведомый дуэт.

Шеф — бодро и упруго: «Все, что возможно предпринять для отыскания типографии, будет предпринято».

Царь — не без укора: «Досадно, что до сих пор не могли ее открыть».

Шеф — о сотрудниках: «...не щадят себя, работают все, до самых мелких чиновников, сверх сил, и все, что, по крайнему разумению возможно сделать для достижения полезных целей, то делается с полнейшим рвением». (Тут он, положим, врал безбожно, ибо кроме тех сотрудников, что обычно ленились и первейшим долгом почитали отлынивать — дескать, не больше прочих нам надо и наплевать на начальственные печали за такую нищенскую плату, — кроме этих были и такие, что даже со злорадством тайным наблюдали, как мечется и от бессилия тоскует начальство. С холодным отстраненным любопытством наблюдали, ибо человеческое сочувствие в них от природы отсутствовало или служебным воспитанием ампутировалось, а профессиональное рвение и вовсе не возникло по занудливости казенной службы.)

Царь — недоверчиво и сухо: «Желал бы видеть успех».

Шеф — удрученно и преданно: «Дерзаю доложить, что ничтожность доселе достигнутых результатов розысков сокрушает меня и моих сотрудников, ибо, Ваше Величество, тяжко перед лицом Вашей Священной Особы и всей России оказываться столь мало полезным для службы отечеству».

И подытожил обнадеживающе: «Общее положение дел, относящихся до распространения пропаганды в России, отменно серьезно, *но не безвыходно*».

Царь — меланхолически: «Грустно было бы думать противное».

Сорок лет спустя увидела свет своеобразная эта переписка. А люди, вызвавшие ее (да еще огромную служебную по всем инстанциям, частям и подразделениям), были с утра до ночи в тот год заняты восхитительно своим, неразделимо кровным, полным смысла и счастья делом. Они устраивали вольную печать так надежно и скрытно, чтобы не разделила их новая типография участи предыдущих, чтобы спокойно и беспрепятственно колебала день за днем устои российской жизни. Самым фактом своей работы и своей неуязвимости колебала, ибо ничто сильнее и глубже не точит устои, чем слабый и негромкий, но непрестанный и неостановимый голос обличения, насмешки и несогласия.

Поставил типографию вчерашний ученик раввинского училища в Вильне, деловой и быстрый, энергичный, как взведенная пружина, Арон Зунделевич. Ниже среднего роста, широкий, плотный, чернородый, с большими темными глазами, даже в улыбке строгими и будто трагичными чуть, хладнокровный до того, что удивлялись контрабандисты западной границы — преданные его сотрудники. Он казался им таким же, как они, только вершителем куда более крупных дел, чем их рублевая галантерея, и один из

них, будучи в Петербурге, спросил однажды с нескрываемым уважением: «А что, он сам-то, наверно, огромные деньги зарабатывает, да? Скажите правду». Если бы они знали, что Зунд, только что потративший на типографию несколько тысяч, на своих расходах, даже в еде, экономит каждую копейку общего фонда! Они бы, наверно, стали меньше уважать его. Он закупил станок в Берлине, контрабандой доставил его через границу, отправил в Петербург товарной скоростью и, выслав по почте накладную, приехал налаживать дело дальше уже с великим мастером конспирации Александром Михайловым. Вскоре появились первые листки.

Филеры сбивались с ног, теперь взаправду стараясь во всю м о ч ь, — огромную премию посулило разозленное начальство. А Вольная Петербургская типография помещалась в двух шагах от Невского, пройти только Николаевскую улицу, войти в узкую ее часть, второй дом направо во дворе, второй этаж.

Одну из комнат в квартире этой снимал солидный, хотя и молодой чиновник какого-то министерства. Он был нетороплив, медлительно цедил слова, глаза его сквозь стеклышки пенсне, сидевшего на золотой пружинке, смотрели спокойно и вообще без особого интереса. Это был Коля Бух, молчаливый, как хорошо воспитанный индеец (сравнение придумал один из редакторов газеты, и точнее о Коле ничего не удалось бы сказать). Он был уже вполне мастером, просто знатоком типографского дела, несмотря на недолгий опыт. А снимала всю эту квартиру, одну из комнат лишь сдавая чиновнику, средних лет вдова, которая была опытной наборщицей, прошедшей за границей специальную выучку по набору, а в России — школу подполья со времени еще кружка, из которого вышел стрелявший в царя первым двенад-

цать лет назад Каракозов. Жила в квартире и будто бы прислуга этой женщины — тоже по фальшивому паспорту, и еще один, документов не имевший вообще. Да, впрочем, и имя-то его знали не все, потому что удивительно подходящее прозвище имел: Птаха. Он с охотой и готовностью обрек себя на безвыходное существование в типографии, потому что все равно жизнь его, все интересы и помыслы заключались в том, чтобы издать газету в виде куда лучшем, чем всякие правительственные органы, вокруг которых пляшут десятки работающих за плату, а такой чистоты набора, как он один, безвестный Птаха, добиться могут не всегда. И еще этот слабогрудый и тонкоголосый двадцатилетний мальчишка понимал про себя одну очень важную подробность: давняя и неистребимая чахотка не даст ему зажитья на этом свете, особенно в промозглой столице. И потому хотелось оставить по себе какую-нибудь очень существенную память, а для будущего что существенней будет, чем подпольные листки, это будущее приближавшие и торопившие? Что же до тюрьмы неминуемой — об аресте, рано или поздно неизбежном, говорилось в их кругу спокойно, как о непеременимости профессиональной и скорой, — так ее, тюрьмы, наборщик Птаха, недоучившийся где-то на Украине школяр Сергей Лубкин, совершенно не боялся. Потому что в крепости решил не сидеть, для чего живым не даваться. И спустя два года свою волю неизменную и свою недолгую свободу защитил навсегда уверенным коротким выстрелом. Имя его мало кто знал, в воспоминаниях он так больше и остался Птахой.

Трехкомнатную квартиру эту среднего обывательского достатка украшали в гостиной непеременимые в углу образа над негасимой лампадой: Николы-

чудотворца и Тихвинской божьей матери, а также — на стене — огромный, в золоченой раме, портрет государя-императора. Самодержец российский Александр был внушительно изображен в полный рост и при многих регалиях. Портрет этот очень любили, к нему, как к живому свидетелю, обращались порой при спорах, а однажды, двадцать третьего ноября, в день святого Александра Невского, в тезоименитство государя, под ним выпивали торжественно три Александра: Михайлов, Баранников и Квятковский. Четвертый Александр отсутствовал по уважительным обстоятельствам, но его портрету тоже налили стакан портера и вплотную к величавой ноге приставили. Это, правда, год спустя было, на другой уже совсем квартире, а той первой типографии адрес редакторы даже не все знали, так засекречена была ее работа.

За гостиной с аккуратной мебелью, скучновато чистой, без единой пылинки, шла комната хозяйки (комната прислуги была возле кухни), а за ней — сдаваемая чиновнику — типичная холостяцкая комната, и кабинет и спальня одновременно, со шкафом, кроватью неширокой и несемейственной, небольшой кушеткой и уютной конторкой: записку черкнуть, подвести расходы и доходы. И хотя задняя комната сдавалась чужому человеку, однако и сюда однажды пригласила испуганная вдова пышнобородого дворника: крысу она вдруг увидела, невесть откуда забежавшую, и, понятное дело, испугалась. Крысу дворник не нашел, убежала, должно быть, крыса, однако на вопрос чей-нибудь случайный любопытствующий мог теперь ответить: комната как комната, холостяцкое гнездо скучного человека. Истопник дрова приносил, соседская прислуга забегала, продавцы-разносчики случались — те, правда, не бывали

дальше передней, но зато раз в месяц, присылаемые владельцем дома, попадали в эту комнату полотеры. И они могли подтвердить: десятки таких же точно комнат видели, все настолько обычное, что уж и глядеть-то тошно.

Но когда посторонних не было — комната преображалась. На мягкую кушетку, из нее же возникнув и глубоко пружины осадив, ложилась трехпудовая чугунная доска с двумя по бокам рельсиками. На доску ставились рамы-переплеты, усеянные буквами набранного шрифта, как пчелиные соты медом. Шрифт брался из конторки, превращавшейся в наборную типографскую кассу. Набор смазывался краской, на него накладывался очередной лист бумаги, а поверху, сильно прижимая лист к укрепленному шрифту, катился по рельсикам тяжелый вал, обернутый сукном. Вот и весь механизм, проклинаемый жандармами, окруженный легендами о неуязвимости ввиду тайного чьего-то высокого покровительства. До трех сотен экземпляров многостраничной газеты в день выпускала такая типография, и печать была — залюбуешься. Недаром многие месяцы шла тайная слежка за десятком казенных типографий: наиболее правдоподобной казалась властям идея, что подпольное печатание производится в них — ночью или среди бела д н я , — очень уж профессионален был безупречный оттиск.

А из квартиры на Николаевской каждый день с утра уходил в свое несуществующее присутствие медлительный и солидный квартирант — чиновник с толстым портфелем, туго набитым деловыми бумагами, да прислуга бегала весь день то в лавочку за продуктами, то еще куда-нибудь недалеко по своим нехитрым делам, а то и квартиросъемщица уезжала в город за покупками и в гости, больше никого почти не видели дворник и соседи. Разве только приходил

изредка неимоверно худой в очках молодой человек то днем, то вечером, так что с определенностью и не сказать было, к кому именно он ходил, но, судя по немудреной бороде своей и портфелю, — тоже из чиновников был, а значит, посещал квартиранта. Это был единственный из постоянно допускавшихся сюда редакторов новой подпольной газеты «Земля и воля», непременный секретарь редакции, собиратель, организатор и держатель всех статей, всех материалов, что попадали на просмотр и обсуждение, недоучившийся гимназист, несостоявшийся ученый, нелегал Николай Морозов.

У него, правда, кроме внутривредакционных еще одно было дело, на которое только он да Клеменц годились — за образованность, за обаяние и легкость в общении, за обилие знакомых, за связи со множеством интеллигентов самых разных занятий и профессий, — на языке подпольного их мирка это именовалось работой среди либералов. Через них и поступали нередко в газету сведения, немало порой изумлявшие читающую публику. А уж о радости, которую доставляли эти сведения, посрамлявшие неусыпно охраняемый порядок и его ревнителей, говорить не приходится. Будто время от времени срывалась чьей-то бестрепетной рукой маска прекрасной дамы, надетая на мерзкую ведьму, и сам факт, что эта маска срывалась вопреки охране и каре, делал ведьму не то чтобы безопасней или добрее — даже наоборот, пожалуй, — но безотчетно радовал каждого, поднимал в собственных глазах, укреплял в надежде, утешал в унижении и бессилии.

Что же до студентов — более любимого чтения и предмета горячих обсуждений не было в читальнях и курилках. В Медико-хирургической академии стал не просто известен — знаменит студент Григорий

Исаев. Не только тем, что постоянно разносил, давал всем читать, добывал все изделия Вольной типографии — это умели и делали многие, — но Исаев прославился чутьем к полицейским обыскам. И, как рыбаки, с надеждой смотрящие на чаек — по берегу те ходят или улетают в море (ненастью быть или распогодится), — смотрели соседи по большой студенческой квартире, как ведет себя Гришка Исаев. Если он, будто торгующий купец, раскидывал всюду нелегалщину, — обыска не предвидится, можно быть совершенно уверенным. Но вот он прибегает до срока, собирает и уносит все, что держал открыто, да еще не забывает предупредить, обойдя все комнаты, соседей, — и точно, через день-другой в двери вежливо стучит под вечер офицер с двумя-тремя подручными. Даже споры заключались об этом — ставили на Гришкино чутье, как на беговую лошадь. И выигрывали, поверив.

Потом только, много позже выяснилось, что уже был связан студент Григорий Исаев с землевольцами, что не одно только чутье помогало ему безошибочно предвидеть сроки обысков. Еще оставит академию Исаев, станет изготовителем динамита для покушений, ему в Одессе при работе с запалом случайным взрывом оторвет три пальца на левой руке, и он, даже голоса не повысив, белый только как бумага, будет еще женщин успокаивать и, тряпкой-жгутом обхватив кисть крепко-накрепко, поедет в больницу врать о несчастном случае на охоте.

А потом будет схвачен однажды, будет вести себя на суде безупречно, исхудалый, будто спяемый изнутри, и на когда-то румяном, теперь желтом лице только глаза, огромные и серые, будут полыхать прежней неумной веселостью (чуть за двадцать, жизнь — преинтереснейшая штука), и, осужденный

пожизненно, мучительно и быстро умрет — как сгорит в сыром каземате.

А пока разносил студент Григорий Исаев газету «Земля и воля» (то журналом называли ее, то газетой), и с каждым новым читателем готов был заново обсудить все, что уже много-много раз прочитал, наслаждаясь и утоляя удушливую свою ненависть к каменно незабываемой несправедливости устройства всего окружающего. От того же, что читал, неизбежность эта явственно колыхалась и шла трещинами, и внутренние изъяны ее обнажались и высвечивались. Жить от этого становилось гораздо легче и просторнее. Читать же о тайных ухищрениях цензуры и властей было не только смешно, но и невыразимо приятно: боялись они, подлецы, собственной тени боялись, всего на свете боялись хозяева жизни, а пуще всего — вольного раскованного слова. Отчего-то пуще всего — его. А в «Земле и воле» спокойно описывалось как раз, что делает с ними эта боязнь. Стихи, например, в цензуре резали оттого, что уверены были: под словом «заря» разумеется исключительно революция, а «гады, бегущие от света» — неременный намек на власти предрежащие, если вообще не на особ августейшей фамилии.

Печатались тут и неразглашаемые циркуляры, разосланные со специальной пометкой о секретности по учебным заведениям страны: «удалять из оных всякого воспитанника, как только будет замечен в уклонении на путь неправильных мыслей и политических воззрений, не стесняясь успехами в учении и внешнем поведении».

Это еще что, это и Гриша, пожалуй, мог бы, поднатужась, раздобыть в родном городе, где знакомых достаточно было всяких, но вот с пометкой «совершенно секретно» — как эти бумаги добывались

подпольем? Сверхтайный, например, циркуляр с официальным разрешением «пользоваться содержанием телеграмм, адресованных заподозренным лицам или ими посылаемых». Дескать, пожалуйста, господа мундиры, сидите на почтамтах и читайте все, что найдете нужным, — нет больше тайн от вас у российского обывателя. Потому что заподозренным можно счесть любого, а значит — любого и проверить. Будто бы обыскать тайно все его письменные сношения со знакомыми и родственниками, в самую порой глубину души залезть, если он вдруг неосторожно эту душу в письме раскрыл или хотя бы легонечко обнажил.

А напечатанный, опубликованный, проявленный этот циркуляр силу свою в значительной мере терял. Потому что предупреждался неосторожный обыватель, что дремлющее око отныне и в переписку его заглядывает совершенно официально и абсолютно дозволенно. Вскрытая, нейтрализовалась еще одна подловатая каверза начальства, пекущегося о благоденствии.

А то вдруг под рубрикой «Наши домашние дела» доводился до всеобщего сведения нехитрый сокровенный механизм того, как устраивали старательные полицейские будто бы стихийный голос российской общественности, неусыпно следя даже за ним. Печатался в «Земле и воле» секретный документ, разосланный сверху всем губернаторам, о том, что в связи с каждым крупным событием ожидается непременно присылка во дворец адресов и телеграмм от дворянского общества в поддержку и одобрение деяний власти. Дальше шел циничнейший, только для своих, текст: «При этом легко может случиться, что в этих адресах или телеграммах будут помещены, умышленно или неумышленно, такие мысли или же отдельные выражения, которые в данный момент не соответству-

ют политическому положению дел». Во избежание сего рекомендовалось предварительно представлять этот «голос общественности» в министерство внутренних дел и только после одобрения и согласования отправлять снова по назначению.

И чего стоили после такой публикации томские, иркутские, харьковские и прочие горячие одобрения и порицающая хула!

В первом же номере «Земли и воли» были самонадеянно и вызывающе обозначены условия подписки, а также поясняющее объявление: «Подписка на журнал, корреспонденции и статьи принимаются у лиц, публике известных». Напомнив далее, что издание предпринято в стране, где свободное слово считается чуть ли не самым страшным преступлением, редакция в длинном обращении к читателю помещала честное предупреждение, выделяя курсивом самые ужасные слова:

«Не только мы, писатели и издатели нашего журнала, но даже и ты, читатель, взявший в руки наш листок... уже преступник: ты *попуститель* или *укрыватель*.

Если же ты, в порыве негодования, снесешь листок к приятелю, чтобы показать ему, какую мерзость пишут нигилисты, — ты уже *распространитель* и горе тебе, если суд не признает смягчающих обстоятельств!»

И все-таки... Дальше — торжественно и с надеждой:

«Может быть, найдутся люди, которые последуют нашему примеру и, не дожидаясь тех блаженных времен, когда мы будем иметь действительную свободу печати, примутся распространять свои мысли посредством тайных станков.

Такова уж, верно, судьба русского общества, что

все свободные идеи должны проникать в него подпольным путем.

С полным доверием и надеждою на сочувствие всех друзей свободного слова выпускаем мы в свет первый номер нашего журнала.

Иди, наше детище, к друзьям и врагам, ищи друзей себе, ищи друзей свободному слову!

Не смущайся ни своим скромным бедным костюмом, ни неласковым приемом, который ты встретишь во многих местах.

Знай, что многие из тех, которые встретят тебя с хмурыми, недовольными лицами, даже грубо вытолкнут тебя за дверь, втихомолку порадуются твоему рождению на свет».

Это была правда: «Земля и воля» попадала в самые разные слои общества, к людям несопоставимо разным по убеждениям, образованию, уму, достатку, интересам — и каждый находил в ней что-нибудь для себя. Потому что в первом же номере писали отважные нелегалы о самом существенном и явном, самом примечательном и характерном для России тех лет: о всеобщем, удивительно и равно всеобщем, недовольстве снизу доверху. Кто был запретами и рогатками недоволен, а кто — вольностями и распушенностью. Нехваткой еды и земли, поборами и налогами, доходами и расходами, самоуправством одних и безнаказанностью других, школами и учителями, судами и судьями, порядками и беспорядками. Недовольна была публика, раскупающая черные газеты, недовольны издатели, у которых публика раскупала эти черные газеты. Недовольны были, как точно писалось в «Земле и воле», даже самые-самые верхние начальники — «поводильщики нашего главного барина», — разделяли и они общий недуг, ибо сознавали все же, что и они, хозяева ж и з н и , — не более чем «лакеи, команду-

ющие барином». И сноски на странице следовала издевательская и жутко правдоподобная — будто бы один из них сказал даже, отчаясь и вполне искренне: «Помилуйте, разве можно что-нибудь сделать при нашем дурацком правительстве!»

Перемен, перемен, перемен хотели все, все, все. И однако:

«Стоять разиня рот и хлопать глазами — положение до такой степени и привычное для нас и приятное, что мы изобрели целые десятки разных глубокомысленных и даже изящных формул для обозначения такого состояния. То мы называем его «выжиданием событий», то... «путем мирного развития», то «логикою вещей», — словом, и не переберешь всех таких хороших слов.

Плоды этих хороших слов уже приходится вкушать нам теперь, и хотя мы уверяем всех, что они очень сладки, однако, разжевав хорошенько какой-нибудь из таких послереформенных фруктов или овощей, непременно ощущаешь в нем зубами то кусочек ременного кнута, то обломок шпицрутена или розги, то заклепку от кандалов».

Кто же виноват во всем этом? — спрашивали безымянные авторы «Земли и воли». Что же происходит? В чем дело? И писали безжалостно и наотмашь:

«Глядя на то, как нагло издевается над русским человеком шайка грабителей и правителей, можно, пожалуй, подумать: вот смелые негодяи! Вот уж записные герои бесстыдства! И бога не боятся, и людей не стыдятся. Хоть они разбойники, а должно быть люди железного характера и воли.

Ничуть не бывало! Ты сам, конечно, знаешь, читатель, что мозгливее, трусливее, бесхарактернее нашего правительства трудно подыскать. Отчего же оно

так смело и решительно душил тебя? Душит и при этом нагло попирает как писанные законы, так и неписанные естественные права гражданина и человека?»

А главное, в сущности, поступает оно настолько естественно, что отчасти даже справедливо, объясняли читателям эти нелегалы, поставившие себя за ту черту, с которой не только видно отчетливо, но и право объяснять обретается. Потому что не может власть уважать личность, которая в свою очередь преспокойно и равнодушно относится к тому, как секут простой народ за недоимки и оскорбляют таких же, как она. И от этой как раз пассивности, дряблости, брюзгливой недеятельности не то что проистекает всякое насилие и деспотизм, но сильнее наливается энергией от безнаказанности и попустительства, укореняется еще более глубоко.

Такие речи обвинительные, такие беспощадно обнажающие филиппики не доводилось еще, пожалуй, читать русскому читателю. И поэтому не только жарко обсуждались статьи «Земли и воли», но и осуждались зачастую — самыми заядлыми и завзятыми либералами, не любившими и не терпевшими, чтобы правда говорилась и о них, чтобы ответственность за бесчинства бюрократии и самодержавия, так удобно лежавшая на других, теперь отчасти и на них взваливалась твердой рукой.

Много и другого всякого печатала «Земля и воля», чего не позволял себе в России никто. Регулярную, например, хронику арестов и преследований, полное описание стыдливо замолченного или лживо поданного в казенной прессе судебного процесса со всеми деталями того, что происходило вокруг. Сведения о смертях в тюрьме или ледяной ссылке безвестных мучеников освободительного движения. Стихи, которым

не нашлось места в легальной печати. Сведения о начавшихся тогда уже стачках и волнениях на фабриках, сообщения об избиениях студентов. Преспокойные, в прессе невиданные и немыслимые расчеты, на кого и как ложатся налоги и поборы. Подробные сообщения о ночных обысках, дознаниях и допросах.

А еще мелочи всякие печатались, но для читающей публики, особенно для молодых, этим мелочам цены не было. Потому что выплывала вдруг наружу такая мерзость, такое хамство забывших стыд и в своей неуязвимости уверенных хозяев жизни, что читать было невыразимо приятно: самый факт обнародования, извещения о мелкой мерзости был как бы публичной поркой, и невозможно было заткнуть рот этой публично наказующей невидимой и неуязвимой руке. И название у раздела этого было уместное донельзя: «На свежую воду». И читая, негодуя и злорадствуя, что не безнаказанна отныне в России любая подлость, нечестность, воровство, взяточничество, разбой, словно невидимые доселе за казенной стеною, с благодарностью обсуждали читавшие, как добываются сведения эти. Кто бесстрашный ходит по самой кромке и добычу услышанную приносит в нелегальную печать, чтобы явочным порядком звучал в России хоть один чистый и ни на что не озирающийся голос?

* *
*

Журналист В. Тумашевский, преуспевающий очеркист, публицист и обозреватель, сотрудник газеты «Русский мир» и нескольких еще газет, дерзкий вольнодумец в кругу приятелей, разумно умеренный либерал среди старших и «достигших», рупор общественного мнения и флюгер начальствующего, человек лет около сорока, лысый и полный, со вкусом посмотрел на свой продолговатый бокал и произнес:

— Не знаю, как вы, господа, а я лично был счастлив, что ушел этот год. Мне он принес к концу одни неприятности.

Они сидели у присяжного поверенного Корша. Высокий, худой, очень нервный, быстрый и резкий в ответах и суждениях, с нервически подвижным лицом, Корш был добрым, отзывчивым и преданным человеком. Это так не вязалось с деловым и чуть сутяжным рисунком его внешнего поведения, что надо было вдоволь пообщаться с ним, чтобы полюбить. Может быть, внутренняя страстность, азарт так проявлялись у него? Морозов часто думал об этом. Он жил у Корша, который гостеприимно и дружески пригласил его и уступил даже свой кабинет (кроме трех часов в день, когда принимал клиентов), назвав его швейцару дома, где жил, своим помощником, что в целях безопасности было крайне удобно. А о том, что он сам рисковал по меньшей мере ссылкой, если Морозова схватят, Корш не заикнулся ни разу, будто не было такой перспективы. Более того, легко и с веселой беспечностью воскликнул: «О чем вы говорите!» — когда Морозов спросил разрешения заниматься в его же кабинете делами «Земли и воли» и стал приносить с собой портфель, в котором бумаг сполна хватило бы на пожизненную Якутию для всей семьи. Так же легко и готовно согласился Корш еще на одну крупную услугу: положил в банк на свое имя все деньги «Земли и воли». Их некому было держать, все почти жили по нелегальным паспортам, и потому помощник присяжного поверенного Корша, некий Николай Иванович Полозов, то бишь Морозов, по доверенности Корша распорядился в банке его текущим вкладом, которым владелец Корш никогда не интересовался.

158 Он потом попал под суд и поехал в ссылку все же, скрытно азартный нервный юрист Корш, хотя земле-

вольцы были здесь ни при чем: по обвинению в «легкомысленной растрате» судили его года два спустя. Но еще много-много лет как самое светлое воспоминание своей жизни хранил он ощущение честности и полноты существования той поры, когда помогал подполью.

А сейчас — гостеприимный хозяин полудружеской вечеринки (часть гостей почти совсем не знала друг друга) — Корш тоже поднял свой бокал и ответил Тумашевскому, поддерживая беседу:

— Почему неприятности? Вы же много и успешно печатались? Я за вами слежу с неизменным удовольствием.

— К сожалению, не один в ы, — подхватил Тумашевский, радуясь возможности рассказать историю, казавшуюся ему смешной. Кроме того, тут сидел редактор и издатель журнала «Знание» Гольдсмит, и его жена, красавица блондинка с темно-синими глазами, время от времени отрывая от мужа влюбленный взгляд, не сразу успевала менять выражение глаз, переводя их на других гостей, и Тумашевский, женщин отнюдь не чуждавшийся, самонадеянно отнес к себе выражение лица красавицы Софьи Ивановны. Отчего-то он полагал, будто в истории этой предстает в выгодном и отчасти победительном свете, что объяснялось только странной профессиональной традицией об унижении своем рассказывать, как о ристалище.

В конце лета или осенью ушедшего года он напечатал статью, в которой сообщил между прочим, что правительство за недавнее время выслало в Сибирь административным порядком (то есть просто вызвали местные власти и выслали, а теперь жалуйся хоть батюшке-царю) до пятнадцати тысяч человек. На следующий же день он был со специальным нарочным доставлен в Третье отделение, где шеф жандармов,

ничего не спрашивая, любезно подвинул ему по своему столу листок с цифрами высланных. По количеству цифры были настолько мизерными, что Тумашевский понял: вранье.

— А что мне было делать? — говорил он сейчас, привычно нажимая там, где встречал уже за несколько таких рассказываний смех слушателей. — Цифры липовые, будто для ребенка приготовленные, а коленки у меня дрожат: возьмет да моей персоной их на единичку увеличит. Я ему говорю: цифры заведомо неверные, а он мне в ответ любезнейшим голосом как раз ожидаемое и молвит: вы, говорит, господин любезнейший, сами-то как холод переносите? Может, вообще любите? Я пытаюсь обратить дело в шутку, отвечаю пушкинскими словами: «здоровью моему полезен русский холод». Потом спохватился и добавляю: но, разумеется, в определенных пределах. Не до якутского размаха, дескать. Ну возьмите, говорит, тогда цифирки эти, они хорошие, правдошные. Вот змей! Тут мне идея в голову: не могу я, говорю, раб божий, заставить редакцию печатать опровержение. Смеется. Это, говорит, мое дело, тут я вам помогу. Выходит куда-то, а на столе письмо кому-то. По-французски. Я, конечно, его читаю, хоть и в перевернутом виде. Привык у редактора из-под руки замечания прочитывать, когда он статьи правит. Да. Пишет, представьте, какому-то приятелю, извиняется за лаконизм, оправдывается тем, что работает нынче по восемнадцать часов в сутки — ищет убийцу Мезенцева и проклинает тот час, когда поступил на службу. Просит ввиду русской бездарности в сыском деле прислать кого-нибудь из французов, а еще лучше — англичан, знающих русский или хотя бы польский язык. Ну, это так, между прочим. Возвращается и говорит: идите, господин Тумашевский, готовьте опроверженьице.

— А какие там цифры были? — спросила очень черная дама с усиками. Тумашевский ответил с готовностью, ибо в этом и содержалась соль истории:

— Там было, извольте сопоставить, написано, что за восемь последних лет выслано не просто вдесятеро меньше, но что и из этих почти все — кавказские горцы.

Засмеялись даже те, кто читал это не только в газете «Русский мир», но и в нелегальной «Земле и воле».

— И вдруг вся эта история, — говорил Тумашевский, — всплывает в нелегальной газете. Я уже просто сижу и жду сам нарочного. Приезжает. Везут. Шеф такой же спокойный. Вас, говорит, господин Тумашевский, за болтовню о нашем свидании высылаю я завтра в Олонецкую губернию. Собраться успеете? Нет, говорю, хотелось бы еще пожить немного в столице, надо долги вернуть. А что же, говорит, это резон, оставлю вас пока в столице; только одно условие: через месяц, много, через два вы мне сообщаете лично, через кого ваша вечерняя болтовня попала в противоположительственную печать.

— А вы что? — взволнованно спросила Софья Ивановна.

Тумашевский устало и мужественно посмотрел на нее взглядом борца за гражданский прогресс — это, он знал и проверил, для дам ее круга был самый надежный взгляд.

— Я сказал, что я доносителем не был и не буду, — спокойно и твердо ответил он, действительно напрочь забыв, как лебезил и унижался в ту минуту, настоящую мужскую память имея для таких случаев.

— А он что? — не отступала Софья Ивановна.

— Сказал: идите, но помните, что я о вашем поступке не забыл.

— Да откуда они все узнают? — изумилась Софья Ивановна.

— Я думаю, агентов имеют во всех слоях общества. Тайных осведомителей. Кто-нибудь и среди нас сидит, — проговорил помощник Корша, общий любимец Полозов. Его все любили за неизменную веселость, ласковое доброжелательство и мальчишеское, кипящее остроумие. И теперь все привычно засмеялись.

— А вы, говорят, покидаете нашу Северную Пальмиру? — Тумашевский чуть покровительственно спросил Гольдсмита, глядя не столько на него, сколько на Софью Ивановну.

— Уезжаю, — ответил Гольдсмит со вздохом. — Больше нету сил, руки опускаются. Может быть, в Москве повезет больше.

— Вы о цензуре? — спросил Корш. В редкие минуты, когда не поносили правительство, его гости ругали цензуру, и он привык уже к этим всегда печальным и оттого уже смешным жалобам.

— А о чем еще может говорить журналист в наше время? — поддакнул Тумашевский. — Думаешь одно, пишешь уже чуть другое, печатается вовсе третье. И выходит, что от красноречия до косноязычия один шаг — через цензуру.

Все засмеялись. Тумашевский внутренне напрягся: не забыть бы такую прекрасную шутку.

— Вряд ли в Москве цензура слабее, — сказал Корш. — Все-таки провинция она сегодня, наша древняя белокаменная, а в провинции всегда сильнее давят.

— Здесь, во всяком случае, больше не могу. — Гольдсмит нервно закурил и, затянувшись глубоко, горячо продолжал: — Посудите сами, господа, вот вам сквозная история моего мытарства.

Он положил папироску в пепельницу, Софья Ивановна тотчас старательно притушила ее.

— С семидесятого года издаю журнал «Знание». сами знаете, что пишем и печатаем только о науке — не к чему, казалось бы, придирааться, не правда ли?

Ответа он, впрочем, не ожидал.

— А вот седые волосы — видите? — Тут Гольдсмит отклонил чуть влево свою пышноволосую черную голову, и Софья Ивановна тотчас, не удержавшись, чуть погладила его по затылку. — Вся седина исключительно от цензуры. А печень и сердце, жаль, показать не могу.

Слушатели засмеялись понимающе. Они знали это по собственному опыту. Разница могла быть в деталях, в конкретных фактах, всегда звучавших анекдотами, — их и ожидали все от рассказчика, и Гольдсмит не заставил себя ждать.

— Во-первых, непрерывно доказывай цензуре, что всюду, где описывается борьба науки с религией, имеется в виду не православие, а католичество.

Награжденный общим смехом, он воодушевился и уже не жаловался, а как бы развлекал, и оттого голос его заметно побордел.

— Или переводим Спенсера. Он в своей социологии заявляет, что все правительства — разбойники. Цензор на дыбы. Я его убеждаю, и притом успешно, заметьте, что да, Спенсер говорит, конечно, что все правительства — разбойники, по при этом — упаси бог! — не имеет в виду русское.

Он снова закурил папироску, уже наслаждаясь успехом своего рассказа.

— Тогда мне цензор говорит: что вы, собственно, господин Гольдсмит, помещаете статьи по социологии? Это ведь не наука, а вы обязались в утвержденной программе журнала писать только о науках.

И я — не мыслитель, обратите внимание, и совсем не универсал-академик, — сажусь и пишу для цензуры мемуар «О границах существующих наук»!

— Да это для Щедрина рассказ, — не удержался Корш.

Гольдсмит продолжал:

— Тут умирает начальник управления Лонгинов, всем вам известный и труднозабываемый.

— А в молодости, между прочим, вольнодумцем был, — вставил Корш.

Гольдсмит откликнулся:

— Да, а вы знаете, что он еще за границей тайно свои порнографические рассказы печатал?

— Ну и нравы у этой за границы, — засмеялся Полозов, неотрывно смотревший в рот каждому рассказчику, из-за чего они то и дело обращались непосредственно к нему, ища одобрения и сочувствия, которые немедленно получали и от всего его вида, и от выражения лица.

— Он умирает, а на его место назначают университетского профессора Григорьева, известного ориенталиста. Ну, думаю, повезло: цензор — ученый, профессор, придирается не будет. Что бы вы думали: у этого старика идея-фикс, что все русское зло проистекает от общения с заграницей. А у меня чуть ли не все материалы иностранные — какая у нас теперь наука! Он меня вызывает и говорит — шепеляво так, еле разбираешь: «Зря вы, батенька, так обильно печатаете статьи иностранных ученых, всегда идущих по ложному пути». Ну?

Полозов смеялся по-мальчишески громко, закидывая голову назад и чуть не роняя очки.

— Ну, думаю, все, больше я не в силах. А тут соблазн: продается издание газеты «Молва», прогневшей начисто и дотла.

— А что с ней случилось? Я все хотел узнать, и все недосуг было, — спросил Тумашевский, тяготясь слишком долгим своим Молчанием.

— Ее цензура давно хотела остановить за всякие либеральные происки, — охотно объяснил всезнающий Гольдсмит, — только не было очень уж вопиющего повода. Тогда им не утвердили нового редактора. Они — другого, и того не утверждают. Помытарили так человек с пять — представляете? — а потом прямо объяснили, что в назидание такой газете не утвердят в должности ее редактора даже самую пресвятую богоматерь. Так прямо и сказали. Что равносильно приглашению закрыться. А программа у нее очень широкая и удачная. Ну, мы решили с соредактором ее купить, слить со «Знанием» и выпускать одно только «Слово». Год провыпускали, больше не могу. Ни за что не догадаетесь, что они со мной сделали.

— Ну, ну? — жадно спросил Полозов, заранее умирая от смеха. Тумашевский высокомерно глянул на очкастого этого мальчишку и ожидающе — на Гольдсмита. Тот сказал удрученно-весело:

— Я им отказался представить фамилии моих авторов, которые пожелали укрыться под псевдонимом. Говорю: авторская тайна. Вдруг приходят в редакцию! — Из Третьего отделения! — поступил прямо туда донос, что все мои авторы — прошлые, частично настоящие и несомненно будущие каторжники. Ну? — И выждав паузу, добавил: — Нет, уезжаю в Москву. По дороге посмотрю, подумаю...

— Напишите «Путешествие из Петербурга в Москву» и сядете, — сказал Полозов. Тут даже Тумашевский усмехнулся поощрительно.

Все загворили разом и возбужденно, было в комнате человек десять, и никому пока не удавалось завладеть общим вниманием. Полозов встал и вышел в

коридор. Гольдсмит поднялся за ним почти сразу. «Господин Полозов, — негромко окликнул он его, — позвольте вас на минуту». Морозов обернулся и просяил приветливо: он уже давным-давно знал Гольдсмитов, еще перед первой поездкой за границу, а с полгода назад и жил у них месяца два, удерживая с трудом себя от искушения пролистать хоть наскоро множество научных книг в кабинете хозяина, чтобы не тянуло, как случалось приступами время от времени, снова заниматься наукой.

Они очень крепко пожали друг другу руки, а потом, подумав мгновение, обнялись и поцеловались.

— Вы были со мной так вежливо-холодны при встрече два часа назад, — проговорил Морозов, улыбаясь всем лицом, — что я решил, будто чем-то вас обидел последний раз.

— Что вы! Мы вас очень любим, — с жаром сказал Гольдсмит. — Наоборот: вы были так сдержанны, что я подумал — в ваших интересах не обнаруживать знакомства. Вы ведь теперь профессионал подполья, не так ли?

— Не будем об этом, — мягко сказал Морозов.

— Хорошо, господин Полозов, — сказал Гольдсмит, согласно кивая головой и всем видом изображая солидарность. — Только у меня к вам просьба существенная.

— Как я рад, — воскликнул Морозов, — хоть чем-нибудь отблагодарить вас за гостеприимство.

— Когда я в недавние годы почитывал герценовский «Колокол», — начал Гольдсмит вкрадчиво, — я все думал: откуда они берут столько фактических мелочей и тонкостей? Конечно, присылают им, это я образил, а также приезжие привозят. Ну, а те — откуда? Ответ простой, казалось бы: собирают по крупицам. А как? Прямо ходят и выспрашивают? Конечно-

но, нет. Опасно. Раз-два — и замечен. Значит, как? Просто! Ходят в гости, беседуют, сами рассказывают много и послушать не брезгают. Даже, наоборот, охочи послушать. Иные просто, а иные так приятно, так завлекательно тебя слушают, что просто хочется, хочется им что-нибудь интересное рассказать, поразить, порадовать, правда же?

— Это вы к чему? — спросил Морозов, хотя уже было ясно по его улыбке, что ему понятно, к чему.

— Я к тому, — у Гольдсмита появилось на лице просительное, чуть виноватое выражение, — что я сейчас сообразил, откуда в нелегальной «Земле и воле» столько прекрасных фактов, неведомо откуда просочившихся. В частности, про этого борзописца Тумашевского.

— Ну и что? — спросил Морозов холодно.

— Вот что, — заторопился Гольдсмит, — мои мытарства с цензурой излагать не надо. У меня слишком много неприятностей, чтобы еще раз привлекать к себе внимание.

— А если я скажу вам, что вы ошибаетесь и я тут ни при чем? — спросил Морозов с безразличной обаятельной улыбкой фланера, с Невского.

— То я вам не поверю, — сказал Гольдсмит. К ним подплывала красавица Софья Ивановна. Она не могла долго без мужа. В его отсутствие даже движения ее делались суетливыми и беспокойными, а завидев его, она мгновенно обретала опять неспешную величавость женщины, сознающей свои достоинства.

— Николай Александрович, — запела она приветливо, — вы ноль внимания на нас и совсем забыли, а моя дочь до сих пор говорит, что никто ее так не может прокатить на ноге, будто на коне, как вы.

— Соня, — мягко перебил Гольдсмит, обнимая ее за мгновенно подавшиеся плечи, — Соня, это перед

тобой Николай Иванович Полозов, и забудь все, что ты о нем знала. Поняла?

— Извините, — сконфузилась Софья Ивановна и замолчала.

— Что вы, что вы, Софья Ивановна, я счастлив вас видеть, и это пустяки, что вы оговорились, я виноват сам, что не успел предупредить вас. Но вы все два часа за столом вели себя, как подлинный конспиратор, и ни разу ко мне не обратились.

— Это потому, что вы держитесь как чужой, — сказала она обидчиво.

— Простите, — с чувством проговорил Морозов и поцеловал ей руку.

— Так мы договорились, ладно? — спросил у него Гольдсмит. — И пользуйтесь в Москве нашим домом, когда он появится. Пожалуйста. Мы будем очень рады.

— Только, чур, в обмен, — ответил Морозов. Деловой Гольдсмит сразу посерьезнел от его тона.

— На что? — удивился он.

— Час думаете, а через час рассказываете мне что-нибудь существенное из того, что может пригодиться. Ладно? Чудесный, по-моему, а главное, справедливый обмен.

— Ха-ха-ха, — облегченно залился Гольдсмит. — Вот это деловая хватка! Договорились. По рукам. Как только что-нибудь вспомню.

Софья Ивановна ласково улыбнулась Морозову, не понимая, о чем идет речь, но даря обворожительной улыбкой каждого, к кому муж питал расположение. Это она чувствовала безошибочно.

Но еще ранее условленного срока, когда часть гостей уже собиралась от Корша уходить, а часть садилась за карты, Гольдсмит подсел к Полозову.

есть секретный денежный фонд, предназначенный, как цветисто говорится в узаконении, на «известное Его Императорскому Величеству употребление». Так вот, в министерстве внутренних дел из этого фонда оплачивается театральная абонемент — постоянная ложа в итальянской опере для министра внутренних дел.

— Это вполне достоверно? — спросил Морозов, строго глядя из-под очков, отчего лицо его стало еще более мальчишеским.

— Абсолютно, — подтвердил Гольдсмит. — Годится?

— Вполне, — произнес Морозов. — Просто вполне. Даже очень. Спасибо большое.

— Рад служить подрыву основ, — печально произнес Гольдсмит.

— Но ведь это лучше, согласитесь, чем служить укреплению их, — серьезно возразил Морозов.

— Не знаю, — тоже серьезно ответил Гольдсмит. — Честно сказать, мне больше всего хотелось бы служить чистой науке. Не в качестве исследователя, нет. Я бы просто писал о ней и был бы счастлив. Чтобы не мешали только. Но служил бы науке. Вам это, впрочем, непонятно, наверно.

— Да, мне это трудно понять, — готовно согласился Морозов и громко рассмеялся чему-то, дергая себя за мягкую негустую бородку. Она появилась так недавно, что очень приятно было снова и снова ощущать ее взрослящее шелковистое присутствие.

* *
*

В квартире Зотова, секретаря газеты «Голос», хозяевами были книги. Это сразу бросалось в глаза. Книжные полки удобной и добротной выделки начи-

нались прямо в прихожей, покрывали все ее стены, проникали в гостиную, нехотя уступали место будто случайным здесь трем большим картинам в золоченых рамах и снова продолжались, уходя по коридору в глубь квартиры. Такие же полки всюду стояли в кабинете хозяина, здесь уже царствуя безраздельно, вплотную обступая письменный стол, нависая над ним, забираясь под лепной потолок, ломаясь от туги поставленных на них книг то в старинных кожаных и тисненых, то в новехоньких легких переплетах. Зотов был еще историком литературы, автором нескольких книг и великого множества статей. Было ему сейчас под шестьдесят, но сидевшему у его стола Морозову он казался глубоким стариком.

С недавних пор возникла проблема трудная и неизъяснимо приятная: некуда стало девать разросшийся до двух больших портфелей архив организации. У всех знакомых, даже не бывших под подозрением или слежкой, мог в любой момент случиться обыск, а бумаги были важные, безусловно компрометирующие тех, у кого могли быть обнаружены, и вообще содержащие слишком много сведений. До последней поры где придется держал Морозов эти портфели — само собой естественно вышло, что к нему — секретарю редакции и редактору — начали стекаться не только материалы для газеты, но и десятки других документов. Их стали сдавать ему, ни о чем его не спрашивая. Да он, впрочем, и не отнекивался ничуть. Только у него да у Михайлова проявилось с первых дней острое чувство историчности всего, что они делали, и сохранить бумаги их не только для дела, но и для потомства оба они считали необходимостью и долгом.

170 Приятным в этом затруднении был быстрый рост архива — появилась программа, возник устав, было

много адресов и документов, образцы печатей самых разных правительственных учреждений, а вскоре появилась и главная, пожалуй, деловая ценность — толстые тетради со списками и приметами шпионов Третьего отделения. Хранение должно было быть надежным до мыслимого предела, но в то же время доступным в любое время.

Посвященный в затруднение адвокат Ольхин (написавший, кстати, стихотворение на смерть Мезенцева с посвящением Кравчинскому) попросил о приюте архива секретаря газеты «Голос», известного историка литературы Зотова, и тот с готовностью согласился.

Но пришедший по этому делу человек не нравился Зотову. Что-то неуловимое в тоне его и поведении показалось мнительному хозяину не соответствующим ситуации встречи. Будто не с просьбой обращался худой этот жидкобородый нигилист, а доверял нечто, поручал, чуточку снисходил будто — так обожженный порохом солдат требует воды и привала на часок у трусливого мирного обывателя. Это было обидно Зотову, столько на веку своем потерпевшему от цензуры и начальства, что почитал себя борцом и бойцом культуры, а главное — не имел права на этот тон безвестный сопляк, наверняка вышибленный только что из гимназии и возгордившийся курьерской, очевидно, причастностью к организации безвестных полугероев-полузлодеев, поднявших голос и карающую руку.

И, не найдясь толком, как поставить мальчишку на место, Зотов неожиданно для себя самого вдруг надменно и покровительственно сказал:

— Между прочим, молодой человек, на стуле этом, на котором вы располагаться siete минуту изволите, сжививали и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь.

К моему отцу они частенько в гости забегали. На чаек.

Было это ложью смешной, мальчишеской просто, потому что прекрасно понимал и знал Зотов, что не забегали эти люди так запросто к его отцу, очень второстепенному беллетристу.

И он совсем на себя разозлился — зачем, кому, чем хвастается? И замолчал насупленно. А гость поверил, заволновался страшно, аж привстал и, с уважением спинку стула потрогав, задал беспромахно тот вопрос, от которого полегчало старику Зотову, и острое раздражение — он знал за собой резкие эти переходы — сменилось умиротворенным благостным расположением.

— Господи, неужели вы этих людей знали лично? Это ведь счастье какое! Вам надо писать обязательно, такое не должно быть забыто.

Это он Зотову говорил, съевшему зубы свои на литературно-журнальном деле, нахал и щенок резвый, нашел кому советовать.

— А сборник потаенной русской поэзии — слышали, возможно? — который Герцен издал в Лондоне, — ответил ему на это Зотов (на, мол, на тебе, очнись, и посмотри, с кем ты сподобился разговаривать, мальчишка!), — он составлен почти целиком из стихов, которые доставил Александру Ивановичу я. Лично, разумеется. А Герцен в благодарность взялся быть моим чичероне по Лондону. Дня три он меня там водил.

Гость не сводил с Зотова восхищенно вытарашенных глаз, и это сполна извиняло его деловой первоначальный наскок. Очевидно привык, что ему всегда сразу о деле говорили и только в повелительном наклонении, и перенимает дурные манеры своих наставников.

— Теперь поговорим о вашей просьбе, — сказал Зотов, уже совсем успокоившись. — Вы хотите что-то сохранять у меня?

— Вот оно что, — протянул Морозов, будто теперь только сообразив что-то. — Так вы в деталях о нашей просьбе не осведомлены! Тогда простите мне, ради всех святых, Владимир Рафаилович, мой бесцеремонный наскок спервоначалу. Я-то был простодушно уверен, что Ольхин все-все изложил вам, и мое дело для первого визита — только оговорить с вами подробности и условности. А выясняется теперь, что нет, так я все начну заново, и, конечно, с просьбы начну, с поклона даже, если желаете, и с объяснения того, что мы делаем и что хотим, и почему прислан ради этого к вам именно я, ваш покорный слуга. Кстати, вот у вас над столом слева, извините мою машинальную наблюдательность, вам, как литератору, это должно быть понятно, стоит книжка стихов лондонского издания «Из-за решетки». Так там и мои есть. Простите бахвальством о е, — знакомства ради.

«Э, да он не прост вовсе, молод обманчиво», — подумал Зотов, быстро соображая, не сболтнул ли от неразъясненности и раздражения лишнего чего. Нет, кроме Пушкина, Лермонтова и Гоголя ничего не было, вроде. А это затушуем сейчас с легкостью, бодро подумал он. И сказал приветливо и ласково:

— Рад премного, что вы коллега мой. У нас ведь в доме, знаете ли, с давних лет безраздельный культ литературы. С отца повелось, он в свое время очень, очень известен был...

И зорко глянул Зотов из-под густых своих немолодых бровей на молодого нигилиста: не смеется ли, припомнив о Пушкине? Нет, почтительно вникает. Лишь бы не рассказал кому — по Петербургу смешки и насмешки разносятся ведь быстрее звука.

Зотов на всякий случай чуть по-другому теперь вывернул.

— Мне в год смерти Пушкина пятнадцать было лет, я учился в Лицее, там у нас, знаете ли, вместо бога его имя было, честное слово. Так что я очень гордился, что отец мой знаком был с ним и виделся. И приятель мой, как сейчас помню, немало мне завидовал в этом. Он завистлив был в юности, Петрашевский.

— Как, вы с Петрашевским учились? — вскричал гость изумленно, и Зотов окончательно хорошо стал относиться к нему, ибо понял уже, что главным образом волнуют гостя имена, причастные к его сегодняшнему горению, а остальные — так. Сопровождение. Так что не запомнит он невесть отчего сорвавшегося с языка привирание.

(Запомнил его Морозов. Отчетливо и вполне. Только по своей привычке неискоренимой верить людям и доверять им сразу и всецело он даже не подумал сомневаться, полагать это хвастовством или невинной гиперболой. Забегали посидеть великие люди — и ладно, и слава богу, значит — хороший, наверно, и достойный был человек.)

— Я с Петрашевским не только на одном курсе учился, — говорил Зотов неторопливо, — я по его делу даже привлекался. Отпустили, правда, сразу — я на его пятницах всего один раз был. А с Герценом, с тем много общался, и уже в годы зрелые. — Зотов понял теперь, кто интересуется посетителя, и готов был — опытный собеседник — утолить сполна его любопытство, чтобы потом не безответно задавать свои вопросы. У него они тоже были. Он привстал, дотянулся до книжечки стихов, названной Морозовым, легко листнул ее привычным пальцем — как раз принесли чай, и в разговоре естественная пауза, — пробежал глаза-

ми по строчкам. Столько видел он за свои годы всяких стихов, столько графоманов разубеждал писать или отваживал, столько способных людей благословлял (где они теперь? что-то не видать их поэзии — жизнь, что ли, съела?), что не надо было ему долго и сосредоточенно вчитываться. Он сказал: «Да, интересно», — и отложил книжку, помешивая чай ложечкой и со вниманием повернув к Морозову благожелательно улыбающееся лицо. Только, если бы Морозов, от волнения перестав чай прихлебывать, как это часто бывало с сидевшими на этом стуле молодыми людьми, спросил хозяина, что тот о его творениях думает, Зотов с той же благожелательной улыбкой сказал бы фразы огорчительные. Что поэзии тут и не было, даже не ночевала тут поэзия. Что стихи эти — от молодости, от излишка сил, от упоения жизнью (оттого, кстати, и печальные они такие — всегда так бывает. На веселые стихи только очень зрелые люди способны и жизнью здорово помотанные. Или, конечно, гении животворящие — как, например, Пушкин). Что просто натура у Морозова — одаренная весьма и весьма, богатая чрезвычайно и многообразно. Где и в чем его основной талант проявится мощно и ярко, сказать покуда нельзя (да по российскому климату и увясть может запросто, не расцветя, — самое бытовое явление), а стихи — это боковая ветвь, избытки и как бы лишний пар от чрезмерного давления душевных сил. Да и умственных, впрочем, тоже — очень от разума идут эти стихи, настолько же, насколько от души. Так что писать пишете, но не заблуждайтесь и не возноситесь, потому как потом горькое будете горе мыкать от разочарования и краха иллюзий. Ну и тематика покуда — тенденциозна и узковата несколько, что обедняет, безусловно, делает стихи однодневками. А так есть, есть что-то, вроде

как отблески и отзвуки таланта, то ли хранящегося под спудом пока и себя косвенно обнаруживающего, то ли от обманного мерцания — такое, батенька, тоже бывает в нашем непростом деле.

Только всего этого Зотов не сказал. Ни слова он вслух не сказал, потому что Морозов ничего о своих стихах уже давно никого не спрашивал. Потому что досконально и твердо был уверен: изумительно пишет стихи он и превосходно. А было б время, вдесятеро больше писал бы и вскорости непременно поразил бы читающий мир. Во всем остальном — абсолютно во всем — сдержан был до неприличия, до подозрения в кокетстве, а в стихах — как любой, впрочем, из его коллег по прекрасному занятию этому — был упоен, возомнен и самоуверен. А если при этом говорил какие-то условности, что сознает-де и понимает несовершенство отделки, — так это врал. И не оттого, кстати, конфузился, что создавал действительное несовершенство, а оттого, что создавал, что врет. Потому что чувствовал непреложно: прекрасные стихи всегда удавались ему, в случае если удавались вообще.

Но тут, у Зотова сидя, вдруг такие сведения и знакомства обнаружив, как можно было о стихах своих спрашивать, смешно было бы, да и неинтересно. Куда интереснее вот что было спросить у этого бывалого человека:

— Но за знакомство с Герценом у вас могли быть неприятности, Владимир Рафаилович? И как вы не боялись стихи передавать, тоже ведь могло вскрыться — на виду ведь вы и всем известны?

Поразительно все-таки приятный оказался молодой человек. О стихах своих не спросил тактично, хотя сгорает, конечно, от любопытства и надежды на похвалу, а спросил интереснейшее — то, о чем Зотов

может рассказать историю далеко, далеко не банальную. Вот она, пожалуйста, история эта.

— Тут меня, милейший мой, одно удивительное действо спасло. Редкого благородства поступок один. И узнал я о нем случайно. Я тогда театралом был завзятым, папенькина школа чувствовалась. И знакомый кассир чуть не еженедельно оставлял мне билет в одно и то же кресло партера. А соседом моим был чиновник Третьего отделения. Годы эти были либеральные донельзя, и чиновник от духа времени не отставал. Покойник ныне, царствие ему небесное. Познакомившись, мы много с ним в антрактах разговаривали. И однажды он мне говорит: хочу предупредить вас, достопочтенный, что у нас известно ваше посещение Герцена, так что я вас ни о чем не спрашиваю, можете не отрицать, я вам ничего не говорил притом, только приготовьтесь, могут вызвать и спросить. Приготовился я. Коленки дрожат немного: сборник тот, надо вам сказать, почти целиком состоял из моего привоза. А вызова нет и нет. Через месяц или более встречаемся в театре снова. Никто, говорю, не вызывал. Еще бы, смеется. Благодарите судьбу и редкое, уникальное благородство самодержца нашего. Список посетителей Герцена составил и прислал шефу жандармов русский посол в Англии. Шеф жандармов на очередной доклад принес этот список Александру, сославшись на источник. Было холодно, вечер, царь стоял, прислонясь к спинке кресла, у горящего камина. Выслушал доклад, взял список и со словами: «непристойно послу российскому заниматься такими делами» — бросил список этот в огонь, не разворачивая. Не копию, притом, заметьте, а сам список! Вот какая история, оцените благородство свершителя ее, а?

— История прекрасная! — с жаром подтвердил Морозов. И осторожно спросил: — А у вас к самодержцу приязнь только за этот поступок? А Польшу растоптанную и раздавленную вы ему тоже в заслугу ставите? — добавил Морозов, то в глаза собеседнику уставляясь, то изучая узор переплетов на ближайшей полке.

— А пусть сидят тихо и не пузырятся попусту, — сказал Зотов. — Лучше, чем под нами, им не будет, все равно ведь подомнет кто-нибудь. Вечно ее делают... Ну и потом престиж российский — дело государственное. Вообще, по-моему, все дела такого уровня можно с пониманием обсуждать, только находясь на этом же уровне и с него смотря.

Много, очень много сказал ему Зотов ответом этим. И о безразличии своем к таким вопросам, и о том, что нечего мальчишкам совать нос куда не следует, и о неприязни своей скрытой к инородцам. Морозов поэтому заспешил с полным выяснением дела:

— Как же вы, Герцену способствуя, взглядов его не разделяете? И голод, бесправие всякое, насилие российское — отказываетесь во внимание принять в любви вашей к престолу?

Зотова уже довольно давно так никто бесцеремонно не расспрашивал, будто потроша сокровенные глубины, куда он и сам давным-давно за текучкой повседневной не заглядывал. Однако раздражения не было в нем, наоборот — очень интересным показалось так изложить свои жизненные взгляды этому настойчивому любомудру, чтобы он главное понял: в свою веру Зотова никто не обратит, у него собственная прочна и выяснена. Он кашлянул чуть, горло прочищая, и вдруг очень молодо себя почувствовал — мысль возникла интересная, а заодно мальчишку поучить.

— У вас очень естественная для молодости черта, Николай Александрович, — начал он неторопливо и с удовольствием заметил, как блеснули чуть из-под очков глаза собеседника, — видеть, не раз попрекали его зеленой молодостью, и не любил он этого довода в споре. Ничего, голубчик, проглоти, тебе полезно это помнить с твоим неумным любопытством к потрошению. — Черта простибельная, однако знать ее надо, чтобы над ней подняться со временем. Вы раскрашиваете мир и людей в краски черные и белые — сообразно тому, что на палитре ваших горячих убеждений имеется. А мы все очень разных цветов, люди-то божьи, и многие просто не имеют, что ли, никакого отношения к занимающим вас жгучим вопросам. И слава богу, что не имеют: сгорели бы, испепелились, не могли бы призванию своему служить — искусству, например, науке, просвещению.

Морозов дернул головой беспокойно и возражающе, но Зотов сухой ладонью мягко остановил его. И продолжал так же неторопливо.

— И люди эти, замечьте-ка, милейший, ни в коей мере не бесполезнее человечеству, чем вы с вашей жадной все перевернуть, разворошить и заново обустроить. Вы на себя функцию господ-творца берете, не спрося ни у кого согласия. Это, впрочем, вопрос особый, вернусь, грешный аз, к людям, вами презрительно именуемым либералами.

Морозов засмеялся дружелюбно и с симпатией. Зотов тоже улыбнулся легонько.

— Глупое название, милейший. Несообразное, узкое. Потому как снова за одним этим словом, по-вашему, нечто серое изображающим, промежуточное между черным и белым, — богатейшая гамма скрыта. Я, например, по-вашему, либерал. То есть, иначе

говоря, сочувствующий, но тряпка, сам в дело не го- жусь. Не так ли? Не отвечайте! Сам знаю. Так вот неверно это: я не либерал. Мне на вашу революцию, бунт, восстание, как бы там их ни называли, — на- чхать. И даже того хуже. Я литературу люблю. Одну ее: Богатство духа человеческого люблю, в литерату- ре воплощаемое. Сам способен не весьма, книжный червь, но люблю, предан и ей служить буду. Герцену я стихи возил единственно, чтобы они свет увидели. Все, что написано, должно видеть свет. Этому я го- тов служить.

Снова Морозов, просяив весь, пытался сказать что-то, но Зотов остановил его снова, встал и подошел к дальнему в кабинете ряду полок, также вознося- щихся к потолку. Тут он поднял палец торжественно и со значением. Очень он разгорячен был и потому не палец поднимал, конечно, а вздымал перст указую- щий.

— Видите две полки эти верхние? Тут собрана лучшая в России, самая полная коллекция нелегаль- ных изданий — и ваших друзей, и раньше кто был, а прибавятся н о в ы е, — еще добавлю. Несколько сотен наименований! А?

Он торжествующе и хрипло рассмеялся. «Как ску- пой рыцарь над золотом», — с восхищением подумал Морозов. И спросил уважительно:

— А не боитесь? Один обыск — и нет ничего, а вам высылка.

— Пустое, — сказал Зотов равнодушно. — У меня разрешение есть собирать такие издания. Исхлопотал. Так что милости прошу доставлять мне по одному экземпляру всего, что у вас будет. Сохраню для исто- рии и потомства. Я, может, ваши портфели и держать- то согласился из-за корысти собирательской. А до революции вашей мне нет дела. Потому что получит-

ся у вас в лучшем случае — фаланстер, как у Петрашевского.

— Это вы о чем? — спросил Морозов.

— Петрашевский, он ведь владетельный барин был, — сказал Зотов со вкусом, усаживаясь опять в кресло возле стола и отхлебнув глоток холодного чая, — у него в Новгородской губернии крохотная деревушка была одна — домов семь, кажется. Да, выселки такие, что называется. Сырость, болото, дома погнили, а рядом лес барский. Староста к нему с просьбой: нельзя ли взять лесу, барин, крыши подлатать прохудившиеся. Тут Петрашевского идея и пронзила. Он и говорит старосте: голубчик, я вам для: всех семи семейств построю один общий фаланстер. И пошел расписывать старосте преимущества совместного житья по сочинениям своего любимого Фурье. Староста голову в землю — слушает. Знаете, наверно, эту мужицкую привычку слушать, голову наклоня? Что он при этом думает, неизвестно: то ли соглашается, то ли последними словами тебя кроет. А Петрашевский прямо идеей своей не нахвалится: начинайте, говорит, строить, лес мой, оплата плотников моя, к осени переселитесь. Начали возводить общественный дом — точно по Фурье. Энтузиаст Михаил Васильевич самолично туда стариков водил, объяснял, показывал: дескать, совместное проживание, общий труд, великое множество достоинств. Те тоже голову в землю, твердят: «Премного вам благодарны». Он им закупил утварь всякую, инструменты, новые хлебные амбары построил, конюшню. Все тут! Через день — переселение. А сам поехал к приятелю, где всегда останавливался. Приезжает назавтра — догадывае-тесь?

Морозов кивнул, заранее смеясь. Он уже давно догадался.

— До бревнышка сожгли! — воскликнул Зотов. — До балочки! Груды золы и головешки. Вот чем кончается Фурье, в новгородские леса насильственно пересаженный.

— Вы только отказываетесь главное понять, Владимир Рафаилович, — промолвил Морозов. — Самое, самое главное. Мы же ничего навязывать не хотим. Мы хотим, чтобы народу дали свою волю изъять и все. А нам — чтобы дали возможность его к этому изъятию воли подготовить. Чтобы просветить дали, образовать, объяснить что к чему и из чего происходит. Не более того. А бунт, восстание, смута — это вчерашний день, мы теперь не жаждем этого вовсе.

— Что же вы свои планы так быстро меняете? — подозрительно спросил Зотов. — За вами не уследишь.

— Взрослеем, Владимир Рафаилович, ищем пути и средства, — ответил Морозов.

— Ну, смотрите сами, мне это интересно так только, я все равно не верю. — И Зотов встал, приглашая Морозова за собой. В прихожей он показал ему рукой на две незастекленные полки возле самой вешалки. — Сюда можете положить свои портфели. Будут в совершенной сохранности. Паче чаяния, нагрянут синие гости, всегда скажу: оставил кто-то из авторов газеты, ко мне многие ходят. Но это исключено практически, я свою репутацию знаю. И действительности она соответствует, — он пронзительно посмотрел на Морозова, грозно произнося эти слова: мол, никаких семян ты в меня, брат, не посеял. — Приходить можете когда угодно, только все операции с бумагами — в моем кабинете. Хорошо?

— Воля в аша, — ответил Морозов. Зотов вдруг засмеялся негромко и затаенно. Морозов вопросительно глянул на него.

— Знаете, — сказал Зотов, — в добрые старые времена покойного Николая цензура слова «воля ваша» заменяла всегда на «как вам угодно». Вот идиоты усердствующие.

— Я вас правильно понял — чтобы даже слово «воля» не появлялось, да? — спросил Морозов.

— Ну да, намеков боялись, — Зотов все смеялся негромко. Морозов покачал головой изумленно.

— Это еще что, — продолжал Зотов. — Как-нибудь расскажу вам — плакать от смеха будете. Мы-то без смеха плакали. Но выжили, как видите, сохранили свету свои. Как же нам теперь сегодняшний день не ценить?

— Будет лучше, — уверенно произнес Морозов. — Значительно лучше. — И не замедляя несколько, честно добавил: — Хотя, признаться, не знаю, сколько поколений сложит ради этого свои головы.

— Так что мне уж позвольте дожить, как начал, — проговорил Зотов. — Мелкими моими радостями. Шекспиром, Дантом. И вашими, не премину добавив, листочками. Я собиратель, знаете ли, грешен. Так что уж не затруднитесь по выходе одаривать. Премного обяжете старика.

— В двух экземплярах, Владимир Рафаилович, — улыбнулся Морозов. — Будете довольны. И спасибо вам за хранение. Нужна для этого смелость, не приножайте свои достоинства.

— Э, — Зотов махнул рукой. — Быть бы живу.

Они расстались, очень довольные друг другом, а Зотов — еще и самим собой. Он давно уже не выговаривал так полно и точно свое отношение к миру и к жизни. «Забавный мальчишка, это его собственные способности так возбуждают собеседника, что он тоже начинает говорить», — подумал он. И радостно потер руки, представляя, как прибыльно обменяет

второй экземпляр нелегальщины у коллекционера и соперника профессора Брудного на старые книги.

Так образовался архив. Иногда Морозов забегал сюда ежедневно, иногда не бывал по неделе, но приходя, проделывал одно и то же: усаживался в кабинете хозяина и неторопливо пил приносимый немедленно чай — один пил, в отсутствие Зотова, или с ним вместе. Улучив минуту, выходил за портфелем — доставал, перекладывал, добавлял и снова клал все на место.

Оказалось настолько надежным это место, что архив сохранился до наших дней. О нем никто не знал, кроме Зотова, Морозова, Александра Михайлова и адвоката, которому сама идея пришла в голову. Но адвоката выслали вскоре, и следы жизни его затерялись в многолюдстве российском, а архив после смерти Зотова переходил из рук в руки и после революции стал даже отдельно изданной книгой. Морозов многое хранил там, и многое известно о нем и его друзьях благодаря наличию этого тщательно пополнявшегося им архива. Сначала архива «Земли и воли», а вскоре — архива партии народолюбцев.

* *

*

В юношеском возрасте неожиданно и ненадолго вдруг мучительно озаряет жизнь многих, если не каждого, страх неминуемой смерти. И кажется тогда бессмысленным продолжать суетиться, что-то делать, хотеть, стремиться, если все равно живая нить будет неминуемо оборвана однажды. Потом эти болезненные размышления и ощущения отступают куда-то, тускнеют, размываются, и хотя каждый продолжает осознавать реальность неизбежной смерти, но она становится естественной, нетревожащей деталью

мировоззрения. И не более того. Могучие жизненные силы рассасывают и обессиливают это острое чувство, низводя его до сухого и холодного умозрительного понимания, что все живое тленно и невечно. Спасительность такой беспечности благодатна и очевидна: останься, задержись эти тревога и страх, они непрерывно травили бы душу и подтачивали силы, обесценивая жизнь и стремления, лишая самой возможности полноценно ощущать существование со всеми его другими горестями и радостями.

И точно так же появлялось однажды и растворялось до отчужденного понимания ощущение неминуемости ареста у всех, кто был связан с движением. Остро вспыхнув, оно выцветало и отодвигалось (у кого этого не происходило, — устранялся в частную жизнь) и отныне уже служило предметом беспечных шуток, загадываний, некоей даже игры с судьбой. Вычислялись средние сроки, которые успевал прожить человек от начала пропаганды до ареста, и непременно радостно отмечали, если кто-нибудь намного перекрывал их или — наоборот — случайно срывался почти сразу.

Клеменца полиция искала четыре года. Она уже достаточно много, слишком много знала о нем. Найти его и схватить становилось уже делом не только службы, но и самого престижа.

Удалось это в конце февраля. Клеменц жил тогда по паспорту отставного артиллерийского капитана Штурма и хвастался друзьям, что если даже обратились бы в часть, где служил некогда капитан-благотель, то она давно расформирована, и архив ее сожжен за ненужностью по давности лет.

Но в самом начале семьдесят девятого года появился в Петербурге молодой парень из русских немцев, полуинтеллигентный слесарь Николка Рейн-

штейн, приехавший из Москвы с наилучшими рекомендательными письмами. Лихо пел Николка под гитару нелегальные песни, лично знал многих прекрасных людей, щедро таскал знакомым запрещенные книжки, много и хорошо говорил. Если спрашивали его, как жить — а спрашивали, и часто, — говорил уверенно о борьбе и пропаганде. Находкой был такой грамотный и сознательный рабочий — наперебой звали его к себе новые знакомые и расспрашивали жадно, много ли в Москве еще таких же, как он, самородков. Ухмыляясь, отвечал гитарист, что таких, как он, вовсе нету, и говорил истинную правду.

Уже немало времени минуло с той поры, как привлеченный к ответу за свои разговоры и песенки, с легкостью и удовольствием согласился Николка Рейнштейн подрядиться в платные агенты. Вроде и вину искупал, ускользая от неминуемой расправы, и всем прежним, как ни в чем не бывало, занимался. И настолько вошел во вкус новой двойной жизни, что увлекся и подрядился за тысячу рублей (сумма совсем не малая, но предложение стоило того) накрыть типографию «Земли и воли» со всем ее издательским персоналом.

И совсем немного повертевшись в столице, не без таланта и выдумки сети закидывая, вывел Николка Рейнштейн сыскных агентов полиции на симпатичнейшего невысокого человека с огромным лбом и живыми усмешливыми глазами. Случайно вывел, нена роком, но удачливость всегда сопутствовала ему.

К капитану Штурму пришли с обыском очень рано утром. Он был приветлив, безоблачно весел, предлагал чаю. Целый час ничего не могли найти, пока не удалось ценою легкой поломки открыть хитро, будто сундук, закрывающийся на защелку диван.

186 Капитан Штурм по-прежнему и глазом не повел,

когда оттуда вытащили газетные пачки, много всяких бумаг, несколько бланков паспортов.

— Что это? — удивленно спросил офицер, руководивший обыском, сам уже не ожидавший результата.

— Вал переменяли в шарманке, — безмятежно ответил Штурм. Чего же теперь было говорить, когда все нашли и ясно, что музыка сейчас пойдет другая.

В тот же день, усмешливо глянув на свою хранившуюся в Третьем отделении фотографию, он признал себя Дмитрием Клеменцом. Имя его было настолько известно, что о поимке доложили лично царю. Тот поощрительно написал на донесении: «Хорошо, что он, наконец, в наших руках. Авось через него узнаем мы других сообщников».

А позднее стала по пристальному разужнаванию понятна личность веселого гитариста Николки. И двое землевольцев вызвались ехать в Москву, чтобы предъявить собственный счет за ту заработанную им тысячу.

Еще через неделю всезнающие «Московские ведомости», а за ними «Голос» и другие газеты сообщили о том, что в Москве, по всей видимости, произошло политическое убийство. В гостинице Мамонтова у Москворецкого моста был найден в одном из оплаченных вперед и долго запертых номеров труп молодого мужчины с тремя ножевыми ранами ниже левой ключицы. На спине была пришпилена к рубашке булавакою наспех нацарапанная записка на маленьком ключке бумаги: «Изменник, шпион, осужден и казнен нами, русскими социалистами-революционерами. Смерть иудам-предателям».

Только Клеменца, вольного человека, было уже не возратить. Но все, что впоследствии случилось с ним, вся дальнейшая — к счастью, очень долгая —

его жизнь опущены здесь быть не могут, ибо слишком яркий это был человек, а такие проявляются во всех обстоятельствах. Кроме способностей незаурядных и разносторонних, он был очень доброкачественен, этот человек, и потому даже дальнейшая его, вне освободительного движения, жизнь — гордость тех, кто дружил с ним в «Земле и воле», яркий показатель собственного их уровня.

Клеменца держали очень долго — никак он не признавался ни в чем, а вещественные улики, найденные при его аресте — вот чудо из чудес! — пропали куда-то из шкафа вещественных доказательств. Никаких новых имен он не назвал, а на множество вопросов не пожелал дать ответы. Он был так обворожителен, Клеменц, так остроумен и уклончив при всей расположенности его к следствию, что ничего, совершенно ничего нельзя было вменить ему в вину. Была перехваченная переписка, но ее непристойно было, стыдно выставлять на суд, да и по закону не полагалось. А потом пошли события, на фоне которых деяния Клеменца стали выглядеть детской забавой, и он отделался всего-навсего ссылкой.

В Минусинске, куда он попал прямо с арестантской баржи, неторопливо прошлепавшей по Енисею, был давно уже прекрасный и богатый музей местных достопримечательностей, созданный неким бескорыстным энтузиастом. Он охотно принял в сотрудники по описанию коллекций грамотного и образованного ссыльного. Около двух лет Клеменц читал все подряд, что удавалось выписать по археологии, географии, истории древнего края. Он выпустил книгу с описанием коллекций музея, и в глухой Минусинск посыпались восторженные письма специалистов. Он отправился с проезжей экспедицией по рекам Томи и Абакану — по безлюдной и нехоженой тайге. Привез

потрясающие материалы и описания, через год отправился опять, первым подробно исследовав эти места. В последующие годы он оказался первым из исследователей, исколесивших всю Внешнюю Монголию, и составил геологические описания, вошедшие потом во все мировые справочники. Он проложил по ней пятнадцать тысяч верст нехоженных до него маршрутов, собрал несколько тысяч образцов пород и окаменелостей, гербарий в сорок тысяч экземпляров, оставил толстые тетради записей обрядов, мифов, обычаев и традиций народностей, населявших этот край. Он участвовал в исследовании Каракорума, древней столицы монгольских ханов, своими статьями привлек в Центральную Азию новые экспедиции из разных стран. Многие развалины древних храмов и руины древних городов обязаны были Клеменцу своим открытием и вниманием к ним археологов, а памятники письменности и искусства обязаны лично ему обнаружением и сохранностью своей. Он потратил на них пятнадцать лет.

Он оставался тем же Клеменцом, готовым ради шутки или из любопытства рискнуть жизнью. В одной из поездок наткнулись они на огромный утес, площадка перед которым служила местному племени скотоводов своеобразной молельней. На ней установлены были десятки фигурок скота — лошади, коровы, козы. Пока фигурки стояли, со скотом было все хорошо, если какая-нибудь валилась — это было предвестием крупного падежа. Посторонним запрещалось даже приближаться под страхом смерти. Клеменц, заночевав неподалеку, тайно от спутников пробрался сюда на рассвете. Не только для пополнения этнографической коллекции музея из тех статуэток, что упали, не только. С находчивостью здравого ума он решил осчастливить скотоводов, — и часа два ползал по пло-

щадке, аккуратно укрепляя песком и камнями фигуры, которые стояли. Отныне площадка эта могла предвещать только крайне удачливые года, а кто знает, не уверенность ли в том, что все будет хорошо, предопределяет отчасти благоприятное течение событий?

А потом ему разрешили возвратиться в Петербург, где предложена была вскоре работа, с которой он бы только и справился: организация этнографического отдела при музее императора Александра III. Восемь лет он отдал этому, в сущности, отдельному музею, став его заведующим и пополнителем (отовсюду слались посылки — не музею слались, а Клеменцу, оттого и было их множество).

В этом качестве он давал однажды пояснения посетившему музей царю. Кто-то шепнул самодержцу о прошлом невысокого седого старика с быстрыми молодыми глазами и веселой живой речью. Обширнейшие явственные познания при полном отсутствии академического занудства и дружественная легкость рассказа очень понравились царю, и он не удержался по окончании осмотра от естественного вполне вопроса: не жалеет ли господин Клеменц о своем так напрасно прошедшем прошлом.

— Я горжусь им, — был незамедлительный ответ. — Это были мои лучшие годы.

У сопровождавших дрогнули ко многому привыкшие лица, а царь, недоуменно подняв чуть брови, пожал плечами и сухо попрощался. Посещение могло кончиться орденом, как потом объяснили Клеменцу знающие люди, а кончилось вскоре — отставкой с пенсией.

Доживал он свою жизнь в Москве и скончался в год начала первой мировой на руках съехавшихся друзей. Такие похороны редко доводилось видеть Мо-

скве. А Клеменца и после смерти не оставила всегдашняя улыбка — то ли приветливости, то ли иронии, то ли того и другого вместе.

* *

*

В редакцию вошел Жорж Плеханов, и сразу начались ссоры, недомолвки, разлад. Плеханов не терпел возражений. Он был твердо уверен в своей всегдашней и непрременной правоте — даже когда сам стремительно менял мнение. То написал передовицу, полагая по-прежнему на крестьянство, то прочел программу «Северного союза рабочих» и с той же убежденностью начал уповать на город. Но неизменно и с ожесточением протестовал против всего, что предлагал Морозов. А Морозов с упорством, Жоржа из себя выведившим, твердил одно и то же: против репрессий сверху надо обороняться оружием. Клеменц посмеивался, ни на чью сторону решительно не вставал и Морозова только по плечу любовно похлопывал, когда тот горячился и настаивал. Кличка у Морозова появилась — Воробей (не Клеменцом ли придуманная?) и привилась очень прочно. В другое время он бы ее смехом ее принял, а сейчас тайком обижался: было что-то легковесное в ней, не принимали его всерьез, очевидно. Что ж, поглядим дальше, чья возьмет. А Михайлов, к которому обращались как к авторитету главному за решающим словом, говорил с широкой любящей улыбкой:

— Ребята, вы с ума сошли! Какая разница, что написано в газете? Пусть там будут все точки зрения до единой, пусть там все будет подряд написано, важно только, чтоб она бесперебойно выходила. По мне лично, идеальная газета — чтобы там вообще ничего не было написано, только бы появлялась чаще. Ее же

главный смысл — что она есть и что ее прихлопнуть не по зубам.

Это обижало всех троих. Но Михайлов, глава и второй отец «Земли и воли», совсем сейчас другим был занят. За свое пристрастие к порядку и организации он уже давно получил прозвище Дворника, на которое нисколько не сетовал. Целыми днями он бегал по городу, то устраивая денежные дела, то проверяя, все ли соблюдают договоренные знаки безопасности на окнах, то просто изучая город, в котором, как говорили, знал все проходные двory, закоулки и переходы.

Клеменц, хоть и не ясно, чью сторону держал, только однажды сказал Морозову:

— Ты не обращал внимания, Воробей, как Жорж наш с людьми держится? Он прост и приветлив, но при этом за версту видно, как ему приятно, что такая значительная он личность, а между тем прост и приветлив.

— Ты это ему скажи, — хмуро ответил Морозов. — Мне это ни к чему наблюдать. Мне ты лучше скажи, долго ли нас хватать и ссылать будут, а мы — как паиньки?

Отшучивался Клеменц, отхохатывался, писал о правительстве издевательские статьи и с охотой пользовался сведениями, которые притаскивал Воробей, ежедневно по либеральным домам шатавшийся.

А потом, с юга откуда-то вызванный, где пытался отдышаться и приходил в себя после четырехлетней отсидки, приехал Лев Тихомиров — худой, длинный, с маленькими мудрыми глазками. Он пока больше писал в легальной печати, но в общество его сразу приняли, и видно было, как тянулся он к Михайлову, прямо прилипал к нему, вслушивался, будто впитывал бьющую фонтаном энергию Дворника, будто гребл-

ся его душевной ясностью и спокойной сильной уверенностью. Он пока ничью сторону в разладе не занял, но в однажды вспыхнувшем споре вдруг сразу и целиком неожиданно поддержал Морозова.

Было это после ареста Клеменца вскоре, когда Жорж Плеханов сказал, что не стоит о казни предателя распространяться очень уж подробно. Потому что-де нужна мирная пропаганда, а не восхваление убийств и террора. Первый раз в жизни Воробей кричал на человека. Что из-за подлеца предателя этого сидит в тюрьме Клеменц — лучший из лучших, первый из первых, а Жорж из-за своей... тут он слова не нашел и сказал, сразу успокоившись, что в таком случае из редакции выходит. Пусть Жорж бегаёт сам за материалами и сведениями, пусть сам сносится с типографией, он ему сегодня же ее покажет, пусть все выпускает сам, как это до сих пор делал он. Все. И ушел, чтобы лишнего не сказать. А походив часок и остыв почти до нормы, до привычного приветливого и доброжелательного, очень мягкого и всем навстречу улыбочиво радующегося Воробья, пошел к Александру Михайлову. Куда было еще идти. Там уже сидели Плеханов и Тихомиров. Дворник, еще у двери Морозова обняв, подвел к листку бумаги, висевшему у него над кроватью. Этот листок все знали, но над ним не шутили, очень уж серьезно сам Михайлов к нему относился — говорил, что каждое утро на него смотрит. Написано там было мало: «Помни о своих обязанностях». Впервые этот листок увидя, подумал некогда Морозов и по сю пору был уверен в правильности догадки, что листок этот со своей лаконичной надписью в чем-то служит Михайлову так же, как староверам — многократно повторяемая молитва из нескольких слов.

Дворник его сюда подвел, чтобы уговорить и успо-

коить, — не знал еще, что операции этой Морозов никому не доверяет, сам ее над собой продельвает, и потому он улыбнулся Дворнику и мягко из-под его рук высвободился.

— Что решили? — спокойно спросил он.

Решили, оказывается, многое, и, кажется, благодарить надо было Льва Тихомирова. Во всяком случае, он намекнул: ты теперь, Воробей, мой должник. Ладно, пробурчал Морозов, скрывая жгучую радость, ладно, Тигрыч. Тигрычем сразу назвали Льва. Потом он больше назывался Стариком.

И благодаря решению этому оповещение широкой публики о казни подлого шпиона писал Морозов уже в своем собственном, личном, единоличном органе, — ему одному порученной и доверенной газете, названной «Листок «Земли и воли»». Типография набрала первый номер стремительно, и писал там Морозов так, как считал единственно сейчас нужным и срочно необходимым. Оповестив, что шпион наказан, обращался он к неизвестным (которых, впрочем, сам-то отлично знал):

«Приветствуем вас, исполнители тайного правосудия! Посреди этого царства деспотизма и насилия, посреди этой удушающей атмосферы холопства, ликования и празднословия... где самые геройские поступки вызывают только взрыв инсинуаций и ненависти, — вы одни встали перед врагами грозными мстителями за погубленных ими друзей народа, за все муки, пытки и унижения, которым подвергали их грубые и бесчеловечные враги».

Теперь Морозов непрерывно ощущал душевный подъем и свою пропавшую было нужность какому-то неведомому, явно нараставшему потоку событий. Идея, пришедшая ему в голову темной женевской ночью четыре года назад, идея, которой он безуспеш-

но пытался заразить друзей, вдруг сама по себе будто пробуждалась сейчас как естественный и неоспоримый, единственно разумный способ борьбы. Спротивляться! Стрелять! Карать карателей! И морозовский «Листок» оказывался делу необходимым — камертоном и колоколом одновременно.

Это нарастало много раньше, год еще назад стало совершенно явным — в том же марте, когда не только присяжные оправдали Веру Засулич за ее наказующий выстрел в Трепова, когда не только огромная толпа — целая демонстрация у здания суда шумно проявила свою солидарность с этим выстрелом, но и высокие государственные сановники, бывшие на суде, горячо и ни на что не взирая с привычной опаской и оглядкой, аплодировали этому оправданию. Сам государственный канцлер Горчаков хлопал в ладоши, как лет шестьдесят назад, юношей, в ложе театра. Что он в это время вспоминал, интересно, восьмидесятилетний старик, лицейский друг Пушкина, товарищ многих декабристов, успешливый придворный и дипломат уже в том году, когда в Сибирь пошли по этапу его ровесники и приятели, а все молчали, и он молчал, а Пушкин, сидя в ссылке, рисовал, как зачарованный, пять виселиц?

Аплодировали по разным и нескольким причинам, в которых общим было только главное: общее недовольство правительством. Неудобно и неуютно (по разным, опять-таки, причинам) жилось всем, и реформ, коренных перемен ожидали все снизу доверху. Но умнейший и тончайший человек своего времени военный министр Милютин меланхолически записывал в своем знаменитом дневнике: «Такая колоссальная работа не по плечу теперешним нашим государственным деятелям, которые не в состоянии поднять-

ся выше точки зрения полицеймейстера или даже городского».

И еще одно событие было в этот странный неудобный день, когда вдруг стало из аплодисментов и толпы возле суда особенно ясно всеобщее нетерпеливое недовольство, — в этот день было создано особое совещание министров. Позднее оно и называться стало так: Особое совещание. С большой буквы. Это был временно действующий комитет для принятия экстренных мер — пожарных ли, хирургических, но целых ли. Лихорадило саму атмосферу столицы, и дрожь эта ощущалась всеми. Министр Валуев кошмарную метафору начертал в своем дневнике: «...почва зыблется, зданию угрожает падение».

Но подтвердило это Особое совещание лишь правоту эпически спокойного наблюдения Милютин: приняло, то есть, только полицейские меры. Были выделены дополнительные деньги на дополнительные облавы. И это же совещание одобрило в июле месяце — утешения ради и умиротворения для — казнь одессита Ковальского, сопротивлявшегося при аресте с оружием в руках.

Это было еще в январе, через несколько дней после выстрела З а с у л и ч, — оправдывая обещание сопротивляться, Иван Ковальский неумело пытался стрелять, потом выхватил кинжал, потом отбивался вручную. И за это был в августе казнен под бравурную военную музыку. А через два дня на людной столичной улице был заколот шеф жандармов Мезенцев, и в подпольной типографии вышла незамедлительно брошюра «Смерть за смерть». Начало раскручиваться колесо, которое дальновидные и проницательные министры полагали своими мерами остановить.

И прямо с погребальной церемонии съехались они восьмого августа во дворец, чтобы снова измыслить

новые меры, и девятого появился указ о предании военному суду за преступления политического свойства. То есть расправа была обещана скорая — по законам военного времени. Да притом еще местные власти получали право арестовывать тех, кто участвовал или только мог участвовать в беспорядках, и ссылать их в Восточную Сибирь.

И тот же самый Горчаков, вернувшись в сентябре из отъезда, собственной властью, росчерком не дрожащей старческой руки расставил на столичных улицах впечатляющие казачьи посты. Что теперь, интересно, вспоминал он из поры своей молодости? Не эпизод ли, когда лейб-гренадерский полк, ведомый двумя декабристами, Пановым и Сутгофом, на Сенатскую площадь, свободно мог захватить Зимний, но оплошал и прошел мимо, к памятнику Петру, а минутная возможность эта могла ведь обернуться черт знает чем.

А на севере несколько высланных попытались бежать, их настигла погоня, и один из них стрелял. Из тюрьмы он передал на волю для печати записку, ярко знаменующую характер наступающего дня:

«Товарищи! Пользуюсь оставшимся временем, чтобы выяснить вам те мотивы, которые побудили меня к моему поступку. Я стрелял в урядника не с целью сопротивления, которое было немислимо, но чтобы ценою своей гибели протестовать против правительственного произвола... Я заявил это следователю, заявлю и на суде, если будет возможность. Вас же я прошу опубликовать это письмо: это для меня важнее всего. Прощайте!

Сергей Бобохов».

Этот малоизвестный в движении Сергей Бобохов неизлечимо болен был прекрасной и высокой болезнью, свойственной всему поколению: переживал, как

собственную, если не сильнее, чужую боль, чужое страдание, даже унижение чужое. И спустя десять лет, в восемьдесят девятом году, уже на Карийской каторге, сполна и в последний раз проявил свою болезненную совесть, свою бескожую причастность к чужой беде. Карийской трагедией назвала история то событие. Протестуя против жестокости и притеснений местной власти, каторжанка Сигида ударила коменданта тюрьмы, сладострастно ужесточившего режим. Губернатор распорядился высечь ее, на что по инструкции имел право. После этого Сигида немедленно отравилась и умерла. Из солидарности с ней в ту же ночь отравились насмерть трое ее подруг и одновременно приняли яд четырнадцать заключенных в мужской тюрьме. Ценой своей смерти они хотели облегчить режим остальным, а главное — протестовать единственно им доступным способом — собственной смертью против произвола и унижения. По условленному сигналу — после вечерней поверки запели в одной из камер — все четырнадцать приняли морфий. Он давно хранился и не подействовал. На следующий день проявили решимость повторить только девять, и двое умерли. Один из них — Сергей Бобохов. Великая верность и последовательность свойственны были его короткой жизни.

А осенью семьдесят восьмого Морозов долго вертел в руках эту записку, прежде чем переписал для типографии, а подлинник отнес в свой архив. Известный ему человек — они никогда не были знакомы, а теперь и не познакомятся никогда — будто прямо делился с ним своим настроением, абсолютно созвучным и оттого обязывающим продолжать. Морозов теперь постоянно ощущал, как повсюду вокруг нарастала и крепла — уже как решимость, как настроение, как образ жизни — его еще вчера одинокая

убежденность в единственно возможном и оттого единственно верном способе борьбы.

А в Старой Руссе, никому до поры не показывая, подпоручик Дубровин, вчерашнее украшение правого фланга Морского училища — танцевать бы на балах сейчас этому светло-русому великану-красавцу, — писал, запершись от недоумевающих друзей, «Заметки русских офицеров-террористов за 1878 год». Здесь были инструкции по пользованию оружием разных систем; зря, например, Засулич, писал деловито автор, стреляла из револьвера «Бульдог» среднего калибра — уместнее и надежнее был бы «Смит-Вессон». Подробно обсуждались достоинства холодного оружия всяких видов, которым тоже не следовало пренебрегать. Были сведения, как отмывать пасапорта, готовить печати и взрывчатые вещества. Снова и снова подчеркивалась всюду необходимость знать и учитывать малейшие детали дела. Вот, например, Мышкин — поехал освобождать Чернышевского, а сам на мундир жандармского офицера неправильно надел аксельбант — вместо правого плеча на левое, и естественно, что исправник в Вилуйске сразу заподозрил неладное. «Результаты получились слишком печальные и, главное, непоправимые».

А еще, полагая неизбежным быть арестованным однажды, а значит — неминуемо казненным, потому что офицер и приносил присягу, оставил Дубровин сразу же и завещание, по-военному лаконичное:

«1. Завещаю всем честным людям поддерживать и распространять правду.

2. Завещаю всем честным людям заступаться за угнетенных,

и 3. Завещаю всем честным людям отомстить всем тем, из-за которых пролита была многих невинная кровь».

Он никому завещание это не успел передать, потому что было за ним давно уже установлено негласное наблюдение. Он переписывался с художницей Малиновской, которую по чьему-то доносу о сборищах у нее подозрительных лиц арестовали тогда же, когда и весь центр «Земли и воли». Следующим был Дубровин. При аресте он стрелял.

О суде над офицером Дубровиным и о казни этого незадачливого человека, так никого и не успевшего научить очень важным вещам, Морозов писал в тот же день, когда на судьбе Дубровина остановился случайно и не случайно мрачный взгляд Достоевского. Писатель жил тогда в Старой Руссе и долго говорил в тот день с соседом своим о повешении (расстрел считался смертью почетной) офицера квартировавшего здесь Вильманстрандского полка. А после этого, вечером уже, не остыв от нахлынувших мыслей, привыкнув по субботам беседовать с давним и интимным собеседником своим Победоносцевым, отправил ему письмо, где писал: «...взяв в объект хотя бы лишь один полк Дубровина, а, с другой стороны, его самого, то увидишь такую разницу, как будто бы существова с разнородных планет, между тем Дубровин жил и действовал в твердой вере, что все и весь полк вдруг сделаются такими же, как он, и только об том и будут рассуждать, как и он...»

Морозов этого, естественно, не знал. Морозов писал о гибели человека, без колебаний поставившего свою жизнь не на карту даже, а на заведомую отдачу — ради честности перед идеями, в которые поверил,

А землевольцы, поселившиеся в деревнях, отчаивались между тем и разочаровывались в возможности что-нибудь сделать. Их засасывала болотистая, неторопливая и косная деревенская жизнь с ее ежеднев-

ными тягостными мелочами и обреченным покорным долготерпением. И один из них даже ядовитый стих написал однажды о безнадежности их предприятия. Написал и отослал знакомым в город.

В народе мы сидим,
Дела великие творим:
Пьем, спим, едим
И о крестьянах говорим,
Что не мешает их посечь,
Чтоб в революцию вовлечь.

А на юге уже давно стреляли. Южане еще год назад приезжали в Питер, чтобы выследить и наказать Трепова, только выстрел Засулич сорвал их планы. Уже не удовлетворялись они, как прежде, расклейкой по городу то поддельных телеграмм о военных поражениях бездарных русских генералов, то подложных манифестов с дарованием конституции. Валериан Осинский замышлял дела посерьезнее. Намечалось убийство Тотлебена — этот герой Крымской войны, став губернатором в Одессе, проявил себя как беспощадный каратель: десятками ссылал в Сибирь по одному подозрению только в причастности к движению. Стреляли в помощника прокурора — он остался жив, правда, но много было шума и разговоров. Убили в Киеве жандармского поручика, а в Ростове — рабочего, который стал предателем.

Убитого жандарма сменил армейский офицер Судейкин. В рослом и улыбчивом, очень жизнелюбивом, очень плотском младшем офицере этом никто еще не подозревал развернувшихся вскоре энергии и полицейского таланта необычайного. Но он-то сам планы лелеял наполеоновские. И читать любил очень о небывалом взлете маленького корсиканского офицера, и с одобрительным удовольствием читал также о змеиной гибкости великого оборотня Фуше, то яростного

революционера, то хитроумного полицейского министра — все сообразно времени.

В январе он впервые показал свои когти, умело и без лишнего шума захватив Валериана Осинского. Тот беспечно шел по улице, ни о чем не беспокоясь, так безупречны были его документы, в доставании которых был он великий мастер. И когда случайно встреченный полицейский вежливо попросил его на минуту зайти в участок для простой формальности проверки паспорта, Осинский со спокойной надменностью пошел, ничего не заподозрив. А прямо в коридоре участка навалился на него рослый Судейкин, а следом и еще трое. Осинский так бился в иступлении бессильной ярости, что в докладе о его поимке даже написал Судейкин о временном будто упомощательстве схваченного.

А когда арестовывал других, не в таких уже обдуманных обстоятельствах, а прямо на квартирах вечером или ночью, то надевал предусмотрительный Судейкин и заставлял надевать подручных подчиненных пуленепробиваемый панцирь. И оказывался прав: в них стреляли, но безуспешно.

И весной этого года осталось от отчаянного кружка киевских бунтарей несколько всего человек. И еще печать несуществующего Исполнительного Комитета, которой для устрашения припечатывали прокламации и письменные угрозы властям. На ней были перекрещенные револьвер, кинжал, топор и надпись: «Исполнительный Комитет Русской Социально-Революционной партии».

Печать эту привезли в Петербург — захватили просто так, для памяти. Но взяв ее и поблагодарив, хранитель архива Морозов совсем не сразу отнес ее в заветный тайник, а долго рассматривал, обдумывал что-то, показывал Александру Михайлову, и Ми-

хайлов согласно кивал головой на какие-то горячие монологи Воробья. В те дни его, правда, чаще звали Арсеналом, столько он таскал на себе оружия, спрятанного под пиджак или пальто. Потому что в случае ареста собирался сопротивляться до последнего, и все знали, что слово Воробей сдержит. Ни разу еще никто не видел, чтобы он струсил или состорожничал просто, за что, кстати, не раз получал нагоняи от безжалостного в вопросах безопасности Дворника. И выслушивал их покорно, не оправдываясь и не возражая, а потом вдруг улыбался широко, и всем становилось ясно, как впустую ему все говорилось. Выругавшись, Дворник отставал от него, и Воробей по-прежнему носился по городу с выпирающим из-под пальто револьвером.

В феврале был у Морозова с Михайловым короткий и незначительный разговор, который вспоминался потом ярко и часто. В редакцию «Земли и воли» было передано с юга письмо — обращение «К обществу» с просьбой напечатать его после того, как совершится намеченная южанами казнь губернатора Кропоткина. А незадолго до того из каторжной южной тюрьмы просочилась на волю и немедленно была набрана страшная книга — «Заживо погребенные». В ней описывался режим медленного убийства, которому были подвергнуты арестанты (причем только политические, уголовники жили несравнимо вольготнее и сытней), были подробно описаны издевательства, голод, унижения и карцер. Никто не сдержал слез, читая эту тетрадь. Ее самой первой издала, начав работать, нелегальная типография, чтобы скорее все узнали, что делается за глухой стеной. И вина губернатора князя Кропоткина в том, что совершалось там, была велика и неоспорима. Человек, взявший на себя казнь Кропоткина, прислал это обращение с просьбой напеча-

тать его после совершения акта мести. Выжить он не надеялся, слишком ничтожна была вероятность скрыться, он обрекал себя и поэтому писал заранее:

«Я обращаюсь к тебе, русское общество, как единственному попустителю жестокостей, совершаемых над социалистами. Поймешь ли ты меня? Возвысишь ли ты свой голос за поруганное человеческое достоинство? Или, может быть, пойдешь рукоплескать моей казни?»

Пусть так! Но я все-таки иду мстить за тебя и отдаю жизнь свою за одну возможность зарождения в тебе человеческих чувств...»

Дальше автор обращения этого описывал порядки в Центральной каторжной тюрьме. С болью и состраданием, с горячностью и подробно. И писал:

«Чем же и как удовлетворить униженное, оскорбленное чувство политических заключенных? Как отделаться от этого вопиющего бесправия? Чем пробудить тебя, русское общество, от твоего векового сна? Страстное желание разбудить тебя, сделать тебя, общество, участником человеческой жизни, человеческих интересов и не менее страстное желание отомстить мучителю за поруганное им человеческое достоинство — вот чем наполнено все мое существо!..

...И куда ты будешь спать, тебе не раз придется принимать участие в единственно дозволенном тебе деле — похоронах высокопоставленных особ!»

Бумагу эту, присланную Григорием Гольденбергом, Морозов показал Дворнику. Он все важное показывал ему, молчаливо признав раз и навсегда старшим и авторитетом, хотя был Михайлов на год его моложе.

— Это Гольденберг урка, — сказал Михайлов. — Приподнято уж очень, с пафосом. Не знаю, право, выйдет ли у него попытка.

И усмехнулся нехорошо.

— Да ты же его по Киеву знаешь, — сказал Морозов. — А он что — трусоват? — И заранее поморщился презрительно, ожидая, что дело в этом.

— Да нет, — ответил Михайлов. — Этого нет. Даже наоборот, пожалуй: отчаянный и сверх меры горячий. Нет, совсем не трус Гришка.

— В чем же дело тогда? — спросил Морозов, иных причин возможной неудачи просто и не предполагая даже.

— Вразумительно я тебе не отвечу, — продолжал Михайлов, заикаясь сильнее обычного, как всегда с ним было, когда задумывался. — Ты такое хорошее деревенское понятие знаешь: самостоятельный человек? Это в похвалу говорится: дескать, сложившаяся личность, сам решить может, сам ответить. Мужик, словом. Мужчина. Самостоятельный.

— Слышал. Но пока не понимаю, к чему ты?

— Вот он несамостоятельный, понимаешь? Ну не могу я тебе объяснить... Был я, например, в Киеве, когда он ужасно со мной дружить хотел, прямо льнул и льнул ко мне...

— Ну и что, Саша? — возразил Морозов. — Ну и я к тебе льну и льну.

— Ох, Воробей, ты пойми разницу эту. Ты ко мне льнешь, потому что мы с тобой давно вместе, привыкли и друг друга чувствуем и понимаем. Но ты немедленно в случае несогласия какого обложишь меня всеми словами, какие вспомнишь, и будешь спорить, пока мы оба не посинеем, правда?

— Или один ты, — подтвердил Морозов.

— Вот, вот, вот! — обрадовался Михайлов. — А он, понимаешь, он мне в рот смотрел, я ему был не как друг нужен и приятель, а как поводырь и наставник. Он сам не может. Понимаешь? А так-то он очень

смелый, но ему легче, когда ему приказывают, и по-укают, и направляют. Несамостоятельный. Я ему как генерал был нужен.

— А ты и есть генерал, Дворник, — сказал Морозов почтительно.

— Ну, значит, ты все понял, раз начал издеваться я, — ответил Морозову Михайлов. — Потому я и думаю, что ему может эта попытка оказаться не по плечу.

— Но ведь печатать будем даже при неудаче, — сказал Морозов. — Он ведь все равно жизнь свою на это кладет, как пить дать. Кропоткина охраняют на верняка. Так что я его настроение слишком хорошо понимаю: ему почти верная смерть. Отсюда и пафос, и интонация.

— Посмотрим, — отозвался Михайлов. — Это было бы очень важно.

Попытка удалась Гольденбергу. Выскочив из темного сквера, где он долго поджидал, на узкую площадь, по которой тарахтела закрытая карета губернатора, он вскочил на ее подножку, чуть не всунулся с головой в окно и выстрелил почти в упор. Лошади дернули, он спрыгнул, упал, с ловкостью кошки вскочил на ноги и растаял в темноте под крики и выстрелы охраны. Губернатор скончался в ту же ночь, и переполох, поднятый этим отчаянным убийством, еще долго давал себя знать то повальными обысками в разных городах, то гневной начальственной перепиской о неприменности поимки злодея.

А Гольденберг приехал в Петербург, явившись к Михайлову с неожиданным, ошеломительным предложением.

Стояла середина марта, было еще очень холодно, дул острый ветер — лед со снегом, и в гостиных говорили о неведомых террористах, уже начинавших

страшить публику всерьез. Один из них только что на всем скаку стрелял, поравнявшись с каретой, в нового шефа жандармов. Стрелял неудачно, шеф отважно кинулся за ним в погоню, тот слетел с лошади на одной из улиц, но нашелся, вручил повод подбежавшему помочь городовому, а сам ушел, хромя. Шеф опознал его: это был молодой поляк Леон Мирский, принятый в светских кругах и гнавшийся, очевидно, за славой. Может быть, правда, злоумышленники наняли его за большие деньги? Слухи о миллионах в золоте, которыми будто бы располагали они, ходили по Петербургу широко.

* *
*

В Мариинском театре давали оперу Мейербера «Иоанн Лейденский», и, хотя сезон уже кончался, был всегдашний полный сбор. Собственно, опера эта называлась у автора «Пророк», но переводчику показалось красивее назвать ее именем героя. В либретто ее было ввязано движение анабаптистов, но на самом деле ничего общего не имел чуть водевильный сюжет оперной трагедии этой с подлинным религиозным расколом, потрясшим три века назад Западную Европу. Анабаптисты полагали, что главное таинство посвящения человека в православие — крещение — должно совершаться сознательно, в зрелом возрасте, и оттого перекрещивали заново своих новообращенных. Они требовали всеобщего равенства, социального переустройства, разделения имущества, и потому, чисто религиозная вначале, быстро обратилась секта в тайный союз преследуемых. Их убивали и изгоняли из Голландии, потом ловили по всей Германии, но проповедь гонимых всегда сильнее действует на воображение, и потому они долго не исчезали бесслед-

но. Даже захватили однажды город Мюнстер и устроили в нем жизнь по своим идеям: со всеобщим равенством, с принудительным разделением всех богатств, а значит — без этого не выходило, — с казнями несогласных и протестующих. Два года спустя город взяли штурмом, главарей казнили страшной смертью, и снова секта стала гонимой, и снова не могли ее окончательно извести.

А потом она попала как тема плодовиному либреттисту Скрибу, и он завернул в нее, как в обертку, традиционную любовную трагедию. Остались в ней от религиозного фанатического движения только три бродячих монаха-злодея, подбивавших крестьян на бунт против владетельного князя.

Уже появились на сцене мать и невеста главного героя, уже мановением руки ввел оперный князь солдат, быстро смявших крестьянский бунт. А потом, соблазнившись красавицей — чужой невестой, подло заточил ее князь в свой нарисованный на заднике красивый замок. Трагедия начала развиваться.

Еще в середине действия старшая сестра журналиста Тумашевского, дама лет сорока двух, но выглядывшая на сорок один, начала то урывками поворачивать голову вбок направо, то просто коситься в ту сторону. Как только кончился первый акт, упал занавес и постепенно заглохли аплодисменты, Тумашевский бодро возгласил, что место всех порядочных людей в буфете, но сестра отказалась выходить, и его жена тоже осталась с ней. На молчаливый ее вопрос — женщины давно понимали друг друга — сестра передала ей бинокль и шепотом сказала:

— Посмотри, какие вдохновенные лица у этих студентиков в средней ложе. Я давно не видела столько красавцев сразу. Просто озаренные какие-то лица. Глаз не могу отвести. Молоденькие, а такие зрелые.

Зная основное пристрастие этой всю жизнь одинокой и никогда в одиночестве не бывавшей женщины, подруга ее, усмехнувшись понимающе, жестом отказалась от бинокля, в антракте явно неудобного, и повернула голову к средней ложе.

— В самом деле, — подтвердила она. — Прекрасные лица. И без единой женщины, как монахи.

— Ну, это монашество, положим, — возразила опытная сестра, — держитесь до первой юбки. Интересно, кто они? Для студентов ложа дороговата, студенты — вон они.

За ними сверху ровно гудела битком набитая галерка. Вернулся Тумашевский, вкусно пахнувший дымом, с двумя огромными шоколадными конфетами.

— Котик, — спросила жена, — ты всех знаешь. Кто это там сидит?

Тумашевский красиво прищурился в полумрак большой ложи.

— Только одного знаю, к и с а, — промолвил он. — Это помощник присяжного поверенного Корша, доброго моего приятеля. Некий Полозов. Он чуть поглубже, как бы во втором ряду, в очках.

— Так это адвокатишки! — воскликнула сестра разочарованно. — Не люблю это крапивное семя. Тот у них такая ложа. Дерут они без стыда и совести.

— А знаете, что про них Щедрин написал? — игриво прошептал Тумашевский: — Адвокаты, он написал, такие со своих клиентов куши рвут, что даже еврей-железнодорожники зубами скрипят.

Женщины смеялись, платочками закрывая рты.

— Познакомить вас? — спросил Тумашевский. — Мне только кивнуть ему, он подойдет.

— Ненадо, котик, — ответила жена. — Посмотри, как они заняты друг другом. Правда, как монахи из одного братства. А тебе кто из них больше нравит-

ся? — обратилась она к сестре. Та посмотрела тяжелым понимающим взглядом:

— Ближе всех который, — промолвила она, по-медлив. — Белокурый и улыбочивый. Он о-о-о...

И все трое рассмеялись душевно.

— А тебе? — спросил жену Тумашевский.

— Мне т ы , — отозвалась она незамедлительно.

— А правда? — не отставал он.

— Ну, немножко тот, что сидит рядом с твоим знакомым. Странная смесь мальчишки и мужчины. Впрочем, мальчишки больше.

И правда, Степан Ширяев, сидевший сейчас в ложе рядом с Морозовым, вдруг растерял всю свою солидность и какую-то добротную положительность интеллигентного мастерового и сидел, слушая оперу, мальчишка мальчишкой. Даже более несолидным, более юным, чем Морозов, выглядел он сейчас, было видно, что моложе немного, хоть обычно смотрелся куда старше. Потому что сейчас оттаял вдруг и отошел, а обычно давно уже полагался в этом мире только на себя одного, а это не обходится без отпечатка. Крестьянский сын, чьей-то благотворительностью отданный в гимназию, он однажды вдруг неожиданно снялся с места и отправился посмотреть мир. Жил в Лондоне, бедствовал, перебивался случайными заработками, потом поехал в Париж — тут повезло крупно, устроился подсобным рабочим в электрическую лабораторию Яблочкова и очень многому научился там. Потом опять поехал в Лондон, уже работал самостоятельно в большой мастерской — тоже по электричеству, много читал, учил английский, ходил к Лаврову. А потом вдруг однажды сразу ощутил такую смертную тоску и скуку, что впору было в петлю полезть, но подвернулся, к счастью, сведущий, бывалый человек. Он объяснил, за парой пива сидя, что только

у русских бывает такая тоска и скука, что это значит — пора домой, потому что здесь каждый только для себя живет, а Степан может жить только по-русски, только в миру и ради общего дела, и вся его хандра, скорее всего, от этого. Начитался он сверх меры, а приложить себя может — только там. Это в нем сама природа его играет, а значит надо ей следовать. И неясно, откуда все это взял собеседник, сам, между прочим, из русских эмигрантов, а живет спокойно, только за пивом вот и разговорился, но почувствовал Степан вмиг, что правда ему сказана, истина, и всей его тоски и скуки действительно как не бывало вдруг, и замаячила впереди заманчивая и сладостная жизнь. Странно вот, что Лавров этого ему не говорил, несмотря на все к Степану расположение. Книжки давал читать, литературу посылал русскую, нелегально там выходившую, а тоски объяснить не мог. Ну да каждому свое. И от каждого свое в свою очередь, а значит, надо ехать и вступать в предназначенную жизнь.

Найти, однако же, людей действия, чтобы не только разговаривали, а чтобы всю полноту участия ощутить, оказалось не так просто. Была у Степана записка от знакомого по двум встречам Плеханова к некоему Арону Зунделевичу, но на вопрос явно осведомленным людям, где живет Зунделевич, те отвечали странной фразой: «в вагоне третьего класса» и заливались дружно смехом, будто говорилась невесть какая шутка. Потом, кстати, узнал Степан, что это правда так смешно звучала: действительно — непрерывно в разъездах находился занятый выше головы Зунделевич. Потом встретил Степан других разных людей из того же круга, что называли себя народниками, но ощущение, что дома он теперь, что занимается делом, не приходило. Как-то неожиданно для

себя вдруг полюбил и невестой обзавелся, так же неожиданно стал переводы без желания делать — накопленные деньги кончались. А, пропаганда среди рабочих, в которую тянули его друзья Плеханова, не привлекала его отчего-то вовсе, и уж не рад он был, что приехал, потому что невеста невестой, а характер у Степана был настоящий, мужской, и надо было ему позарез чем-то жить по-настоящему, по крупной и всерьез, а иначе — и жизнь не в жизнь.

Надоело это все до того, что даже бросил Степан безответственно и самовольно группу порученных ему рабочих, среди которых один, его тезка, по фамилии Халтурин, нравился ему своей самостоятельностью, независимостью и твердым нравом. Но надоело, и все тут. Бросил. И почти в это же время — без желания, уже не надеялся, что отыщет дело по душе, — познакомился с двумя странными ребятами, непохожими друг на друга так, что непонятно даже было, что их соединяет вместе. Разве только, что худые оба, как скелеты в той фельдшерской школе, куда заходил он за своей милой. Один — веселый, легкий, дружелюбный, как кутенок, другой — смурноватый чуть, серьезный, тяжелый в общении, будто давит. Оба грамотные и знающие — куда только поместилось, а главное — сразу почти сказали Степану Ширяеву такое, от чего у него резко захватило дух: вот оно для чего ехал, оказывается. Для этого не жалко жизнь положить. Господи, конечно, согласен. Завтра же давайте и начинать. Ширяев, чтобы невесту не вовлечь — потому что почти ясно, чем это кончится, — съехал с их квартиры общей, только заходил теперь, но почти ежедневно, и занялся вплотную, с прилежностью, ему свойственной, делом, о котором договорился с этими двумя. Которых знал только по кличкам, более ничем не интересуясь, хотя мог бы при

желании узнать немедленно. Достаточно было вполне и кличек: Воробей и Старик. Подходили клички, кстати, обоим донельзя точно.

Сейчас Ширяев сидел, наслаждаясь искренне оперой, — он бывал в театрах, не много раз, но бывал, в России же со дня приезда — не доводилось.

А Тихомиров, из глубины ложи с самого прихода не вылезавший, нервничал нескрываемо и неодобрительно хмурился. Он не то чтобы трусоват был, он просто осторожен был слишком. И сейчас Старик негромко окликнул Михайлова, чтобы спросить, какого черта он притащил их именно сюда.

— А это не я придумал, это Воробья за тебя, — сказал Михайлов. — Ты и объясни, Воробей.

— Что тут объяснять? — откликнулся Морозов. — Это же самое безопасное место. Меня Кравчинский в театры таскал, когда за ним по всему городу охотились. Посудите сами: кругом облавы, того и гляди, накроют любую из наших квартир, а мы там все сидим, уже собравшись. В трактирах тоже облавы то и дело, а здесь — кто нас заподозрит?

Тихомиров хотел уже пробурчать что-то возражающее, но Морозов продолжал уверенно и веско:

— И еще причина есть одна, и очень существенная, если хотите. Мой отец, когда разбирал тяжбы или ссоры дворян нашего уезда — он предводителем был одно время, — всегда их вызывал к себе, а никогда к ним не ездил, да при этом еще и на часы поглядывал ежеминутно — тороплюсь, мол, объяснитесь коротко и точно. И всегда оказывался прав, никто не рассусоливал и монологов не произносил. Вот и у нас, смотрите-ка: место совсем чужое, времени мало, всего три-четыре антракта, лучший способ все решить и обсудить. А? Несогласны?

— Ты, Воробей, скорее жук по хитрости, — сказал 213

Михайлов одобрительно. — Ты нас завлек сюда, ты и начинай. Повод, други, всем известен: лопается наше общество.

— Ну уж нет, Дворник, — Морозов лучезарно улыбнулся е му. — Ты уж меня прости, но раскол — по твоей части.

Михайлов было насупился, но вместе со всеми рассмеялся. И повернулся поудобнее в глубь ложи, чтобы говорить негромко.

Уже действительно назрел, окончательно неминуемым стал раскол общества «Земля и воля». Против статей Морозова, против открытой борьбы с правительством за политические свободы яростно возражал Плеханов и вслед за ним почти все, кто приезжал из деревенских поселений. Сам-то Жорж выдвигал причины высокие, теоретические: политическая борьба, даже увенчавшись успехом, даже вырвав у испуганной власти свободу слова и конституцию, только к одному приведет: расчистит дорогу буржуазии. А по всем западным странам видно, к чему ведет засилье буржуазии: такое же притеснение всех работающих, только в бархатных перчатках и более умелыми руками. А у России свой путь, и не конституция ей нужна, а земля крестьянам, чтобы община владела и ведала землей. Правда, в последней статье писал Жорж и о рабочих организациях, о пользе стачек и забастовок, но все равно это была экономическая борьба, а за политические права бороться, да тем более еще стрельбой и взрывами, — это значит из огня каштаны таскать для неминуемой буржуазии, которая на чужой крови получит тогда власть в стране. И другие деревенщики говорили о непрременном усилении полицейских мер в случае, если общество заявит себя выстрелами, а значит, и поселения рухнут, и работать в городе станет не в пример тяжелее.

Только поселения все равно ощутимой пользы покуда не приносили, и чувствовал Александр Михайлов незаурядным чутьем своим, что при таком, как сейчас, полицейском активном сыске все равно им через полгода-год бесславно и бесполезно предстоит попасться и пропасть, а значит, на самом деле путь оставался — единственный. О котором Воробей то кричит, то шепчет уже который месяц подряд.

А в марте все само собой начало проясняться и определяться. Сразу трое появились в Петербурге, и все трое — с одним и тем же. Гольденберг приехал с заявкой, что берется убить царя. И о том же заговорил его напарник по кропоткинской попытке — молчаливый, но решительный до конца Кобылянский. А потом приехал с поселения Александр Соловьев, на мнение которого можно было положиться: и в кузнице он работал, специально в Псковской губернии устроенной, и на поселении под Саратовом жил, и вообще в народе бывал достаточно. Приехал в угрюмом, тяжелом настроении. Картины страданий людей, близких по вере или целям, вызывают такое состояние, которое зовет к самопожертвованию. Он твердо решил покончить с царем, уверенный в благотворном влиянии, какое произведет такой факт на крестьян. И потом, это наверняка хоть что-то в огромной русской тюрьме переменит. Он жаждет принести для народа жертву.

Михайлов его не отговаривал, только свел с Гольденбергом и Кобылянским, чтобы решить уже по-деловому: кому из них, когда и как. А себе на подмогу, хотя обычно обходился сам, пригласил Зунделевича и Квятковского. Потому что первый — само спокойствие и твердая рассудительность, а второй, кроме того, что умен, сам только что оставил работу в деревне, собираясь действовать и добиваться, а не беседовать

месяцами неторопливо и навязчиво с крестьянами, в которых всё как в прорубь.

Сходились в трактире «Северном» трижды, но разговаривать пришлось недолго, потому что Гольденберг и Кобылянский отпали сразу. Это Зунделевич сказал, светлая голова, не зря на равнина обучался. Сказал, что ни еврею, ни поляку стрелять в русского царя нельзя: во-первых, вина в первом случае падет на весь народ и возможны будут погромы; во втором получится, что поляк — будто бы за раздавленную Польшу стреляет, как стрелял уже раз в царя в Париже поляк Березовский, и опять выйдет, что это пуля от нации, а не от народа. И поэтому... тут Соловьев, просяив так, будто его одарили чем-то таким неслыханным, что и названия не имеет, радостным голосом твердо сказал: «Всё! Александр — мой!» И ему никто не возразил, настолько стало все очевидным. Два других раза говорили больше о подробностях, но потом выяснилось окончательно, что предлагаемая Гольденбергом помощь (он так рвался, будто умереть непременно решил, и непременно на этом деле) не нужна тоже. Гораздо надежнее и спокойнее — одному. Только помощь Михайлова принял Соловьев с благодарностью: все знали, какой великий мастер Дворник по устройству всего, что требовало устройства. И кроме прочих приготовлений — одежды чиновника, яда для Соловьева, расписания царских прогулок, — кроме всего этого, Михайлов еще лично в ночь накануне покушения прошелся от Дворцовой площади до Певческого моста так, как предстояло назавтра пройти Соловьеву, и Соловьев за ним наблюдал со стороны. Револьвер был взят у Воробья — он с юности еще разбирался в оружии благодаря отцу-охотнику и отдал свой действительно великолепный револьвер не раздумывая.

(Может, кстати, напрасно не раздумывал, потому что потом по револьверу нашли оружейного мастера, а он вспомнил, кто покупал, ибо револьвер выбирался с пониманием дела и покупался не в лавке самой, а в доме у замечательного человека, жившего над этой лавкой, — у врача Ореста Веймара, героя войны, с тем же хладнокровием, что и на войне, помогавшего потом нелегалам. И осужден был Веймар на каторгу, а потом — на поселение и, простыв насквозь, умер от воспаления легких, проделав долгий путь к тяжело рожавшей женщине. Вернулся, сказал небрежно и не без гордости: «Будет она теперь жить», — а сам слег и уже не встал.)

И еще просил Соловьев перед своей неминуемой и с радостью выбранной смертью, чтобы общество, чтобы «Земля и воля» одобрили его поступок. Он привык быть со всеми вместе и со всеми быть в согласии и хотел не одиночкой умереть, а с общим дружеским напутствием. Несомненное его право.

Но когда Михайлов собрал Большой Совет общества — просто всех, кто был в то время в городе, — и оповестил их о добровольце-смертнике, имени его предусмотрительно не назвав, разразился такой скандал, что несколько человек молча переглянулись и тесней друг к другу подсели.

Полное, совершенное хладнокровие сохранял один Зунделевич, ему на границе приходилось попадать во всякие переделки, нервы у него были как проволока. Наклонившись к Михайлову, он шепотом ему сказал, пусть не отрицает, что это Гольденберг собирается стрелять, как многие сразу предположили. Вокруг кричали, перебивая друг друга, что с этим новоявленным Каракозовым немедленный крах всему делу наступит и что это не дело народников переходить от пропаганды к политической борьбе, а тем более —

сразу к цареубийству. И, перекрывая шум, сказал громко прекрасный человек Попов, которого все звали Родионымчем, — сам, кстати, заколол предателя Рейнштейна, оттого все и смолкли так при звуке его голоса:

— Но, господа, если среди вас найдется Каракозов, выстрел которого нам вреден, то кто поручится, что и Комиссаров среди нас не найдется?

— Это в каком же смысле? — угрюмо и нервно спросил Квятковский, давний и закадычный друг Родионыча.

— Не в том, конечно, смысле, — ответил Родионыч, — чтобы прямо руку с револьвером толкнуть, а в том, чтобы предупредить того, в кого стрелять собираются.

Все молчали растерянно и недоуменно, а Квятковский проговорил:

— Если таким окажешься ты, я и тебя пристрелю. Понял?

И все почувствовали: пристрелит. Всерьез пошло что-то, чему нет названия ни в одном, наверно, языке, а если и есть оно, то непременно из области религиозных распрей, то есть самых глубоких, внутренних расхождений, когда и брат брата может послать на смерть. Раскол.

И опять заговорили все разом, но уже ища примирения, согласия, общей точки. Потому что слишком много было съедено вместе деревенской соли, и если им не договориться, то кому? И решили: покушению не препятствовать, но помощи не оказывать тоже. А если кто из личных побуждений окажет, частным дружеским образом, — его дело. И разошлись, взволнованные и полные мрачных предчувствий, и, во избежание массовых арестов и облав, решили разъехаться все из города, а в самое ближайшее время —

собрать где-нибудь всеобщий съезд, чтобы решить, как жить дальше.

Но никуда не уехал Морозов, никуда Квятковский не поехал, и, уж само собой, с места не тронулся Михайлов. В последнюю перед покушением ночь они прощались с Соловьевым. Обнялись неловко, крепко пожали руку, честно сказали, что завидуют. А он сказал, что все равно не в том, так в другом виде наступит их очередь, и ему только жаль, если вдруг не выйдет ничего.

Ничего не вышло. Промажнувшись, неловко гнал-ся Соловьев за петлявшим по-военному царем и стрелял, стрелял понапрасну, покуда на него не навалились. Понадеявшись на яд, для себя не приберег пули. А яд не подействовал, да еще приехавший срочно врач устроил ему рвоту до крови, потому что следовало допросить. И никого и ничего не выдав, отправился Соловьев на эшафот.

«Земля и воля» сообщила о покушении сдержанно — дескать, был такой факт, а «Листок» описал все подробно и с нескрываемым сочувствием, и еще отчетливей пролегла в обществе трещина раскола. Что же касается репрессий, верно предугаданных всеми, то они-то последовали незамедлительно. Вся страна была разделена на семь генерал-губернаторств, и полномочия у каждого из наместников были совершенно военные.

Но от этого только возросла решимость у всех, кто с открытыми глазами затевал эту схватку, а что неравная она была — об этом никто не думал. О пользе дела думали они все и единственный теперь видели путь.

Плотно положив обе ладони на нежный бархат, сидел у барьера ложи, золотым пенсне сверкая, невозмутимый большеголовый Квятковский. Он смот-

рел зачарованно, не отрываясь, как виолончелист, почему-то отдыхать не ушедший, слабым прикосновением заставляет отвечать инструмент, что-то сладостно в его звуках выслушивая. Но вот он обернулся, Квятковский, чуть улыбнулся, сразу став привычным Александром Первым и сказал в глубь ложи безразлично:

— Насколько же, однако, я подумал сейчас, все, что мы делаем, с музыкой связано.

Никто ничего не понял, а трое говоривших не на него посмотрели, а на Воробья, который от этих слов захохотал беззвучно, закидывая голову и чуть всхлипывая даже. Квятковский тоже засмеялся, довольный и й, — он одному Морозову и говорил.

Дело в том, что месяц назад, из типографии ненадолго выйдя, чтобы глотнуть свежего воздуха, рассказал зря рта не раскрывающий Коля Бух интересный один случай с его приятелем. Тот учился в Медико-хирургической академии, только на время войны был выпущен досрочно доктором, а теперь опять доучивался. И взясь в химической лаборатории, какое-то заданное вещество получая, сообразил он, что если туда чего-то еще плеснуть или кинуть, то получится вроде бы нитроглицерин. Он из любопытства так и сделал, после чего полученное вещество понес своему преподавателю, знаменитому химику и композитору Бородину. Тот говорит: что ж вы, батенька, вы не то добавили, вы нитроглицерин получили, взрывчатое вещество, в горных работах и на войне применяемое, да и то, кстати, не совсем чистый. Чтобы совсем чистый получить, надо было так-то и так-то действовать, а вы — не совсем так. А чтобы ваше заданное вещество получить, действовали и совсем не так. Посмотрите.

не скрывая почти, что знает, для чего это может ему понадобиться. И Коля Бух незамедлительно все изложил Александру Первому.

Они сидели в садике возле Адмиралтейства. Квятковский все внимательно выслушал, адрес этого доктора взял, попросив Колю Буха еще и пару слов рекомендательных черкнуть на всякий случай, небрежно все это в карман сунул и перешел к другим разговорам. Он даже больше оживился, когда мимо их скамейки прошел седоватый мужчина с двумя дамами, которым безостановочно говорил он что-то, вежливо в обе стороны наклоняясь. Квятковский сказал Буху, чтобы тот посмотрел внимательней, потому что господин этот — специально выписанный французский сыщик, который приехал обучать тонкому ремеслу незадачливых наших филеров. И уже, говорят, по его наставлению для отдельных шпионов шьются специальные двойные пальто: их можно вывернуть наизнанку. Так что пусть Коля Бух имеет это в виду при случае.

Бух, очень серьезный человек, даже засмеялся тогда, решив, что шутит веселый Александр Первый, но, между прочим, вскоре имел возможность убедиться, что насчет француза-сыщика еще, может, и сомнительно, а про двойные пальто — полная правда.

Много лет спустя, уже после тюрьмы и ссылки, узнал Николай Бух, какую, сам того не зная, сослужил землевольцам службу знаменитый химик и композитор. Благодаря подсказке доктора, свои опыты досконально помнившего, куда быстрее отработал рецепт динамита специально ради него сидевший в Публичке над книгами неторопливый и основательный Степан Ширяев. И уже была снята квартира в Басковом переулке — отличная, на пятом этаже, в окна никто не заглянет, все дома кругом пониже, —

и в квартире этой, превращенной в лабораторию, шли сейчас опыты по производству динамита.

Мало похожим на жилую квартиру быстро оказалось новое жилье Ширяева. Стояли там две бутылки — с серной и азотной кислотой. В специальный сосуд, стоявший в ванне с холодной водой, наливалась смесь кислот в нужной пропорции. Из стеклянной банки с краном капал глицерин. Жидкость начала дымиться от самонагревания смеси — образовывался заветный нитроглицерин. Чтобы не было взрыва, охлаждали смесь, быстро бросая в воду куски льда. Все равно шли удушливые пары, от которых болел затылок и тошнило до изнурения. Потом нитроглицерин смешивали с магниезией и получали динамит в виде тестообразной жирной массы, похожей на сальную кашу для изготовления свечей. Массу эту мяли руками, хотя что-то в ее составе болезненно разедало кожу. Примешивали бензин, чтобы не было кристаллизации и преждевременного взрыва. И счастливый Ширяев мурлыкал что-то про себя, чувствовал, что началась наконец-то долгожданная жизнь. Спустя всего полтора года, совершенно случайно схваченный на квартире жены, куда придет посмотреть крохотного своего сына, скажет Ширяев на суде спокойные и безупречные слова: «В лице многих своих членов наша партия сумела доказать свою преданность идее, решимость и готовность принимать на себя ответственность за все свои поступки. Я надеюсь доказать это еще раз своей смертью». Будет ему в то время двадцать четыре года.

А запалы из гремучей ртути для будущих снарядов и мин готовил уже в лаборатории Медико-хирургической академии студент Григорий Исаев, работавший то там, то с Ширяевым на его квартире. Уже не только литературу таскал студент от землевольцев,

теперь он вместе с ними занимался порученным ему. И ругаясь поминутно страшным немецким ругательством «ферфлюхтер», — очень уж поправилось ему это слово, пристало, как банный лист, — с азартом и радостью принимал участие во всех химических опытах. Сейчас он стоял в ложе у самой стены, прислонясь тесно к барьеру, со жгучим интересом оглядывая разряженную публику. Весна стояла на дворе, почти лето, было на что посмотреть студенту, который в театр пришел впервые. Кормился Исаев еле-еле, в кухмистерской в Новом переулке, где обед — один обман желудка — стоил гривенник, а ели не раздеваясь, да притом еще одной рукой, потому что шапку, сунутую в карман, следовало придерживать: воровали. Но с лица его никогда не сходил румянец, а серые быстрые глаза почти всегда улыбались. Очень уж много было в нем игравших от молодости сил.

Два года спустя, схватив на улице, избив, чтобы сказал имя, и ничего не добившись, поставят его в полицейском участке вплотную к фанерному барьеру и пропустят через комнату всех петербургских дворников для опознания. И будет стоять он, покуривая папироску, как напишет о нем с негодованием столичная вечерняя газета, а потом сникнет от усталости, и тогда его посадят на стул, и двое городских будут держать его под руки, падающего почти, изжелта-бледного, но ничего не говорящего до самого опознания дворником дома, где снимал он с несколькими друзьями самую дешевую квартиру.

Разворачивалась во всем постановочном великолепии своим лучшими силами даваемая опера.

Они очень мало разговаривали в антрактах — вдруг возникло ощущение, что обо всем договорились уже. Было ясно, что на съезде, который вот-вот соберется, они станут держаться вместе и отстаивать

открытую борьбу, — только вот хватит ли единомышленников, не победят ли деревенщики количеством своим? А может быть, накануне общего съезда собраться отдельно всем, кто думает по-новому, с тем чтобы приехать уже с разработанной программой, приготовленными и обсужденными доводами? Перекидываясь короткими фразами, они ощущали сейчас такое единство, что и не надо было много говорить.

Морозов пожалел вдруг, что не позвал сюда Аню Якимову, она не помешала бы, зато развлеклась бы хоть немного. Они познакомились еще на Большом процессе, потом она пропала куда-то. А месяц назад вдруг бросилась к нему, когда он зашел к знакомым курсисткам, и принялась обвинять, чуть не плача от радости и возмущения одновременно, что он зазнался, стал генералом и скрывается от старых друзей. Морозов ничего не понимал и просил объяснить, в чем дело. Оказывается, Якимова уже давным-давно, сто лет разыскивала его, но никто не знал, где его можно найти, и отказывались даже расспрашивать знакомых. Так тянулось недели две, и она уже отчаялась было, решив, что такой приветливый когда-то Морозик стал теперь подпольным начальством и зазнался.

— Ох и дура же ты, — сказал Морозов.

— Сам ты нахал, что никто не знает, где ты, — возразила Якимова в сердцах и улыбнулась, как она одна могла: все лицо освещалось и округлялось, то луну напоминая в полнолуние, то подсолнух в разгар цветения.

Теперь Якимова, получив уже прозвище Баски, работала в той квартире в Басковом переулке, живя вместе с Ширяевым по подложному семейному паспорту. Уже раза три с нею обмороки были — угорала от ядовитых газов, приходилось открывать окна, рис-

куя привлечь интерес соседей, и вполне была довольна, что опять пристроилась к единственно для нее мыслимому делу. И каталась по квартире, как веселый шарик с золотистыми волосами, и обходилась без прислуги, всюду и во всем успевая.

Спустя год, когда у Гриши Исаева в Одессе оторвет случайным взрывом запала три пальца, и он, не крикнув даже, только глянув на лохмотья кожи и бьющую фонтаном кровь, скажет Баске умоляюще: «Баска, убей меня», Якимова, побледнев добела, рассмеется вдруг совсем некстати и спокойно поможет ему перевязать руку, проводит в больницу, лучезарно улыбнувшись ему вслед, а потом осядет прямо тут же и не уйдет, покуда не оторыдается.

Жаль, что не пригласили Баску, она, конечно, полностью свой человек, и, конечно, ей пора полностью доверять.

В последнем антракте Квятковский сходил в буфет и принес всем воды. Стаканов было всего два, пили по очереди. Тихомиров мудро и предусмотрительно сказал, что, поскольку раскол неминуем, надо сразу озаботиться тем, чтобы Зунделевич доставил вторую типографию. Он сейчас опять в отъезде, должен переправить через границу группу участников съезда. Среди тех, кто собирался вернуться, был Стефанович, герой Чигиринского дела, — тот наверняка займет сторону Плеханова. А Ольга Любатович как? Все посмотрели на Морозова. Он густо покраснел и сказал, что в ее мнении сомневаться не приходится. Он так уже ждал ее, что говорить спокойно не мог, и от него тактично отстали. Уже они перебрали все фамилии и варианты и очень устали — опера тоже была достаточно впечатляющей. Было что-то такое в ней неуловимо созвучное их личным переживаниям, что заставляло слушать с напряженным вниманием, 225

ища будто этого созвучия. Но ничего не находилось. Это музыка такая была, Морозов знал, но его не спрашивали. От романтической, тревожной и трагедийной музыки этой он весь напряжен был и взвинчен — даже толком за действием не следил, а слова, певшиеся слишком красиво, вообще разбирал плохо. И смотрел больше куда-то в пространство. Музыка захватывала его целиком и будто выворачивала, даря чувствами от счастья до боли, то вздымая круто, то низвергая до прямых ощущений падения. Он давно за собой знал такую податливость музыке и оттого не ходил в концерты: впечатлений и так хватало.

Было, было в этой опере что-то созвучное настроением и разговорам дня, потому что и среди публики, вытекавшей из зала в гардероб и на улицу, то и дело слышались обрывки разговоров о нигилистах-революционерах и вообще о пугающей зыбкости состояния российской жизни.

Морозов про себя, молча восхищался тем, как безупречно вел себя Михайлов. Ни разу за все это время, ни единым словом или взглядом не показал Дворник, что осведомлен полностью о настоящем положении в обществе. А между тем, был он осведомлен, Морозов и Квятковский держали его в курсе. Нарушая устав «Земли и воли», идя против всех и рискуя возмущением общим, они недавно создали в недрах общества тайную группу, кружок решившихся идти до конца под названием «Свобода или смерть». И сидевшие сейчас в театре были все членами этой боевой группы. Все, кроме Михайлова. Дворника нельзя было вовлечь в раскольническую фракцию, он фактически руководил всей «Землей и волей», он морального права не имел. А остальные — брали ответственность на себя, только за себя и отвечая. Для этого кружка и делался динамит на тай-

ной квартире. У этого кружка было членов уже человек пятнадцать, соблюдавших пока строжайшую тайну, и фактически к ним адресовался выпускаемый Морозовым «Листок». У них были даже деньги свои, притом довольно большие деньги: двое вошедших в эту группу обвенчались фиктивно, потому что за невестой давали приданого ничего не подозревавшие родители — двадцать тысяч. Деньги эти были уже получены.

(Кстати сказать, брак этот, как было с большинством фиктивных браков, скоро перешел в фактический. Молодожены действительно полюбили друг друга, а скоро и отошли от движения. Так что родители не напрасно радовались счастью дочери. Ни она, ни муж ее словом не заикнулись об отданных на революцию деньгах. Были искренне счастливы, что могли принять участие хотя бы таким образом.)

И потому о предстоящем общем съезде не очень-то беспокоился Морозов. Что бы теперь ни решило собрание, уже существовал боевой кружок единомышленников, имевших динамит, деньги и документы. А притом еще и доставшуюся в наследство от южан печать неуловимого (оттого, что не существовавшего) и грозного Исполнительного Комитета.

Глава третья

Михаил Фроленко, твердоплечий, очень спокойный, флегматичный даже несколько, один из немногих уцелевших чудом южных бунтарей, возвращался из Петербурга в Одессу. Он ездил, чтобы поговорить подробно и неторопливо с центром, а точнее — с Михайловым, на которого полагались все

и к которому прислушивались с готовностью, хотя никаких приказов он ни разу не отдавал никому, а наоборот — старался, чтобы все решали сами на местах. Но выяснить и обговорить дела настала существенная необходимость: надо было решить, продолжать ли слежку за губернатором Тотлебенем, приговоренным к смерти за сотни высланных им из России в Сибирь без суда и следствия. Казалось бы, чего тут: приговор следовало исполнять, удачей казни губернатора Кропоткина и бессильным вокруг нее шумом властей и розысками гордились изрядно и по заслугам. Но так ничего не изменилось после этого, настолько все осталось по-прежнему, а отчасти сделалось хуже, что бессилие почувствовали даже те, кто добивался перемен. И послали Фроленко в Петербург спрашивать тех, кому с горы виднее, а лучше — самого Михайлова, не поговаривают ли у них то же самое, что в Одессе — чуть не всякий обыватель, от страха, вроде зайца, обретающий ярость и злость: дескать, не туда стреляют господа революционеры, надо бы в царя стрелять, потому как истинный всему одобрителю и зачинщик — он.

Интереснейшую весть привез Фроленко, и об этом долго говорили Морозов с Тихомировым, оба охочие до раскопки корней и выяснения истоков. Михайлов, слушая их, помалкивал с интересом, потому что обладал в полной мере обязательным свойством человека мудрого и талантливого — не скрывать и не стесняться своего незнания, если действительно чего-то не знает. А эти двое, то ли в гимназии, то ли за долготлетнюю отсидку в камере начитались столько и такого, что странным вообще казалось: как же они говорят что-то сами, рассуждают, как они это ухитряются делать, столько прочитав книг, в которых все уже загодя расписано? Вот и теперь они сыпали

друг другу цитаты, имена, названия и мысли из невообразимой смеси книг — это Михайлов уследить успевал вполне — по психологии, философии и социологии. А когда чуть теологии коснулись, оба явно приостановили поток, а Михайлов легко вмешался, потому что библия у него на столе постоянно лежала — не для виду, и закладка по ней то и дело гуляла в разные стороны. Они пытались выяснить, два этих худых мудреца, из какой науки проще натаскать цитат для объяснения того поистине загадочного факта, что мысли всякие, устремления и вообще идеи вдруг сами по себе будто бы созревают и оформляются в одно и то же время в совершенно разных, друг от друга удаленных местах и в головах невообразимо разных людей. Иногда — у целого множества. Просто осеняют, и все, и оказываются тесными единомышленниками люди за тысячи друг от друга километров.

А Фроленко в этом споре вообще совсем не участвовал, будто его не было, спора. Спокойно, с приветливостью посматривал — глаза у него были, не в пример повадкам, очень быстрые, как и движения, правда, если было надо. Но сейчас можно было не спешить, и Михайло свое имя оправдывал вполне и со вкусом. Трудно было предположить, что это он, гоня как бешеный водовозную смирную клячу, ловко украл из-под ареста среди бела дня Костюрина. Это он поступил работать в тюрьму, а там, за услужливость и усердие произведенный из сторожей в надзиратели, вывел однажды ночью сразу трех заключенных чигиринцев во главе со Стефановичем, и те скрылись за границу. Слава о нем ходила по югу: если где не получается что-нибудь, надо позвать Фроленко. А споры были — не по его части, хотя он сразу понял: у питерцев мысли те же. И обсуждают

сейчас Воробей со Стариком одно лишь: каким образом вдруг повсюду множество разных людей заговорили одно и то же: основная препона — царь, его и следует убирать. Никак они, вроде, понять не могли, почему сразу всюду появилась эта идея, для Фроленко сама собой разумеющаяся на сегодняшний день. Чего там спорить, отчего это вдруг осеняет всех повсюду одно и то же. Осенило ведь — вот что главное.

На предварительный съезд он предложил позвать еще двоих, за которых ручался, как за себя: Андрея Желябова и Николая Колодкевича. Первого из них помнили по Большому процессу, на котором он был оправдан и выпущен: как же его звать только, он ведь ярый народник и сразу же уехал в деревню? Но Фроленко, улыбаясь не без хитрости, сказал, что времена меняются, — ведь и вы, господа, еще вчера были ярые народники, а сегодня вас и не узнаешь.

И теперь он ехал в Одессу, чтобы пригласить двух этих своих приятелей. Ехал, неторопливо и с пониманием обсуждая с попутчиками, что жизнь и впрямь нелегкая и за все дерут бешеные деньги, а где-то, говорят, и просто голод. Оживился очень, когда рассказали ему слух, кем-то пущенный, что будто русский царь согласился отдавать царю английскому наших деревенских девок, потому что в Англии нехватка женского народа, на семь молодых мужиков приходится одна ихняя баба. А то, что будут от матери отрывать ее дитя родное, так чего же тут необыкновенного: берут же парней на воинскую службу. Да притом это и для России очень выгодно, потому что наши девки станут насаждать там христианскую веру.

А сошел Фроленко в Орле, потому что кроме Желябова и Колодкевича должен был заехать в одно

имение недалеко от города и предупредить о съезде еще двух верных людей: Александра Баранникова и его жену Марию Ошанину.

Учился в Петербурге в Павловском военном училище друг детства и юности Михайлова, стройный красавец-силач Александр Баранников. От матери-грузинки унаследовал он глубокие диковатые глаза, иссиня-черные волосы и смугловатую матовость лица с неуловимо нерусскими чертами. От отца — стройность, силу, упрямство. А всем, что за душой у него было, мировоззрением своим и самим настроем ума, обязан был он Михайлову, чего никогда и не скрывал. И однажды ротным командиром его получено было письмо о том, что не выдержал воспитанник Баранников невыносимого душевного разлада между военной службой, к которой принудили его родные, и своими штатскими наклонностями и счел поэтому за лучшее — оборвать неудавшуюся жизнь в Неве. Жизни этой было девятнадцать неполных лет.

И на берегу Невы, действительно, в тот же день, аккуратно сложенная, найдена была казенная форма. Покуда ее Баранников снимал торопливо, двое друзей держали наготове — чтоб на грязную землю не класть — штатский костюм с уже вложенными туда новыми документами.

И появился новый человек. Он работал батраком, грузчиком, косарем, рыбаком, молотобойцем — делал что приходилось, когда все пошли в деревню, а с недавних пор приметы его замелькали в полицейских донесениях, уже по иным поводам. Когда Кравчинский поразил Мезенцева кинжалом, то спутник Мезенцева кинулся вслед за покушителем, но его остановил немедля выстрел какого-то жгучего брюнета, одетого тоже весьма прилично, вмиг уехавшего на том же рысаке. Когда под Харьковом освобождали

отвозимого в каторжную тюрьму Войнаральского, то пролетку с жандармами остановил властным окриком и тут же стал по ним стрелять какой-то стройный мужчина в офицерской форме, ладно и привычно на нем сидевшей. Ни того ни другого найти покуда не удалось.

А сама Мария Николаевна — Ошанина по первому мужу, красавица, его на несколько лет постарше, умная не по-женски (сам Тихомиров, бывало, часто и уважительно с ней советовался), та мечтала, как о счастье недостижимом, чтобы возник в столице настоящий тайный заговор — такой, как она в романах читала о времени французской революции; и, чтобы в нем поучаствовать полной мерой, она бы ничего не пожалела.

Эти двое встретили Фроленко объятьями и приехали в назначенный Липецк задолго до намеченного срока. А Михайлов поехал дальше.

Андрей Желябов тоже согласился почти сразу. Это был уже не тот человек, что всего шесть лет назад, когда Чудновский пригласил его в кружке участвовать, попросил три дня на раздумье. Он теперь кипел жадой во что-нибудь свою энергию вложить, и на царубийство согласился быстро. Но, спохватившись, сказал: согласен на единичный факт. Потом оставляю за собой право больше в насилии не участвовать. Зря он это говорил. Тем более Михайле Фроленко. Во-первых, никто еще никогда и никого не заставлял продолжать участие, это вам не нечаевские боевые группы, а во-вторых, чего заранее спорить, уж Фроленко-то знал, как засасывает такой азарт.

Николай Колодкевич, только с виду спокойный да усмешливый, — отчаянная голова, хоть и х и л ы й, — тоже согласился сразу.

И приехало, таким образом, в Липецк одиннадцать доверенных людей. Липецк выбрали потому, что рукой подать до Воронежа, где предстоял через четыре дня общий съезд, а также — город многолюдный, курортный, повсюду известный своими железисто-минеральными водами, торфяными и ароматическими ваннами и кумысом. В летнем притоке отдохавших — кто по болезни действительно, а кто просто время провести — были незаметны и естественны любые молодые люди.

На Липецкий съезд привез Морозов новую программу, им составленную, Дворником и Квятковский подправленную, и устав того нового общества, которое незамедлительно стало бы действовать, произойди в Воронеже разлад и раскол.

Извозчики охотно отвезли молодых господ за город, далеко через пески и болотистую низину в лесок возле покуда закрытого загородного ресторана, и недоумевали только, почему у таких веселых баричей на десять мужиков — одна женщина. Но господские прихоти — не их дело, и, получив по приезду на место закусок и очищенной, расселись они ожидать, пока клиенты отгуляют свое. На господском языке называлось это — пикник, и господа были приятные, незаносчивые. А один, от молодецкой силы играючи, поднял, с кем-то поспорив, пролетку с седоками за заднюю ось. Известное дело, харч хороший, и работой тоже не ломаные. За выпивкой и обсуждением подробным всех, кого доводилось сюда возить, время короталось незаметно.

А клиенты их нашли в леске несколько поваленных деревьев и тоже уселись, расстелив скатерть с закусками. Начали они сразу же, теперь были одни свои.

Программа морозовская, хоть и была она уже правлена и дополнена, разлетелась немедленно в пух и клочья. Все говорили разом, как водится, не то чтобы друг друга перебивая, но по большей части и не слушая. Из общих этих слов, однако, ясно было общее главное: исключительная морозовская склонность следовать Вильгельму Теллю протестов ни в ком не вызывает, но при этом и от прежних планов — воздействовать все-таки пытаться на студентов, на общество, на народ — тоже отказываться не след. И прекрасно проявил себя, очень скоро, ярко и с великой пользой проявил, новичок Желябов. Каждого выслушав, он так его слова повторял, что вроде бы то же самое было, однако теперь уже и с остальными согласное. В результате разработана была и подробно изложена цель борьбы: достижение такого внутреннего положения в стране, чтобы стало возможно свободное устройство самим народом всех своих экономических взаимоотношений. Что сделано это будет на основах справедливости и равенства, никто из собравшихся не сомневался. Себе же они ставили задачей — добиться этого народоправства, ни политической борьбой не брезгая, как раньше, ни от конституции не отказываясь, если удастся ее добиться, ни о широкой пропаганде в городах и селах не забывая.

Потом обсуждали устав Исполнительного Комитета, той новой организации, что должна была сразу явиться готовой, коли не станет «Земли и воли». По уставу в Исполнительный Комитет принимался только тот, кто все имущество и саму жизнь отдавал делу безвозвратно. Потом шли пункты конкретных условий приема. Потом говорилось об обязательстве отказываться в случае ареста от всяких показаний и уж никак не именовать себя членом Комитета, ибо Комитет — неуязвим и недосягаем.

Вводилось строгое подчинение — на этом настоял Михайлов, давний ревнитель дисциплины (за что его, прекратив временно называть Дворником, — Чиновником, полудразня, именовали между собой. Но вернулись к Дворнику, потому что любили очень). Сотрудничавшие с Исполнительным Комитетом становились его агентами — первой, потом второй степени. Сам член Комитета должен был себя называть только агентом третьей степени. Порядок этот предложил хитрый Тигрыч: чтобы из непосвященных, из агентов первой степени никто не мог догадаться, сколько степеней надо еще ему пройти.

И все это было здорово похоже, думал Морозов, вводимой иерархией недовольный, а потому отсеяв немного и чуть со стороны глядя на возбужденные лица, — здорово похоже было бы на детскую какую-то игру, в которую играли полувзрослые люди, если бы за каждым из них не стояла уже незримо обеспеченная каторга, а для иных — виселица даже. А другой жизни для них не было, и возьми их сейчас всех и просто вышли за границу — умрут, как попав в неволю. Потому что собственную невозможность жить, задыхаясь среди молчаливого рабства и несправедливости во всех ее видах, собственную эту боль странным образом слили они с общей. Будто за все насилия и бесчеловечности, совершавшиеся в стране, совесть болела — у них. И они будто от собственной боли избавлялись, помышляя о собственном душевном облегчении. Морозов, думая все это, смотрел на них, и сердце его сжималось от такой любви и преданности, от такого счастья, что он с ними — оттого их и мало так, что особенные, — что он снял очки деловито и долго-долго протирал их, в споре ни сколько не участвуя.

Дообсудили устав на следующий же день. Лесок 235

пригодный нашли себе в тот день сами, и тогда же выбрали Распорядительную Комиссию, в которую вошли трое: Михайлов, Тихомиров, Фроленко.

Тихомиров отказывался. Дело в том, что сначала полагали: эти трое ни в одной подготовке факта принимать участие не будут, чтобы обществу не растерять свое руководство. А Тигрыч до того уже, оказывается, созрел для дела, что хотел во что бы то ни стало принимать участие сам. Но ему возразил Дворник: во-первых, ничего не получится, все равно ясно, как пить дать, и я, и Михайло, все мы будем участвовать в деле, иначе людей просто не хватит; а во-вторых, Тигрыч, тебе все равно не суждено работать руками, потому что у тебя — голова. И все засмеялись одобрительно и согласно, потому что следующей выбиралась редакция, и больше кому в ней быть, кроме Старика и Воробья. И еще Морозов оказывался как бы секретарем при этой руководящей троице, потому что архив по-прежнему оставался на нем и хранителем печати Исполнительного Комитета был он, и вообще был в курсе всего. Как и подобает хранителю архива.

Все было прекрасно и легко, стояла полная июньская теплынь, к середине дня сменившаяся зноем, и Морозов, долго молчавший, вдруг потянулся сладко и сказал громко-громко:

— Господи, ну и жарница, а? В такую жару хорошо быть подпольщиком.

И все засмеялись в голос нехитрому каламбуру этому, для них такому буквально точному, с радостью засмеялись и облегченно: уже не очень страшно было теперь за исход Воронежского съезда. Потому что готова была новая организация, возникающая незримо из кружка «Свобода или смерть». И два только мелких наблюдения травили Морозова в эти дни,

настолько мелких, что самому себе было стыдно в них признаться, а они саднили чуть и портили настроение напрочь, как умеют только мелочи.

Первое наблюдение — за киевлянином Гольденбергом. Обычно словоохотливый, болтливый даже, он сначала был молчалив, преданно робея Михайлова и почтительно отчего-то робея Желябова. Потом разговорился немного, и тут Морозова кольнула неприятно и надолго их с Гольденбергом еле уловимая похоть, будто Гришкины возбужденные толки о терроризме и борьбе пародией были, тонкой пародией на романтические и пылкие выступления Морозова о том же самом. И хотя не трусы были оба, и слушали их всерьез, потому что кроме прочего всего оба готовы были в любой нужный миг поставить жизнь на выстрел — это чувствовали и признавали все, но было все-таки в Гришкиной воспаленной настоятельности что-то, морозовскую линию неуловимо компрометирующее. И это Морозову тайно было неприятно, тем более, что показалось раза два: и Тигрыч, мудрец хитрый, это тонко чувствует и на Воробья соболезнающе глядит.

А второе было просто стыдно: Морозов ревновал Михайлова. Прямо вот ревновал, как когда-то всех девиц, в кого влюблен был по очереди, неизменно ревновал к кому-нибудь из присутствующих. Михайлова он ревновал к Желябову. Этот новичок, приехавший в уже созданную организацию — небось, не знает еще даже, что уже и динамитная мастерская работает, — сразу так плотно, и прочно, и уместно вошел в их группу, так сошелся сразу с Михайловым (да, они ведь еще на юге виделись, Дворник ездил по денежным делам), что казался его напарником или братом. Тихомиров тоже это заметил, тоже, небось, ревнует, и ведь радоваться надо вроде бы, что полку

так удачно прибыло, а в глубине души — едкая обида, как в мальчишестве — от невнимания отца.

Ладно, переживем и свыкнемся, завтра тут последний день.

В этот день — зачем ему понадобилось это? почему показалось необходимым? — Александр Михайлов произносил обвинительную речь против российского самодержца Александра Николаевича. Справедливости ради, как и следует в настоящей обвинительной речи, он перечислил аккуратно и подробно все его заслуги перед русским обществом. Начав, естественно, с отмены крепостного права, перечислил реформу суда с введением присяжных и начало земского самоуправления, отмену телесных наказаний и военные всяческие преобразования, полное отдание университетской жизни на усмотрение выборного совета профессоров, допущение женщин к высшему образованию и отмену даже налога на соль. Ничего не забыл из того, что могло идти в заслугу царю. А потом сделал паузу и сказал: а в результате превратил Александр Второй пореформенную Россию, пользуясь словами известного историка, в «недостроенное и неудобное жилище, где почти одинаково плохо чувствовали себя и друзья, и враги нововведений». И перешел к перечислению пунктов, по которым обвинялся царь. Никто не думал даже, что их может набраться такое впечатляющее множество. Он перечислял не только тюрьмы, высылки и казни, не только преступное обирание и насилие в городе и деревне, но прибавил сюда и сам ущемляемый дух народа, кляп во рту запуганной интеллигенции. Неопровержимо получалось из его слов, что железная рука недалекого, но самодержавно всевластного человека этого — на горле российской жизни. Заслуживает ли, в таком случае, прощения при сопоставлении добра

и зла, допущенного им, этот Александр Николаевич Романов? — спросил вдруг Михайлов, будто прервав еще могущий длиться поток обвинений в его адрес. И слушатели, как заипнотизированные, сидевшие неподвижно, для себя самих неожиданно ответили горячим хриплым хором: «Нет!»

И поняли — для самих с е б я , — что затея эта была не напрасной. Если и были у иных какие-нибудь внутренние колебания, то теперь их не стало вовсе, только решимость была и нетерпение.

Той же ночью они двинулись в Воронеж. Он был тоже выбран из-за многолюдства. Кроме того, что населенный был губернский город, еще стекалось сюда каждое лето множество богомольцев — в знаменитый Митрофаньевский монастырь, где хранились, к вящей славе города и надежде пилигримов, нетленные мощи святого Митрофания. (Узнав это, кстати, заволновался вдруг Тихомиров, все порывался у кого-нибудь спросить: Митрофан и Митрофаный — это один ли и тот же святой? А потом принес ему коридорный мальчик в гостинице поименный подробный месяцеслов, что-то почитал Тигрыч и успокоился. А в Воронеже ходил в монастырскую церковь.)

В Воронеже их было человек двадцать, и они так давно все не виделись, что Морозов перестал бояться исключения из общества за призывы свои к политической борьбе, только ожидал, как поведет себя главный ее противник — Жорж Плеханов. Места были присмотрены уже: годился Ботанический сад с его сокровенными тесными уголками и предместье города вниз по реке Воронежу. Начали, собравшись, с того, что приняли в общество новичков. Это все были известные люди, речь шла о формальности вступления, и покончили с ней очень быстро.

Выступать же одному из самых первых выпало теперь Морозову, потому что должен был он прочесть всем предсмертное письмо из тюрьмы, присланное Валерианом Осинским. И, встав, он прочел его. Это было настоящее письмо настоящего человека: в ночь перед виселицей он заботился о друзьях и общем деле. И единственное, самое важное, дважды повторил, как заклинание: «Желаю вам, дорогие, умереть производительнее нас».

Глаза у всех с самого начала чтения напряглись заметно и покраснели, а над скулами заиграли желваки.

Женщины плакали не скрываясь, только Соня Перовская старалась опустить голову пониже, но руками тоже не заслонялась.

Это чтение завещательного письма сразу сказало, когда начали пересматривать программу. Никто не хотел отказаться от прежних пунктов — о необходимости экономически раскрепостить народ, для чего вызывать его на любые виды протеста. Но никто и не возражал особенно против продолжения дела, начатого Засулич, Кравчинским и Соловьевым, и прежний пункт программы — об устранении особо вредных агентов власти — дополнили необходимостью кары особо отличающимся верховным деятелям. Все понимали, что на политическую борьбу и работу в деревне одновременно слишком мало людей и средств, но не в силах был никто, не в силах отказаться от хотя бы на бумаге пока записанной решимости отомстить за погибших. И чтобы это настроение переломить, встал Жорж Плеханов, самый ярый противник новой линии, и вытащил из кармана заготовленный заранее третий номер морозовского «Листка». Вот оно, Воробей, начинается — можно было прочесть ясно во взглядах Михайлова и Тихомиро-

ва, обратившихся мгновенно к Морозову. Воробей напрягся внутренне, но сидел, однако, виду не подавая.

— Эта статья, — сказал громко Жорж своим голосом звучным и отчетливым (так он говорил и у Казанского собора три года назад, когда в честь появления своего организовала «Земля и воля» демонстрацию, кончившуюся дракой с городовыми и пожелавшими размяться молодыми купчиками. После чего и кличку получил — О р а т о р). — Эта статья, — повторил он, — показалась мне чьей-то фальшивкой, так неприемлемо для нас все написанное в ней. Кроме того, я эту статью в рукописи не видел, а мы договаривались с Морозовым, что основные статьи своего «Листка» он будет все-таки показывать остальным членам редакции «Земли и воли».

— Я к тебе два раза приходил, — живо и громко возразил Морозов. — И не заставал дома. Больше просто нельзя было ждать.

Он говорил правду. Он всегда говорил только правду. Он возвел это в принцип и почитал за честь. И сейчас тоже сказал правду. Прекрасный, когда ему этого хотелось, конспиратор, с головой окунаясь, когда хотел, в эту игру — даже сам Дворник, однажды учинивший за ним контрольное наблюдение, был им замечен, после чего Морозов как сквозь землю провалился, к радости и досаде Дворника, — он употребил тогда все свои в этом деле способности. Вовсе не составило труда выследить, как Жорж Плеханов, то в нехитром потертом пальтеце с воротничком из рыбьего меха идет к своим рабочим куда-то, а то выложенный, как молодой адвокат, вышагивает по легальному делу. А выследив, чуть пройдясь за ним, как занятно было вернуться, дернуть неторопливо звонок в пустую квартиру, послушать дребезжание,

потом шаркающие шаги хозяйки, вот уже засовы скрипят — «дома?». И уйти, огорченно головой покачивая, наказав почтительно, но твердо, чтобы непременно передала: заходил к нему товарищ и не застал. Потому что, если бы застал, шума не миновать бы, целый скандал учинил бы сторонник мирных методов мудрый и сведущий Жорж, ни за что бы не дал напечатать. И пустое, что «Листок» — морозовский, он бы так кричал, что ему бы уступили, конечно. А тут не застал, и баста, очень жаль, конечно. Хотелось посоветоваться.

— Два раза! — повторил Морозов.

Он уже не для Плеханова это повторил, а для умирающих от беззвучного и снаружи никому не видного смеха Дворника и Александра Первого. И Михайлов, и Квятковский понимали прекрасно, что тут была за хитрость, но, Воробья зная насквозь, могли бы сейчас сами, если спросили бы, поклясться в подтверждение: раз говорит — заходил. Морозов никогда не врет. Только под очками у него такие зайчики прыгали, что он, очки сняв, обстоятельно протер стекла. И Тихомиров вдруг — ну, Тигрыч, ну, помог, вовек тебе, Старик, не забуду — сказал отчетливо и веско:

— Мне Морозов показывал весь этот номер! И возражений у меня не было! — И умолк так же резко, как вступился.

— Это, впрочем, уже неважно, — сказал Плеханов чуть огорошенно, но так же напористо. — Другое важно: суть того, что здесь написано. С этим, что же, все согласны? Я прошу Морозова прочитать вслух эту его передовую.

И у Морозова был с собой этот номер. Прочтет, отчего же отказываться. И он, встав, прочитал раздельно и выразительно:

— «Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она становится цельной, нераздельной силой; только тогда она поднимается на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собою массы. Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов»...

Он читал громко и отдельно; главную мысль — что «политическое убийство — это осуществление революции в настоящем» — с особенным выражением прочел, глубоко вдохнув воздух, пахнувший цветами и летним лесом, а Плеханов неотрывно следил за чтением по своему листку. Потом опустил его и оглядел всех, ожидая возгласов возмущения.

Все молчали. Даже дыхания не было слышно в раскаленной тишине июньского дня. Потом шумно выдохнул воздух Фроленко и сказал громким баритоном:

— А что? Написано очень лихо.

Все молчали по-прежнему, только дыхание теперь стало слышной. Хмурились озабоченно двое деревенщиков, что-то соображая, но ничего не говорили вслух.

— Если так считают все, — резко сказал Плеханов, — мне здесь нечего больше делать.

И, подхватив с торчащей ветки свой пиджак, стал решительно и быстро удаляться между деревьями. Все еще молчали, переглядываясь.

— Но, господа! Надо же его догнать и вернуть! Что вы?!.. — воскликнула Верочка Фигнер со слезами в голосе, вскакивая.

— Не надо! — вдруг очень громко и очень твердо сказал Александр Михайлов, и трое деревенщиков, нерешительно привставших вслед Жоржу, так же нерешительно опустились опять на свои расстеленные пиджаки. Никому не хотелось разъединения.

И Плеханов, правда, тоже никуда не уехал. Он, конечно, больше не приходил оставшиеся три дня, когда все спорили и договаривались друг с другом, ища основу согласия, но ему исправно излагали по вечерам соратники все, что происходило днем.

Договорились, что все остаются вместе. Выбрали администрацию — центр: все равно туда вошли Михайлов и Фроленко; выбрали редакцию газеты: все равно там оказались Тихомиров с Морозовым. И помнили, все время помнили приехавшие из Липецка, что уже есть на самом деле Исполнительный Комитет, так не сподручней ли остаться в его составе? Но действительно страшно было терять друзей, их ведь и так была ничтожная горстка на многомиллионную молчащую страну.

Воронеж покидали группами по двое, по трое. Морозов спешил уехать. Теперь он особенно жалел, что не успела появиться из-за границы Ольга. Он спешил в Петербург, чтобы повидаться скорей и чтобы поселиться вместе. Он любил. Еще в последний день в Липецке он остро и счастливо вспомнил, ощутил внезапно, что он любит и любим. Он внимательно слушал речь Михайлова, и она казалась ему прекрасной, лучшим из того, что ему доводилось слышать. Он смотрел на лица друзей и не понимал, как могут люди жить, не зная и не видя этих лиц. Сам летний день был исполнен такой красоты и значимости, все доносившиеся звуки были настолько гармоничны и чисты, а краски зелени, воды и неба — так ярки и насыщены, что даже несимпатичное обычно

зрелище потных и галдевших больных, сладострастно и доверчиво пивших у источников будто бы целебную воду, представилось ему тогда вполне естественным, заслуживающим участия и сострадания.

* *

*

В этот день Ольга Любатович переходила границу. Конец мая она прожила в крохотном домике под скалой посреди соснового бора. Склоны горы были усеяны нарциссами, природа дышала тишиной и невозмутимым вековым покоем. Это был пригород небольшого швейцарского городка, и вокруг не было ничего, что даже напоминало бы о предстоящей через неделю в России заведомо обреченной жизни. Они жили в одной комнате с Верой Засулич, которая тоже собиралась обратно в Россию, а к обеду за разостланную на траве скатерть садился Кравчинский и спустились с чердака несколько других, живших там же в ожидании проводника домой. Кравчинский скоро уехал — должна была рожать жена, и Ольга писала по несколько часов в день историю студенчества в Цюрихе и все, что знала о друзьях по процессу пятидесяти. Горная гостиница рядом была им не по карману, это отчего-то очень веселило их, и месяц май остался счастливым и светлым воспоминанием в ее жизни.

Потом появился энергичный и какой-то распахнутый весь, дышащий доброжелательством и уверенностью хозяин границы Арон Зунделевич, и они тронулись в путь. День и еще ночь они ехали в битком набитом вагоне четвертого класса, ели соленые консервы из буйволиного мяса, все время хотелось пить, было жарко и душно, да еще сидевшие рядом с Зунделевичем еврей-контрабандисты вежливо, по

неотразимо выясняли, что он везет. Ольга испугалась было, но предусмотрительный Зунделевич вдруг раскрыл свой чемодан, и там оказалось множество манишек, воротничков и какой-то еще немислимой и непонятной галантереи. Проговорив на жаргоне что-то отчетливо презрительное, контрабандисты принялись поучать Арона, мешая русскую речь с еврейской и вставляя польские слова, а он обстоятельно и с уважением возражал.

— Они говорят, что это не товар и я непременно прогорю, — сказал он Ольге, улучив минуту. — Но я набрал все это возмутительно дешево на какой-то распродаже уже прогоревшего, кажется, галантерейщика. Они рекомендуют мне столько занятий, что не хватит жизни.

— Нет, ты, конечно, и с этим не прогоришь, — сказала она заботливо.

— Ты думаешь? — спросил он.

С ними ехал Яков Стефанович, решивший вернуться к активной деятельности и еще в пути снова заговоривший о возобновлении чигиринской авантюры.

— Знаешь, — сказал ему Зунделевич. — Я против всякого вранья. Чего-то я, конечно, не соображаю, но с детства знаю одно: единожды солгавшему, кто тебе поверит? Никто. Меня так учили еще в хедере, и это правило меня не подводило. Вы все построили на обмане, а на нем — плохое строительство. Песок и вода — и те лучше. Один-единственный раз из сотни подведи я пограничников и контрабандистов, и все мои связи рухнут через три дня — с минуты, когда до последней очередной корчмы дойдет первый же рассказчик о моем обмане. А вы ведь не границу переходите, раз и до свидания, вы людей на смертную войну поднимаете, как же здесь можно врать? А если

тебе начнут врать друзья ради какой-то их прекрасной цели? Нет, плохое дело и плохо пахнет.

Стефанович смертельно обиделся, всю дорогу молчал, его тонкое странное лицо польской выделки дышало неприязненной замкнутостью. Только под самый конец дороги он слегка отошел и, явно опасаясь перехода, стал шепотом расспрашивать Зунделевича, что им сейчас предстоит, но Арон таким же шепотом сказал ему, наклонясь, чтобы слышала Ольга:

— Ты по-еврейски говорить можешь? Нет? А хотя бы с еврейским акцентом, но не как поляк-антисемит — можешь? Тоже нет? Тогда предоставь дело мне и не сомневайся. Меня тут знают все и ни разу за три года не подводили. Потому что я их не подводил, — не удержавшись, добавил он.

Переход оказался до разочарования простым. Пройдя по какой-то узенькой тропке, петлявшей по опушке березовой рощи — чем-то неуловимо нерусской еще березовой рощи, подумала Ольга, — они вышли к пограничной караулке. Толкнув дверь хозяйским движением, Зунделевич вошел первым. Посреди пустой избы стоял высокий молодой солдат, держащий в одной руке початую бутылку водки, а в другой — стакан.

— Здравствуй, Семен Михайлов, я пришел, как условились, — сказал Арон, доставая из кармана бутылку с какими-то затейливыми ярлыками и красной жидкостью. — Это тебе сверх платы вместо твоей зеленой гадости.

Солдат, качнувшись, пристально всмотрелся в Ольгу, повязанную платком, и Стефановича в белом картузе.

— Да неужто ж ты еврей? — спросил он Стефановича.

— Почему нет? — вдруг очень правдоподобным тоном ответил тот.

— Да что ты его не помнишь, что ли, еще недавно мы у тебя проходили, это же брат мужа моей сестры, — сказал Зунделевич. — И его жена.

— А мне черт с вами, кто кому к т о , — сказал солдат и плеснул в стакан водки, протягивая его Стефановичу. — Пей! — прикрикнул он. Тот отхлебнул.

— Ну в с е , — сказал Зунделевич. — Мы пошли. Счастливо тебе оддежурить, я через неделю теперь пойду.

— Ступайте, — солдат махнул рукой и отвернулся к столу, где плавали в миске бурые малосольные огурцы. Ольга смотрела во все глаза, ей было интересно, вовсе не страшно, и даже мелькнуло сожаление, что послушалась и не взяла с собой рукопись, — теперь она, наверно, пропадет.

Быстро идя к станции, Стефанович спрашивал невозмутимого Арона:

— А это что ж не вранье, не обман, что ты нас объявляешь родственниками?

— Не строй из себя дурачка, — дружелюбно сказал Зунделевич. — Это же такие игры, я мог тебя хоть великим князем назвать, а то жизнь. На обмане строишь, обман получишь. А! — Он махнул рукой, и остаток дороги до станции они молчали.

В Петербурге было пусто и тихо, на знакомой квартире в Лесном жила одна Соня Иванова, только что бежавшая из Архангельской ссылки, и ждал Ольгу конверт от Морозова. Он звал ее в Липецк и Воронеж, если она успеет, но они приехали днем позже срока и потому просто решили ждать. Дня через три все начали съезжаться — возбужденные, посуровевшие, будто вдруг заново ощутившие серьезность всего, что затевали.

Они не объяснялись с Морозовым, не кидались обнимать друг друга, даже поцеловались дружески-отчужденно. Но просто, как об уже договоренном, Морозов попросил у правителя их «небесной канцелярии» изготовить два паспорта на мужа и жену. Тем более, что и квартира была уже им присмотрена. Отличная квартира на Знаменской площади, откуда равно удобно было ходить во все концы города.

* * *

*

Николай Бух, бессменный типографский работник, высказал желание тоже вступить в общество. Принимать его приехал Морозов.

— Вот что, тезка, — без обиняков сказал он ему дружески откровенно, — всю эту китайскую церемонию, на которой так настаивает Дворник для торжественности, я над тобой совершать не буду. Нечего тебе читать по пунктам вслух программу и устав, ты их и так знаешь. Захочешь — вот прочти. Только мне скажи одно: согласен ли ты, что надо революционным путем добиваться трех заповедей — не убей, не укради и не эксплуатируй?

— Конечно, — сказал немногословный Бух.

— И что они тесно связаны, тоже наверняка понимаешь. Признаешь ли ты, что преступно и безнравственно жить спокойно и ждать, пока они сами осуществятся?

— Безусловно, — сказал Бух.

— А что ты готов жизнь на все это отдать, ясно из твоей работы в типографии. Так что поздравляю тебя с принятием.

И Морозов, встав, крепко пожал Буху руку.

— Только не удивляйся, тезка, — сказал он. — Дня через два приедет еще к тебе целая комиссия.

В типографии-то ведь никто не бывает, так что они не столько принимать тебя приедут, как знакомиться.

— И говорить что-нибудь надо? — встревоженно спросил Бух.

— Ничего! — рассмеялся Морозов. — Молчи как рыба, если хочешь. У тебя лицо выразительное.

— Слушай, Морозов, — сказал Бух медленно, — а мы все-таки вместе будем или раскол все-таки, а?

— Пока вместе, — сказал Морозов, скривившись, и так выразительно почесал себе затылок, что оба понимающе рассмеялись.

Достигнутое единство оказалось зыбким, кажущимся, невыносимым. Почти каждый день возникали новые споры. Приехавший Яков Стефанович, поочередно разговаривая с каждым, добивался будто бы согласия, но потом выяснилось, что только обострял разлад, настраивая, наговаривая и намекая. Под его влиянием хозяйка типографии Крылова решительно заявила, что ничего, относящегося к террору, отныне печатать не будет, хоть увольте. Возникли неприличные, натянутые, фальшивые отношения, каждый что-нибудь таил от других, будто умелая рука разлаживала и разъединяла. Стефанович хотел собственной организации. Плеханов ходил обиженный и отчужденный. Михайлов ко всему присматривался внимательно и просил пока не горячиться, если к нему приставали с выяснениями. Морозов помалкивал тоже, потому что знал: что бы ни совершалось в отношениях, а в Троицком переулке у известных в городе Пяти углов с утра до вечера гонится сейчас динамит. До сентября не прекращалась работа. Сначала надеялись, что будет динамит из-за границы, и Зунделевич его купил, но впервые в его практике что-то там сорвалось, кто-то недоплатил кому-то, и

таможенники конфисковали весь груз. Ширяев, Якимова и Исаев сказали тогда, что черт с ней, с заграницей, сделаем сколько надо сами. В сентябре было готово шесть пудов, девяносто шесть килограммов динамита, качество которого позднее было признано экспертами на суде первоклассным. Делались запалы и капсулы, изобретался спешно тот вид метательного снаряда, что сам по себе был чудом, не зря потом то Ширяев, то Исаев по-мальчишески хвалились на следствии и суде, что придумали эту конструкцию самостоятельно.

И еще к ним один присоединился — флегматичный и невозмутимый, вечно погруженный в себя Николай Кибальчич. В свои двадцать с небольшим лет он выглядел далеко за тридцать, жутко похожий на рассеянного профессора, над которым что-нибудь вечно проделывают студенты. Только эта отключенность от мира того сорта была, что питает анекдоты о гениях: он все часы, что не спал, сосредоточенно и напряженно думал. Результаты стали позднее известны всем, но еще он успевал сотрудничать в нескольких журналах, делая рефераты статей на самые разные темы с трех языков, которые выучил в тюрьме. Три года он отсидел в предварительном заключении только ради того, чтобы получить два месяца за «чтение противоправительственной литературы», да и то его отдали на поруки его защитнику Ольхину. Ольхин рассказывал Морозову об этом чудакватом человеке, который куда-то сразу исчез внезапно. А оказывается, жил у приятеля, кормился разными переводами, а что основное делал, озарившись еще в тюрьме идеей решительного переустройства страны, это он сам, исчерпывающе и не скрываясь, написал полтора года спустя в показаниях следствию:

«...Перечитал по литературе взрывчатых веществ все, что мог достать; после этого я у себя в комнате добыл небольшое количество нитроглицерина и, таким образом, практически доказал возможность приготавливать нитроглицерин и динамит собственными средствами».

Те хоть работали в Басковом переулке втроем, а этот — один, ошупью и неторопливо, как крот, дорылся. Теперь они соединились вместе.

Потом уже, на суде, Кибальчич выскажет меланхолически и спокойно, еле уловимо нараспев (заикался малышом, испугавшись пожара, с тех пор и речь изменилась) очень трагическую по существу своему мысль: что не будь в России такого климата, все его способности ушли бы на совершенствование орудий труда и изобретение всяких нужных механизмов. Только будет уже тогда слишком поздно, и не помогут взволнованные слова защитника, что на скамье подсудимых сидит очень крупный научный талант, и он взойдет на эшафот с тем же всегдашним отрешенным спокойствием, и спустя только десятки лет выяснится, что повесили гения. Первого в мире изобретателя ракетного двигателя. Впервые оформившего свой проект в камере перед смертью и прошившего только, чтобы сохранили для показа сведущим людям.

А в августе, собравшись на глухой полянке в Лесном, довершили землевольцы начатое на Липецком съезде и вынесли смертный приговор Александру Николаевичу Романову. Все тянул последние дни Дворник, все ждал чего-то и дождался, оказывается, чего ждал. В Одессе и Николаеве совершились казни, и среди пяти повешенных был человек, которого знали в партии все и любили не меньше, чем Осинского: повешен был Дмитрий Лизогуб.

Он ходил зимой и летом в полотняном темном костюме, исхудалый светловолосый человек с такой бородой и улыбкой, что походил на Иисуса Христа. А про запас имел цилиндр и перчатки — когда надо было отдавать визит губернатору, потому что был Лизогуб богатейшим черниговским помещиком. Только все имущество свое постепенно обращал он в деньги, отдаваемые им партии. И за это, собственно, был казнен, потому что, кроме доноса о том, что он содержит террористов, ничего против него не было.

И естественно, сам собой разрешился вопрос о расколе. Больше нечего было спорить и доказывать, пора было приступать к факту, и Михайлов более не медлил. Собравшись, договорились быстро и мирно: делились так, чтобы старое название досталось обоим поровну, и те, кто поставил во главу угла земельное равенство и настоящее освобождение крестьян, стали «Черным переделом», а те, кто решил прежде всего политической свободы добиваться, — «Народной волей». Тем более, что организация была уже, и все это теперь знали. Исполнительный Комитет, созданный в Липецке из общества «Свобода или смерть», становился ее центром.

И Морозову пора было вплотную приниматься за свою старую роль — тем более, что типография, по условию раздела, оставалась за народовольцами.

Первого октября появился первый номер новой газеты «Народная воля». Там сообщалось о разделе общества «Земля и воля», печатались пожелания успеха старым товарищам по движению.

И опять засуетилась полиция, уже было успокоенная за лето, даже был конкурс объявлен среди лучших ее агентов на письменное предложение об устройстве нелегальной типографии. Одно из них, например, было вот какое:

«Я открыл бы типографию на одной из самых людных улиц. В зале квартиры повесил бы портрет государя и поставил рояль, на котором непрерывно кто-либо играл, заглушая музыкой шум печатного станка».

Очевидно, полагали, что печатный станок непременно должен шуметь, как шумел он в казенных типографиях, выгоняя большой тираж. Но в подпольной «Народной воле» тираж на примитивном станке нагонялся самой быстрой в мире работой — делом для самих себя.

Оттого же и печать у них была первоклассная, а бумагу покупаемую они отмачивали по особому рецепту, она теряла лоск, обретая эластичность особую, и созданные полицией эксперты единодушно сказали с твердостью, что бумага — заграничной выделки. И с тех пор перед бумажными лавками снято было поставленное наблюдение.

Типография была в Саперном переулке, среди четырехэтажных тихих домов, населенных средней руки чиновным людом. И хозяин квартиры, чиновник в отставке Лука Афанасьевич Лысенко, выходя по делам в город, со снисходительной медлительностью шел к воротам, оглядывая мир сквозь свое золотое пенсне. По роскошной шубе его никак нельзя было догадаться, что дома Колю Буха еле-еле уговаривают женщины переодеться во что-нибудь более приличное, в такой затрапезе рваной ходил он с утра до вечера. А розовая и юная жена его, шепталась ему вслед жена дворника с кухаркой соседа-генерала, ему рога наставляла, хахаль ее чуть не каждый вечер заходил на черную лестницу, куда она к нему выбегала. Потому что Соня Иванова была женой Квятковского, и он ее часто навещал. И еще там двое жили: наборщик Абрам — все тот же Птах и набор-

щик Лейзер Цукерман. Совсем недавно изучал Цукерман талмуд, собирался стать раввином, потом бросил все, писал стихи и статьи в немецких журналах, надоело, и согласился он поехать работать в русскую нелегальную газету. Стоя за своей наборной кассой, напевал он с утра до вечера заунывные местечковые песни своей юности, а заканчивая набор, веселел и непрерывно рассказывал истории. А еще он любил читать газеты и обсуждать с заходившим Воробьем новости высокой политики. Он единственный был из мужчин, смысливший в кухонном деле, и охотно помогал женщинам стряпать, хоть и была у них, кроме хозяйки, нанятая будто бы кухарка. Он так жизнерадостен был, Лейзер Цукерман, так ему нравились все сожители и все приходившие сюда, что об иной жизни он и помышлять не собирался. И потом только, много спустя, донеслась из Сибири весть, что ссылки Цукерман не вынес: вдруг он сник, замкнулся в себе, смертельное одиночество ощутил, ничего не осталось вмиг от его бывшего оптимизма, и однажды бросился он в ледяную зеленоватую Лену, даже тело его сыскать не удалось.

Приходивший по утрам дворник (приносил дрова, выносил помои), заходившие разносчики провизии, забегавшие соседские кухарки видели из прихожей гостиную с обилием вязаных салфеточек и колодой карт на столе, портрет государя во весь рост масляными красками, мебель, затянутую в чехлы. Скучно жили супруги Лысенко, и понять было можно изменявшую ему жену. И всегда темно было в их окнах, еле-еле брезжил в них свет, потому что клеенка очень надежно скрывала ярчайшее освещение типографии. Станок работал на кушетке в комнате супругов, туда только полотеры попадали два раза в месяц по четвергам, но в стенной шкафу ни один из

них, естественно, не заглядывал. А Цукерман и Птаха в этот день шатались по городу, навещая знакомых, и только к вечеру возвращались домой, так соскучившись по сожителям, будто не день, а год пролетел.

Никто, кроме Михайлова и Морозова (да еще Квятковского, нарушителя конспирации) даже адреса типографии не знал.

И «Народная воля» выходила, как внезапно оживающая совесть, и ее повсюду ждали — даже чиновники в присутствиях разных, которым хоть однажды выпало почитать.

В ней писали торжественно и презрительно: «Под сплошную корою правительственного насилия, не пропускающего наружу ничего, кроме шпионства, доносов, холопства, бессовестной карьеристики и рабски услужливых или идиотски бессмысленных голосов прессы, под этой корою общественная мысль все-таки движется и работает».

Статьи в «Народной воле» были разные и о разном, но все равно создавалось ощущение, что это кто-то один пишет — очень сильный, очень спокойный, с широким взглядом и глубоким дыханием, чувствующий, знающий и очень любящий Россию, к собственному положению относящийся с легкой насмешливостью полного понимания. Этот несуществующий человек, коллективный безликий автор нелегальной газеты, был по самому тону, самому духу своих высказываний непривычно и прельстительно свободен. От запретов, страхов, предрассудков, оглядок всяческих и любых тенет официальной принадлежности. Только от преданности России и кровной о ней заботы, от совести и от мужества все понимать — отчетливо он был несвободен, этот кажущийся человек.

256 И оттого явственное имел право с невозмутимым спо-

койствием отмечать жалкие телодвижения своих закрепощенных страхом коллег:

«Наша согнутая в три погибели пресса, несмотря на крайнее неудобство такого положения, старается при каждом случае улыбаться правительству и забрасывать нас самой возмутительной грязью».

«Заявление».

Редакции легальных газет мы покорнейше просим принять к сведению, что высылаем им «Народную волю» вовсе не для передачи в полицию. Мы прекратим высылку тем из них, которые позволят себе сделать это, так как не желаем лишний раз краснеть за имя русского».

И еще — он все знал, этот мифический человек, и оттого боялись его всюду как невидимую и вездесущую совесть. В Самарской губернии, например, был обыск у мирового судьи Клеменца, брата арестованного нелегала. Его перетрусившие коллеги немедленно выразили правительству свои верноподданические чувства в специальном коллективном обращении, а также отослали своему министру полное отречение от скомпрометированного таким родством вчерашнего еще товарища. Но у судьи Клеменца, как немедленно выяснилось, ничего не нашли, и коллеги, удивившись, послали новый адрес — теперь они просили не устранять его от службы. Это двойное сальто, рожденное схваткой страха с порядочностью, незамедлительно было опубликовано в «Народной воле» — насмешка и урок для других.

Специальный раздел «Хроника преследований» содержал сведения со всей страны — откуда только черпал их Исполнительный Комитет? (О нем и говорили всюду как о единой личности — «Исполнительный Комитет знает это», «Исполнительный Комитет считает», «Надо сообщить Исполнительному Комите-

ту, пусть он опубликует и примет меры»). Хроника преследований сообщала об арестах, обысках, высылках, событиях в тюрьмах и на каторге, смертях, голодовках, тайных и закрытых процессах.

С утра до вечера бегал Морозов по городу, встречаясь с десятками невообразимо разных людей. Приветливый, доброжелательный, говорливый, любознательный и любопытный человек.

Популярность нелегальной русской печати была уже настолько велика, что из Франции пришла через эмигрантов почтительнейшая просьба от Парижской городской библиотеки: уделять, передавая посланнику, каждый выходящий номер. Просьбу парижан решено было уважить, а заодно стали класть каждый номер (это еще в период «Земли и воли» повелось) в ящик для почты Петербургской публичной библиотеки. Отверстие его было прямо у левой створки входных дверей. Полагали, что ученым людям, хозяевам и хранителям библиотеки, интересно это будет и полезно. А не пригодится — сожгут. Но ученые эти люди донесли на всякий случай в полицию, и у ящика с октября — как только появилась опять газета — установлен был неподалеку кругло-сточный наблюдательный пост.

Утром двадцать восьмого октября почти у дверей библиотеки встретились Птаха и Зунделевич. Наскоро поговорили о чем-то, дошли до дверей, и Птаха, оглянувшись легко по сторонам, сунул пакет в щель. А Зунд отправился в библиотеку. Филер-наблюдатель выбрал легкий путь: кинулся не за Птахой, а в гардероб. Швейцар еще помнил Зунда, и пальто его отыскалось сразу. Во внутреннем кармане его было шесть номеров «Народной воли». Его взяли прямо в библиотеке, он и не думал сопротивляться — оружия

никогда не носил, считая, что голова надежнее, и документы были в полном порядке.

Это был первый и ощутимо тяжкий провал. Но все и без того торопились.

А «Народная воля» печатала кроме материалов, естественных для подпольного органа, еще сведения почти фантастические, из-за которых головы ломались в догадках у всех читателей ее, доброжелателей, врагов и безразличных.

Вот такое, например, писалось:

«Бывший ученик черниговской гимназии Александр Петрович Семeko-Максимович состоит агентом III Отделения. Имеет слесарную мастерскую на Васильевском острове. Его приметы: брюнет, черные густые волосы, бороду и баки бреет, небольшие черные усики, глаза черные, нос небольшой, тонкий, рост выше среднего, телосложения плотного, лет 26—28. Лицо интеллигентное, одевается прилично.

Исполнительный Комитет просит остерегаться шпиона».

Сведения эти проходили каждый раз через Морозова, оседая в его архиве. И еще годы спустя — кстати, когда не было уже «Народной воли» — эти сведения, их было очень много, служили свою службу другим. Потому что начавшись, уже не кончалось в России грозное брожение это, и порой шпионов, в таких списках содержащихся, остерегались уже новые поколения нелегалов.

Доставлял эти сведения ныне знаменитый и прославленный, а тогда незаметный и неизвестный, лысоватый, щуплый и слабогрудый человек с поначалу нескладной и непоседливо неудобной жизнью. Клеточников их доставлял, чиновник Третьего отделения, новую жизнь себе нашедший в смертельно опасной помощи народовольцам.

* *
*

Впоследствии на суде над бывшим помощником делопроизводителя департамента полиции Клеточниковым, осведомителем партии «Народная воля», генерал Кириллов, его бывший начальник, держался единственно разумной и достойной линии: сдержанно хвалил работу Клеточникова. Говорил, что его усердием всегда были все весьма довольны, что он превосходно справлялся с самыми ответственными поручениями, что ему доверяли секретнейшие и сложнейшие дела, зная, что он отлично выполнит их.

А дав показания эти, вдруг спохватился генерал Кириллов — про себя, молча и виду не показав, жестоко спохватился. И об этом уже потом, уже сев, чуть всполошенно подумал: как же так, принимал на работу серенького чахоточного неудачника-мозгляка, а сейчас искренне и честно говорил о превосходном и — главное! — способном сотруднике. Что за метаморфоза, господа? Когда произошла эта перемена? Почему зачуханный помощник кассира из симферопольского Общества взаимного кредита — и там тоже, небось, держали из одной жалости — стал уважаемым и высоко ценимым — вторым после делопроизводителя лицом всего российского департамента полиции?

Но на этот вопрос не мог бы ответить, пожалуй, даже сам Николай Васильевич Клеточников. Хотя и чувствовал превосходно, даже просто твердо знал: да, очень вырос, очень способен оказался — не оттого ли, что был счастлив? Хоть и короткое время, но был. Небывалым, грудь переполнявшим счастьем.

А еще недавно мучило отчаянное понимание того, что он собой представляет. Наступал возраст Христа, пора свершений, зрелость, а он? Пусто, неуютно, бес-

просветно. К сожалению, был умен. И, к сожалению, был очень цельной натурой. С такими данными одна была возможность: очень крупному чему-нибудь послужить. Но чему? Искусству? Способностей не дано было никаких. Пробовал собирать живопись — не те средства. Да и наскучило быстро: тоже ведь особая жилка нужна. Отечеству послужить? Но вокруг цинизм, взятки, карьеризм, безразличие. Отечеству своему он был отчетливо и нескрываемо не нужен. Почитав журналы столичные, понял: да он классический лишний человек. Все при нем, хоть и мало этого всего, только и этой малости никому не нужно. Что же делать теперь, себя, как бабочку, определив по типу и виду? Умереть, как лорд Байрон, за чужую чью-нибудь беду? Например, за вольность освобожденных от турок славян? Но война кончилась. Ни к чему душа не лежала. Будто бы и жил и не жил. Приятель был один, с которым не часто, но беседовал — непростой, между прочим, человек, познакомился с ним однажды в Самаре на кумысе, а он оказался уездным в Ялте предводителем дворянства; потом превосходно встретил, взял к себе в службу с удовольствием — редко, но разговаривали. С ним поделился Клеточников своими невеселыми мыслями и неутолимым душевным вожделением своим, от которого вся боль; и тот очень тонкую вещь сказал: вас бы, Николай Васильевич, вера спасла, острая и всепоглощающая вера. Может, вам в сектантство какое двинуться? Глубокий и доброжелательный был совет. Только вера, от ума происходящая, — грош ей цена, а настоящей, из сокровенных тайников души бьющей, с экстазом чтобы и экзальтацией, — такой никогда он в себе не ощущал. И способностей, самих рождающих цель и смысл жизни, тоже никаких не имел.

И тогда он кинулся в Петербург, чтобы хоть как-то повернуть свою жизнь, прочитав, кстати, с полным пониманием у Достоевского в «Записках из Мертвого дома», что преступники, в тюрьме содержащиеся, даже новое преступление, бывает, совершают исключительно ради того, чтобы участь свою несколько обновить.

Тут началась история, описанная уже многократно: как он попал в агенты, где оказал бездарность и непригодность. Не было у него ни нюха, ни хватки, ни инициативы. И тоскливо ожидал, что выгонят его не сегодня-завтра. Но освободилось внезапно место мелкого чиновника, и его предложили перевести. Кириллов, вспомнив почерк, не препятствовал.

Много донесений было и великое множество доносов. Просто неисчислимо множество. Клеточников и раньше-то не особенно жаловал человечество, а теперь такое читал, что свихнуться, а не просто стать мизантропом, показалось ему легче легкого. Из подлости были доносы, от глупости, из страха, всякие.

И от работы ли такой или от склонности думать, неистребимой в одиноком этом человеке, но только представилась ему суть и связь событий странной, перевернутой будто. Ему вдруг явственно стало казаться, что не этот поток доносов, рапортов, клеветы и зла породил это учреждение, а наоборот — контора сама породила этот поток и непрерывно его питает. Страхом, который растлевает человека похуже, чем иной соблазн, своим вторжением беспардонным в любую жизнь, отчего жизнь становится как бы не своей, и к ней иначе начинаешь относиться, и опять, опять и опять страхом, который парализует, обирает, унижает, ожесточает, уродует и калечит. Ему начинало казаться, в этом помещении сидя, что именно из-за Третьего отделения благомы-

слящие и мудрые люди России не могут сговориться друг с другом, как устроить жизнь на началах более справедливых и разумных — на каких точно, он не знал, но чтобы каждый мог найти себе в ней дело по душе и близких по сердцу. Самое начало таких разговоров, думалось ему в долгие вечера, совпадает, естественно, словами своими с разными крамольными учениями — просто ведь мало слов, оттого только и совпадает сперва, но уже спешат по доносу конторские его сотрудники, как на пожар, а заливаются — вовсе не крамола, это планы лучшего устройства заливаются, осуществимой прекрасной жизни. А кроме того, что эти планы и идеи гибнут, еще и люди, способные их обсудить толком, попадают под замок, в ссылку или замолкают предусмотрительно и отрешенно.

Благотворный яд прозрения этого источался исподволь, но неустанно смятенным его сознанием и его необратимо пропитывал. Две недели всего спустя это был другой человек, будто опалился он на каком-то внутреннем огне и отвердел немного, осунувшись. А работы было действительно много, и никого это исхудание не удивило.

Время принесло Клеточникову откровение ослепительное, как внезапная долгая молния среди длинной тихой ночи. Он даже подумал тогда, что пути провидения и в самом деле неисповедимы, если из такой крайности душевного упадка он вознесся к такой высоте понимания своего места в жизни и своего назначения в ней. Понимание — только половина дела, но он-то уже и на месте ведь оказался, чтобы свое назначение осуществить, — вот в чем удача подлинная. Он мечтал чему-то высокому и очень нужному безраздельно всем собой послужить — сбывается. От неудачливости долгой решил было единичное в чем-

нибудь лице воплощение зла поразить — пожалуй-ста, ошибка состояла только в том, что он отдельное лицо искал, а судьба ему готовила целое скопище. Дракона или вроде того. Кошмарное и мерзостное заведение, механизм зла. И теперь это заведение низвести и парализовать — вот подвиг, достойный самого Георгия Победоносца. А копьё у него в руках, у Клеточникова: подпольные люди, с которыми был связан тайно, по его малейшему слову предпримут все, что надо предпринять, чтобы колеса грязного механизма вертелись от сей поры вхолостую.

Он был так счастлив от открытия своего, что трудоспособность его резко и заметно возросла. На него тут же навалили куда больше бумаг, а он не только с ними справлялся, но и за товарища по службе готов был безотказно и охотно остаться на лишний час. Они все были люди семейные, а ему спешить было некуда. Он прежде всего, между прочим, заметил в себе разительные перемены — по здоровью своему, замечательно вдруг укрепившемуся. Отступили куда-то недомогания мелкие, причинявшие столько беспокойства всегда, перестала саднить грудь в глубине, и сам кашель перестал мучить, будто разом окрепли легкие, будто в Самаре побывал ненароком на кумысе.

И почувствовал неоспоримо: живет. Полной и настоящей жизнью. Невообразимо сладостно притом. Дышать — приятно, есть — удовольствие, работать — сколько угодно. Потому что не переписка уже это была, а чистое кладоискательство. Или, например, охота. Обнаруживая новости — радовался, запоминая приметы шпиона — будто бы подстреливал подлеца. И сладчайшая ежевечерняя забава: представлять себе зримо и воочию, как сразу в нескольких, во многих местах, тяжело и вразнобой ступая,

топочут на пустые обыски люди в голубой амунии. А повсюду в срок предупреждены, и потому перед ними страха уже нет, а легкое только есть к ним презрение, человека человеком заново обращающее.

Сотрудники на первых порах побаивались его усердия — такой доносить начальству должен, не может не доносить, старательность заставит и вынудит, не говоря уже о понукающей умелости начальства. Только быстро обнаружили: нет, хороший и простой человек. Блаженный только, и все. Не дурак даже, а блаженный. Гусеву, например, помочь — у того с телеграммами отовсюду мороки по горло — пожалуйста; перебелить за кого срочную бумагу — полная готовность при проверенном бескорыстии; а уж составить для начальства общий обзор — хлебом не корми. Ей-ей, как охотничья собака. Откуда только берутся такие в наше время всеобщего безразличия? Даже домашним рассказывали о старательном слабогрудом блаженном.

Прорезались внезапно способности, о которых ранее и не помышлял: например, оказалась феноменальная память. Он помнил фамилии, адреса, цифры, номера входящих и исходящих, даты, тексты чуть не наизусть, а суть — всегда, и обнаруживший это первым помощник Кириллова тут же привлек его помогать себе для отыскания ответов на срочные запросы и телеграммы. Он такую чиновничью сметку проявил, ориентируясь в потоке бумаг, что Кириллов, однажды поручив ему составить доклад, обобщающий сведения с мест, больше уже ни к кому другому с этим не обращался почти полтора года.

Он карьеру делал, Клеточников! Но его чиновники-коллеги не завидовали ему и на него не сердились. Потому что он был очень уж слабый и хилый, потому что очень уж он был отзывчив, обязателен и

безотказен, потому что скромность не оставляла его, и он никого не подсиживал, и ни о ком гадости не говорил, и усердие его непомерное с очевидностью было только следствием того, что другого-то ничего у него в жизни не было. Ни дома не было, ни семьи, ни увлечений, ни привязанностей, ни близких.

Но бедная комната его с кроватью узкой девичьей и расшатанным столом под клеенкой (его навещали сослуживцы, да и проверки тайные бывали: доверяй, но проверяй, на этом любой сыск держится), все его жалкое обзаведение, — оно ведь не для радостей жизненных ему служило, а только для кратчайшего отдыха. Это было спартанское временное жилье, ночлег бойца, келья аскета, подвиг служения совершавшего, и ничего другого от комнатки ему не требовалось.

Клеточников делал карьеру не столько по служебной лестнице, сколько в доверии и расположении начальства. Главными знаками были здесь не так награды и премиальные, не так орден Станислава третьей степени, которым был он удостоен, даже не жалованье его возраставшее, а характер поручений начальственных. Он имел доступ к самым секретным бумагам и сокровенно конфиденциальной переписке, он вел алфавит людей, у которых перлюстрировались письма (в журнал особый заносили нужные выдержки из них), у него были ключи от шкафа с изымаемой литературой и доступ к разным вещественным уликам, с которыми схвачен был преступник. Он вертелся все время в кругу наисекретнейших дел и оттого вообще был в курсе всего, что совершалось в недрах сыска. А из зарплаты — повышавшейся, между прочим, за успехи, за доверие и секретность — он даже с некоторых пор отчислял сумму некоторую в кассу «Народной воли».

Его прилежность и неутомимость, казавшиеся со-служивцам раболепным усердием маленького одинокого чиновника, совершенно, как было уже сказано, иного были, высшего свойства. Все, что оставляло их равнодушными и составляло лишь унылый предмет скучных занятий ради куска хлеба с маслом, для него было исполнено смысла и значения. Каждый упоминавшийся в донесениях шпион, любое мероприятие сыска были для него не проходной строкой в реляции, а живым и гибким щупальцем, что тянулось, извиваясь, от туловища зверя, с которым он единоборствовал ныне с полной отдачей сил. И предупреждение, сообщение вовремя — было усечением этого щупальца, еще одной живой победой. Они отрастали, он рубил их, вертелся, предугадывал, попевал, и огромный механизм зла крутился вхолостую и беспомощно, в самом себе неся недремлющего своего укротителя.

Все сведения, которые приносил он, доставлялись немедленно Морозову для обработки незамедлительной и — в архив.

* *
*

По утрам в квартиру на Знаменской площади часто приходил тишайший и добрейший человек Володя Йохельсон, управляющий «небесной канцелярией», и он же ее хранитель, ибо вся канцелярия помещалась в огромном кожаном чемодане. Здесь были десятки паспортов, печатей и штемпелей, бланки аттестатов и всяких справок, тетради с образцами подписей. Ежедневно требовались какие-нибудь отпуски, отставки, удостоверения личности, формуляры и отношения, и Володя аккуратнейшим образом выписывал их. Не хватало мещанских и крестьянских па-

спортов, он вытравлял написанное на старых одному ему известными химикатами, или артистически изготовлял свежие бланки, проклеивая и обновляя старые. Все это ему было неудобно делать в его небольшой комнатке, и он повадился на Знаменскую к Морозову, то бишь к господину Хитрову, благо госпожа Хитрово очень любила его и никогда не забывала покормить. Работал он ежедневно, подолгу и старательно.

В своих воспоминаниях, написанных значительно позже, где очень многих очернил или изобразил с невыразимым пренебрежением, Лев Тихомиров, воздав должное доброте Володи Иохельсона, написал, что тот был, по его, Тихомирова, мнению, чрезвычайно ограничен. И в этом содержалась доля обидной, но неустранимой правды. Тихомиров был очень сложной личностью, а Володя Иохельсон был прост. Он просто помогал в динамитной мастерской, непрерывно охлаждая полученную смесь, чтобы не взорвалась, он просто взялся вывезти за границу всюду разыскиваемого ищейками Льва Гартмана — и отвез; он просто согласился вести «небесную канцелярию», зная прекрасно, чем это грозит в случае поимки, ибо почерк всюду был его; так же просто отвез за границу Веру Засулич; просто провожал и встречал возчиков динамита и шрифта, ибо для того была снята ему квартира; а схваченный, никого не назвал и, ни в чем не сознавшись, просто пробыл в сибирской ссылке полные двенадцать лет. Кстати, там он сдружился с Клеменцом, тот приохотил его к науке, и сегодня специалисты всего мира знают совершенно другого Иохельсона — знаменитого этнографа, автора до сих пор сохранивших ценность исследований Камчатки и Алеутских островов. Пользующиеся его трудами отмечают в них скрупулезную точность, широ-

ту охвата, добротную полноту изложения. И — простоту. Добросовестную, качественную простоту... А пока Володя Иохельсон, густоволосый еще, молодой, очень скромный, ежедневно сидел за обеденным столом в гостиной господ Хитрово, обставившись баночками, склянками и кипами необработанных документов.

Документов сейчас надо было очень много: все разъезжались кто куда. Царь мог на обратном пути из Ливадии проехать через Одессу — туда направилась целая группа, разделившись по приезду на две. Где-то на Украине взялся организовать подкуп под полотно дороги Желябов. А Дворник уже был в Москве, там в полной тайне, даже от московских друзей и членов организации, тоже начался подкуп. В первых числах октября. А в конце месяца Морозову понадобилось в Москву, и он так обрадовался случаю всех повидать заодно, а если сможет пригодиться, то и помочь, что завершал дела и назначенные разговоры суетливо и нескрываемо спешно. Ольга обиделась на эту торопливость, хмуро отсиживалась в своей комнате, и два дня они почти не виделись. Морозов и этому был втайне рад: уже неумоготу становились томительные вечера вдвоем. Они притворялись оживленными, говорили о чем-то, потом ловили себя на том, что совершенно не слышат ничего, смеялись, возникала на миг страшная, головокружительная близость, но они брали себя в руки оба, одергивали, насупленно расходились по комнатам или по углам. Но так тянуло снова повидаться, так неудержимо тянуло оказаться рядом, когда возникало ощущение, что руки их, головы, тела с силой притягиваются друг к другу, будто направление силы тяжести переменялось, что они не выдерживали и снова под каким-нибудь предлогом сходились посидеть вместе. На

людях было легче гораздо, но после этого они возвращались домой, и было всегда тепло, тихо, спокойно, уютно загоралась лампа, и сызнова начиналась безысходная, томительная, сладкая пытка.

Они разумно и взросло договорились уже давно, что не надо, потому что нельзя. Потому что в их положении это безнравственно и преступно. И не сообщали целомудренно друг другу те десятки доводов против обоюдного обета, что возникали у каждого ежевечерне. Если бы еще не было случайных прикосновений — рукой, плечом, пальцами, даже взглядом, так бывал он ощутил порой. Но малейшее касание рушило без остатка все воздвигнутые только что стены, и их приходилось возобновлять совершенно отвлеченным, но на самом деле остро значимым осуждением какого-нибудь события из книги или жизни вокруг. И все слова тогда звучали об одном и том же — что мучительно, но необходимо длить это странное состояние: одновременно вместе и не вместе.

Но в последний перед отъездом вечер — еще не поздно было, осенние сумерки, но лампу они не зажигали, не сговариваясь, ни один из них не зажигал лампу, оба сидели в комнате каждый у себя, просто случайно вышли — так получилось — одновременно. И в темноте неширокого душноватого коридора, пахнувшего каким-то пыльным мехом, залежавшимся где-то на антресолях, смутно видя друг друга, протянули, чтобы не столкнуться, руки. И уже ничего не смогли с собой поделать. Очнулись только очень рано утром, на рассвете, вспыхнула на кратчайший миг та умозрительная трезвость, сегодня такая слабая, скорее одна тень от нее, но они уже были так близко друг от друга, что растворилась и эта слабая тень. Как напроказившие дети, вставали они

в то утро, пряча друг от друга светящиеся смущенные лица.

Очень счастливым уезжал Морозов в Москву. И Ольга, хотя куksилась немного, что он уезжает именно сейчас, но понимала превосходно: нельзя не ехать, а счастлива была так же, и неуловимым образом разлука оказывалась праздником, и отъезд этот они оба еще долго вспоминали чередой каких-то ярких часов и удивительно глубоких, важных, совершенно не запомнившихся разговоров.

В Москве было слякотно, промозгло, тускло. Он всегда очень любил Москву, а сейчас удивился, что совершенно не рад ей. Подумал: из-за Ольги, быть может? Нет, просто с недавних пор стал, оказывается, Петербург ощущать родным — это, брат, интересно очень, привыкаешь, значит, как собака, к месту, где проводишь годы. Но к тюрьме же не привык, однако. И потом — какие годы? Еще двух лет не прошло, как выпустили, а в самом Питере — и того меньше. Нет, дело не во времени. Может быть, однако, вот что: ощутил себя сполна человеком — в Питере. А в Москве еще был зелен слишком. Черт его знает, словом, нечего копать в мелочах. Но одно здесь несомненно и точно: провинциальна Москва белокаменная, нескрываемо она провинциальна. А оттого, что с этим борется и старается не показать, — вдвойне. Не просто провинциальна, — а столица российского провинциализма. И это жаль, это несправедливо, это такое же следствие уродливой власти, стянувшей в узел все нити, и потому не дающей жить собственной полнокровной жизнью ни одному другому городу, кроме того, где всевластный двор. Несправедливо это и неразумно. Если победим когда-нибудь, этого ни за что не будет. Всюду будет собственная жизнь. Даже в таком деревянном грязном

пригороде. Э, да я уже пришел. Это где-то здесь, должно быть. Как же они прячутся только? Здесь ведь все насквозь и все всем видно? Хорошо — о сапогах предупредили. Ну и грязища! Дом от угла восьмой. Обычный дом. Как близко насыпь и рельсы! Значит, я только что где-то здесь переступил через подкоп. Надо же! Или они роют из другого дома?

Колокольчик зазвенел где-то возле самой двери. Отскабливая с сапог густо налипшую грязь, Морозов улыбался: сейчас суетятся там, что-нибудь прячут, Сашка Баранников поднял голову и лицо у него окаменело, как мраморное, а Дворник — тот при неожиданной возможной опасности начинает чуть улыбаться. Кто здесь еще, кроме Льва Гартмана? Исаев, кажется. Этот вообще всегда улыбается. Открывают. Э, два засова, молодцы.

Соля Перовская стояла в дверях, загораживая вход. Маленькая, серьезная, гладко причесанная. Увидев Морозова, отступила чуть, глянула куда-то за него — один ли? — и повисла молча на шее. Через минуту откуда-то взялись все — обнимали, хлопали по плечу, спрашивали, не ожидая ответа, торопили посмотреть подкоп. Четверо были в грязном: Исаев, Михайлов, Гольденберг и Баранников. Особенно Исаев — в мокрой, по грудь грязной одежде, только что вылез, наверно, и быстро ушел — растереться глицерином после смены, как делали они вместо ванны и чтоб не было мозолей, объяснил Дворник. А Лев Гартман — по кличке Алхимик — спал, откопав свое рану утром.

— Ну, разговоры все потом, — сказал Дворник. — Особых новостей нет?

— Вроде нет, — сказал Морозов, неудержимо улыбаясь все время, — давно я вас не видел, ребята.

— Тогда посмотри, что мы нарыли, — сказал

Дворник. Гришка Гольденберг уже держал в руках две рубашки и застиранные добела плотные штаны.

— Морозик, ты переодевайся, потом поговорим, — сказала Перовская, — у меня тоже дел много, скоро обед на всю компанию. Целое ведро варю, а потом часть в большой чугунок отливаю, живем-то мы здесь только вдвоем с супругом, — и она засмеялась беззвучным своим смехом, даже тонкие плечи задрожали.

— Не было тебя, когда нас тут затапливало, — говорил Дворник на ходу, — ведер четыреста, почти-тай, из галереи вычерпали. Дождь шел наполоам со снегом, тут же таял — кошмар. Чуть не обвалились. Полезай.

И он посторонился, уступая Морозову дорогу по неширокой лестнице в подполье, густо пахнущее сыростью и отчего-то — свежими опилками. Лампа в руках Дворника освещала только несколько ступенек. Морозов начал спускаться. После лестницы под ногой оказалась не земля, а дощатый настил, звонко хлюпнувший под ногой. Вода. Сверху сноровисто и грузно опускался Дворник. Он стал рядом, и лампа осветила небольшую овальную землянку, в которой па урвне досок прямо от пола начиналась точно против лестницы уходившая во мрак узкая щель. Казалось, в этот треугольник человеку со сложением Дворника даже не протиснуться, где тут говорить о работе, но Морозов понимал, что уж кто-кто, а Дворник ни за что не станет руководить, если не будет работать сам. От треугольной щели несло ледяным холодом, и, даже присев на корточки, Морозов увидел не дальше метра стенку аккуратно пригнанных друг к другу досок. Пол галереи тоже был земляной, и полужидкая грязь хранила отчетливые следы какого-то большого тяжелого предмета, который перед-

вигали волоком. Тянулась из глубины толстая веревка, намотанная в подполье на барабан из обрубка бревна, лежавшего на двух козлах.

— Землю вытаскиваем на листе железа, — пояснял Дворник. — Трое тянут еле-еле. Представляешь? Вот тебе свеча, полезай и оцени. Там бурав лежит — прикинь, осилишь ли, мы б тебя тогда оставили на недельку.

Морозов молча всунул голову и плечи в треугольную эту дыру, оказавшуюся неожиданно просторней, чем на первый взгляд, даже на четвереньки можно было подняться, — он уж думал было на животе ползти, потом вылез вдруг обратно, посмотрел на Дворника, чему-то засмеявшись глухо, и решительно двинулся в подкоп.

— Ты чего? — весело спросил Дворник. — Страшно, что ли? — но уже и ноги Воробья, неловко поболтавшись мгновение, исчезли. Он приладился и пополз.

Засмеялся он от страха, неудержимо нахлынувшего на него. От воспоминания, вернее, о таком же точно детском животном страхе, охватывающем с ног до головы. Страх этот внушал ему один из портретов, висевших в большой гостиной у отца. Это был портрет прадеда, хмурого волосатого мужчины средних лет с пронзительными темными глазами. Черные маленькие зрачки, точно расположенные в центре глаз, отовсюду прямо смотрели на зрителя, где бы он ни находился в гостиной, а от света, пробивавшегося сквозь какую-то щелку в шторах, в темноте они казались живыми и светящимися. Этого, кажется, никто, кроме десятилетнего Николая, не видел, а он, замороженный однажды и надолго, из какой-то суеверной предосторожности никому не говорил о светящихся глазах, но через гостиную, если она не была

освещена, пролетал мгновенно, глядя только на следующую дверь. Но потом, решив, что пора становиться мужчиной, каждый вечер специально входил в эту гостиную перед сном и по нескольку минут выстаивал перед портретом. Страх, который он испытывал тогда, он запомнил на всю жизнь, а когда вдруг исчез этот страх, даже чуть пожалел о нем — очень уж острым было памятное ощущение и ежевечерние радость и гордость, когда назначенное время искусства проходило и можно было вернуться к свету.

Такое же в точности чувство он испытал и сейчас, но теперь оно тотчас же схлынуло, оставив по себе странное умирение, — будто вернулся на миг в детство. А вокруг и сзади стояли уже мрак, сырость, холод. Галерею не видно было конца. Он припомнил расположение дома, насыпь с рельсами, дорогу — метров сорок, очевидно, ухитрились прокопать тайные жители домишка.

Всю одежду мгновенно пропитала вода. Стало холодно. Огонек свечи дергался, будто собираясь погаснуть, но недостатка воздуха Морозов еще не ощущал, он его потом ощутил, когда уже работал здесь, и липкий пот выступал на теле несмотря на холод и влажность, несмотря на то, что по грудь был в жидкой грязи, — удушливый пот от спертого воздуха. Тонкая железная труба, уходившая вдоль всей галереи в подполье, а оттуда в дымоход, чуть освежала воздух, но недостаточно. Впрочем, хватало для свечи, а это они считали главным.

На четвереньках, чуть привстав, как неуклюжее четвероногое со свечой в передней лапе, двигался он по мягкой, странно пахнувшей земле. Он бывал на свежей пахоте — это не был запах свежей пашни, нет, — что-то ускользающе знакомое, но другое было в этом сыром запахе. Вдруг сообразил: могила. Све-

жей могилой пахла галерея. Осенней, неприятной, чужеродной землей, как пахнет она, когда хоронят в слякотную осень, отдают разверстой яме хорошо и близко знакомого человека. Так пахло, когда хоронили давным-давно его старую няньку, а он стоял у самой могилы, с замирающим любопытством глядя то в яму — на дне красноватый глинистый срез, и вода сочится со стенок, — то на провалившееся желто-синее лицо с острым выступающим носом. От догадки этой — намять подтвердила: точной, — от воспоминания о похоронах почувствовал себя очень живым, крепко сколоченным, напрочь недоступным обвалу, случайности, гибели вообще. И потому через минут десять, когда дополз до конца, протиснулся сквозь совсем уже узкую щель — прямо в галерее была сделана насыпь (догадался — от воды, чтобы не натекала сюда) — и оказался в могильном склепе с грязью на дне и, на первый взгляд, безвыходном, засмеялся от радости ощущения своего тела, рук, ног. Кажется, даже кровь ощутимо двигалась по горячему телу, а сердце стучало успокоительно и сильно, как паровоз на ровной скорости.

Он огляделся, полулежа в грязи, не чувствуя холода, полуощупью нашел бурав, поднял его с трудом, вставил в начатое кем-то отверстие и заметил, что стук сердца раздвоился — еще один грохот, столь же слабый, но стремительно нараставший возник в этом склепе где-то сбоку. Поезд. Интересно, близко ли насыпь? Как ощутимо нарастает грохот, кажется, что трясется все: и стены, и потолок. Морозов глянул беспомощно назад — щель, сквозь которую вполз сюда, казалась настолько крохотной сейчас, что уже не протиснуться обратно. Да и не успеть уже. Всюду, кругом земля. И нарастал грохот. Зримо представил себе ничтожную толщину рыхлого земляного слоя,

над которым, прямо сверху — вот уже рядом совсем — несется многотонная железная громадина.

И когда дошел до предела этот грохот, испытал Морозов такой леденящий ужас, что на мгновение будто выключилось сознание. А очнулся — грохот продолжался, над ним проходил поезд, и каждый удар колеса о стык был различим, как стук топора за фанерной стенкой. Все дрожало вокруг, отовсюду сыпалась и сочилась земля, тряслись доски крепления, колебалось пламя свечи. А страха уже не было — наоборот, хотелось кричать и сильно-сильно двигаться. Морозов приладил бурав и уперся спиной в плотину, головой почти затыкая щель, сквозь которую влез сюда. Договорились, что для первого раза он вылезет, как только устанет.

— Недолго же ты, — приветствовал его Дворник, будто так и стоявший на том же месте, хотя Морозову-то казалось, что времени прошло немислимо сколько и вообще в мире многое переменялось. Дворник посмотрел на часы: — Впрочем, ничего для первого раза, сорок пять минут. Ну и как впечатление?

— Могила, — сказал Морозов.

Дворник засмеялся, довольный исчерпывающим ответом.

— Это еще что, — сказал он. — Вот когда заливало, когда свеча тухла, пока трубу не сделали — это да. Здесь по дороге мимо дома ездит телега с сорокаведерной бочкой воды, мы так и представляли себе, когда потекло: лошадь копытом пробивает землю, и все это валится на тебя. Алхимик с перепугу даже яду просил: на всякий случай, говорит. А я не дал. Это, по-моему, слабость. Они меня здесь опять Чинովником зовут, так я их строго держу, — вдруг без перехода сказал он и снова засмеялся. Подкоп близил-

ся к концу — все сработано было великолепно, а Воробей всегда вызывал во всех жизнерадостность своим непроходящим и заразительным оптимизмом.

— Значит, поработаешь у нас? — спросил Дворник улыбочиво. — От лишних рук не откажемся.

— Отчего же? — сказал Морозов. — Конечно. Тем более, вот раковинку нашел — видишь? Знаешь, ей сколько лет? Около трехсот миллионов. Это аммониты, очень древние, брат, создания. Ей-богу, не вру, триста миллионов лет.

— А как узнали? — спросил Михайлов, с интересом вертя в руках небольшую окаменелость, какие и раньше попадались ему, а Воробей узнал и поднял. Эх, Воробей, а на то ли уходит твоя жизнь?

— Это история длинная, за обедом расскажу, — сказал Морозов.

— Хорошо работают ребята, — сказал Михайлов. — Тяжести волокут — ужас. А по ночам мы ведь эту землю еще на дороге таскаем, чтобы укрепить ее для телег. А сверху — навозом приходится. Хватает дел, словом. Останься дней на десять.

— Уже договорились, чего повторять? — сказал Морозов, вспоминая об ожидающей Ольге и обо всем, что с ними произошло.

Чуть больше года спустя, давая на следствии показания, и о том, что уже известно, вовсе не умалчивая — зачем? — напишет Дворник прямо в протоколе полную и точнейшим образом выраженную правду о том, каковы были условия подкопа. Вот что он напишет тогда: «Положение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего последние нечеловеческие усилия в борьбе со смертью. Здесь я в первый раз в жизни заглянул ей в холодные очи и к удивлению и удовольствию моему остался спокойным».

Дня три прожил здесь Морозов, из дому никуда по выходя, а на четвертый получил отставку. Слаб он оказался работать с тяжеленным буравом, дрожали руки, смысла не было задерживать его здесь, и Дворник ему прямо это сказал, и Морозов сделал вид, что не расстроился. А и вправду, может, не расстроился? Нет, было обидно очень, что для дела оказался слаб, ну да не в одних подкопах наше дело. И Дворник, умница, эти самые слова тут же ему сам сказал. Значит, уезжай, Воробей. А мы через недельку закончим.

Портрет митрополита Филарета, висевший на стене в передней, провожал Морозова строгими спокойными глазами. Перовская просила кланяться всем, а особо — Ольге Любатович; они очень хорошо друг к другу относились.

Уезжал и Гольденберг — срочно и ненадолго. Надо было привезти из Одессы не понадобившийся там динамит. Здесь его могло не хватить для успеха взрыва. На дорогу нужна была неделя, и время, таким образом, еще было.

Но Гольденберг не вернулся в назначенный срок, а из Симферополя вскоре пришла на адрес Сухорукова, владельца дома, лаконичная телеграмма: «Цена пшеницы два рубля, наша цена — четыре». Это означало: царский поезд — второй, вагон четвертый.

Покушение не удалось. Где-то перестроились поезда, и царский, ставший первым, промчался мимо, а второй, под напрасный взрыв угадавший, был со свитой. А самый факт, что оба поезда доехали до Москвы, означал, что и на юге, где готовил взрыв Желябов, тоже ничего не получилось.

Свитский поезд только с рельс слетел, все же мало оказалось динамита, а добавок — более пуда, что так и не довез Гольденберг, — арестован был с ним вместе

благодаря бдительности носильщика на станции Елисаветград. При пересадке.

Впечатление от взрыва было неопишваемым. Будто первый толчок землетрясения. Обыски были даже в банях и публичных домах. Зыбкой оказалась русская почва. В любой момент и в самом неожиданном месте могла она, оказывается, с грохотом и адским пламенем провалиться под самим российским самодержцем.

Дня через четыре после взрыва возвратилась в Петербург Перовская, и Ольга, о ее приезде узнав, кинулась на одну квартиру, где уверена была, что застанет.

Вся дрожа, будто в нервной лихорадке или неудержимом ознобе, рассказывала Перовская, как высматривала поезд из-за негустых каких-то зарослей возле дороги, как подала знак Степану Ширяеву и тот замкнул провода. Такая работа впустую! Потом успокоилась немного, улыбнулась неярко, стала расспрашивать о Петербурге, и они проговорили дотемна. Вернувшись в тот день домой поздно — Воробей очень ждал и беспокоился, никакой записки не найдя, — Ольга долго искала слова, невпопад их в кучу сыпая, чтобы рассказать ему — в который раз, — какие у них святые друзья и какое это чудо — Соня.

* * *

*

А на следующий день она прибежала к ним сама рано утром с растерянным и каким-то опрокинутым лицом. Ни Морозов, ни Любатович ни разу не видели Перовскую такой.

— Только что узнала: Квятковского, Александра Первого, Сашу, — она повторяла, словно боясь, что они не понимают, о ком идет речь, и задыхалась.

— Успокойся, — говорил Морозов, уже одеваясь. — Ну? Надо предупредить? Что-нибудь случилось?

И вдруг одышка сразу прошла. Перовская заговорила быстро и внятно.

— Есть сведения, у Саши будет обыск, нашли адрес. Надо успеть, если еще не поздно. — И снова часто задышала.

Морозов в такие минуты становился спокойным до того, что хотелось его обругать или ударить. Даже улыбнулся из-под очков. Одни хвалили его невозмутимость, полагая ее совершенным бесстрашием (и были правы), другие считали, что это от мальчишеского легкомыслия (и тоже ничуть не ошибались).

— Я сейчас на Николаевскую, — сказала она. — Это все равно рядом, я захвачу Ошанину, она не запятнана и не привлекалась, вместе и подойдем. Ждите меня тут, я скоро.

И с несолидной скоростью скатился с лестницы, встряхнувшись в самом ее конце, чтобы мимо дворника быстро, но достойно прошел господин Хитрово, занятый умственных и явно с достатком.

Любатович и Перовская переглянулись, молча улыбнувшись друг другу, и прошли в комнату, сев рядом на диван. Говорить, однако, сразу стало будто не о чем — слишком любили все Квятковского. Они сидели, оцепенев, и каждая вспоминала свое об Александре Первом.

А через полчаса такого сидения Ольга вдруг вскочила и, сказав: «Слушай, я все-таки сбегая сама, мне так спокойней будет», — выбежала, на ходу влезая в рукава короткой кроличьей шубки.

Знака опасности на окне второго этажа не было, да, впрочем, наледь на окнах мешала рассмотреть как

следует. Ольга поднялась на этаж и дернула шнур звонка.

На пороге стоял очень высокий осанистый городской.

— Я, собственно, к портнихе, — пролепетала Ольга неправдоподобно севшим голосом, — или это другой этаж?

— Заходите, барышня, сейчас разберемся, — городской сделал приглашающий жест, отступая в глубь квартиры.

Квятковского и его фиктивной жены Евгении Фигнер уже не было. На диване валялась толстая кипа второго номера «Народной воли» и еще множество бумаг. Отдельной кучкой лежали на столе связки провода и какие-то медные цилиндры.

Оглядевшись, Ольга успокоилась, пришла в себя и тут же сообразила, что городского надо срочно увести — Ошаниной нет или Морозов только разыскивает ее. Знака опасности — горшка с молодым фикусом на окне не было, она не ошиблась. Значит, они придут сюда.

И тут же горько заплакала, запричитала, что муж не просто будет ругать ее за отсутствие, что муж побьет, что уже были такие случаи, и пусть разберутся поскорее, сжалившись над невинным, и без того подозреваемым человеком. Потоптавшись, городской сказал, что отпустить ее он никак не может, нет, нет, пусть и денег не предлагает, служба есть служба, он для того поставлен, а в участок может отвести, не дожидаясь сменщика, — конечно, раз такое дело, там разберутся побыстрей.

Они уже прошли один пролет лестницы, когда им навстречу неторопливо выплыла из-за поворота надменная светловолосая красавица с огромным затейливым пучком на голове, ступающая по грязной лест-

нице доходного дома как по дворцовым мраморным ступеням. Еле окинув городского и худенькую фигурку рядом с ним скользящим незамечающим взглядом — много девок, мол, развелось нынче по городу, всех не переловишь, — она проплыла мимо, прошла, нисколько не задерживаясь, ближайший этаж и медленно, важно стала подниматься дальше. Когда уже замерли ее шаги, городской, остановившийся было в нерешительности, кивнул Любатович, что надо торопиться, даже подмигнув — мол, пост, засада, и они быстро и дружно пошли рядом по улице. А надменная красавица Ошанина (по мнению Любатович, все-таки длинноватое у нее было лицо), увидев их через окно лестничного пролета, мигом потеряла свою величавость, и барабанной дробью простучали вниз по лестнице каблучки ее роскошных полуботинок.

В участке, бессмысленно пляя заплаканные глаза, молодая дамочка, пойманная в квартире взрывателя, сказала, что от нервного волнения забыла свой домашний адрес, куда они переехали недавно. Околоточный не стал помогать, выпрашивать, настаивать. Он был опытный человек. Он просто дал ей час времени.

И пригрозил Петропавловской крепостью. Это была самая страшная в привычном его представлении угроза — он и подчиненных при случае крепостью пугал, и нерадивого дворника, и пьющих мастеровых, и собственных детей, потому что пугать их коллегами-полицейскими было как-то неудобно. (Клеменц заметил однажды, что потому, возможно, россиянин так и боится полиции, тюрьмы и крепости, что это для него сызмальства — реальность в разговорах взрослых, и впечатывается постепенно, впитывается, проникает на всю жизнь и куда глубже, чем несчастная

баба-яга или нестрашный серый волк. Их-то не видно, а полиция — вот она.)

Ольга почти бездумно, хотя пыталась отыскать варианты побега, просидела час в пустой комнате на большой деревянной скамье вокзального вида. Когда вошел околоточный, покорно назвала адрес. Он ничуть не удивился и назначил двух провожающих. Когда приехали по указанному адресу, выяснилось, что квартиру эту занимает генерал от артиллерии в отставке, и дворник такую женщину отродясь в глаза не видел. Она снова плакала и умоляла вернуть ее в ту часть, откуда была привезена. Весь обратный путь за ней следили гораздо зорче. В части она сказала околоточному, бросившись к нему, как к давнему своему знакомому, что просит прощения, умоляет срочно ехать, что вот он адрес, но фамилию не скажет, пока не подъедут к дому, чтобы мужа не предупредили раньше, потому что ревнив, жесток и безжалостен, и уже были случаи, когда нещадно бил, а обычных оскорблений и вообще не перечесать.

Околоточный хмуро пообещал ей, что если наврала и в этот раз, то он уже сразу сдаст ее куда следует, потому что из квартиры взрывателей так просто по домам не развозят, а сдают немедля и уже без возврата. Она благодарила со слезами. Прошло уже несколько часов, Морозов предупрежден и наверняка исчез, а из квартиры убрано все великое множество бумаг, которым сопровождается каждый выпуск «Народной воли», собираемый у них за неимением помещения редакции. А там — кривая вывезет, хоть какой-никакой, а паспорт дома есть, есть квартирная хозяйка, есть приличная квартира, а муж — побежал искать, дело будничное, коли жена вертихвостка.

Двери им открыл Морозов. Чуть не потеряв сознание от ужаса, Ольга еле нашла в себе силы про-

должать игру. Она, плача, бросилась ему на грудь, умоляя простить и объясняя, что произошло. Господин Хитрово был приветлив и сдержан. Он попросил полицейских войти, предъявил документы, ужаснулся, что жена звонила в квартиру арестованных утром взрывателей, говорил о явном недоразумении и ее действительно слабом рассудке, легко теряемом от волнения, почему и доктор советовал не раз ехать на карлсбадские воды. За беспокойство предложил красненькую, и один из городских, уже уступая было, посмотрел на старшего, но тот взял себя в руки и сказал, что до выяснения никак нельзя. Он взял оба паспорта и отправился в часть, оставив второго в квартире, где было чисто, пусто и свежо прибрано. «Квартира очищена, — успел шепнуть Морозов. — Я остался тебя ждать на всякий случай».

Теперь уже они поступали не сговариваясь, чувствуя друг друга, как актеры хорошо сыгранной труппы. Господин Хитрово позвал квартирную хозяйку. Ольга, волнуясь и глотая слова, чистосердечно рассказала ей о постигшей их неприятности и что вот хороших людей зря беспокоили, ну она еще отблагодарит их, а пока пусть хозяйка напоит городского с холода чайком с вареньем. Хозяйка поахала, пособолезновала и позвала городского на кухню откусать, чем богаты. Поколебавшись минуту, он пошел, коварно повесив шинель на шубу господина Хитрово. А еще через пять минут, накинув летние пальто, Любатович и Морозов, крепко-накрепко взявшись за руки, прошли мимо полуотворенной кухонной двери, скатились по лестнице, вмиг нашли извозчика и опомнились уже только в доме Ошаниной, спохватившись на ее лестнице, что идут, стараясь ступать потише.

Там уже было полно народу, все взволнованно 285

обсуждали происшествие и застыли, увидев их, а потом кинулись обнимать, расспрашивать и восторгаться — кто находчивостью Любатович, кто — легкомысленным и преданным мужеством Морозова. Что произошло с Квятковским, как полиция напала на его квартиру, никто не в силах был понять. (Потом только выяснилось, что донес один из случайных читателей «Народной воли», которому номер попал в руки.)

Коля Саблин явно сдерживался, чтобы не сказать что-то, ходил, присаживался, молчал, но потом не выдержал. И так точно изобразил Дворника, будто и впрямь это был Михайлов. Он сказал, что хотя сейчас не время их ругать, они герои, конечно, молодцы, но оба они не правы. Ольга — что побежала туда сама, не дожидаясь прекрасно задуманного посещения ни в чем не запятнанной Ошаниной, а Воробей — что осталась ее ждать, отдавая, но сути дела, еще и себя в руки полиции. Хорошо, что повезло, но рисковать так они права не имели, жизни обоих принадлежат партии и нужны для дела. Ольга вспыхнула от унижения и злости, полушутки этой не принимая, но Морозов, сильно сжав ей руку выше локтя, в игру спокойно вступил и сказал своим мальчишеским голосом, что Дворник, безусловно, прав, на все сто процентов прав, но пусть ответит: он бы так не поступил? И все засмеялись, включая Саблина, потому что и Дворник сделал бы так же, ни у кого сомнений не было, и любой из них бы сделал, и этот побег отчего-то вселял надежду, что завтра — чем черт не шутит? — и с Сашей все обойдется, потому что прекрасный мужик Саша и обязательно как-нибудь должно обойтись.

286 Александра Квятковского повесили. Он ничего не сказал и никого не назвал, прекрасно вел себя на

процессе. То был первый процесс «Народной воли», и судил их ускоренный военно-полевой суд.

Столько высоких сановников пришло посмотреть на неуловимых злодеев, что Арон Зунделевич писал в записке, тайно переданной с суда: «У нас в зале такая публика сидит, что крестов у нас, как на кладбище, а звезд — как на небе». Зунделевич получил каторгу. А Андрея Преснякова, убийцу предателей и шпионов, — повесили вместе с Квятковским. Это случилось почти через год.

Но в тот ноябрьский день удачного побега все были взбудоражены и веселы. Морозова и Любатович решили до приискания квартиры и на время неминуемых горячих розысков посадить в карантин, поселив в надежнейшее место, в святая святых организации — в типографию в Саперном переулке. Они ехали на извозчике, тесно прижавшись друг к другу, и ничего на свете не боялись.

* *
*

Им отдали маленькую комнату, и Ольга целый день, только изредка забегая сюда, то помогала набирать номер, то стряпала, а Морозов с утра до вечера сидел у стола, но ничего не писал. Душевный подъем, который не покидал его с Липецка, испарился без следа, уступив место тяжелым и болезненным колебаниям. Он больше не в силах был сговариваться с Тихомировым. Что-то резко и сильно разладилось в их отношениях, и они сцеплялись, едва сойдясь, из-за каждого пустяка. Тигрыч отверг уже две статьи Морозова, объяснив логично и внятно, что нельзя печатать статьи, идущие вразрез с партийной программой, которая появится в третьем номере. Морозов писал, что от правительства требуется

дать свободу слова и другие давно достигнутые всеми народами права, а до тех пор народвольты будут множить взрывы и покушения, а Тихомиров провозглашал в новой программе требование народного Учредительного собрания. Это бесило Морозова, выводило его из себя, потому что глупость — требовать Учредительного собрания, когда народ не подготовлен к нему и уверен, что самая лучшая надежда — на доброту батюшки-царя. Разве случайно удалось Стефановичу именем царя организовать крестьян в Чигиринском уезде? Афера, а поучительная.

А Тигрыч уповал, что добьются Учредительного собрания, даже что-то об удачном перевороте начал уже поговаривать. Спорить было трудно с Тигрычем, — спорил он, язвительно улыбаясь, доводы передергивая, стремительно меняя ход суждений. После этих споров Морозов по нескольку часов ходил с неприятным ощущением своей умственной убогости и бесполезности делу, которому без толку, выходит, посвятил себя при такой дурацкой голове. Вспоминал каждый раз такое же свое чувство неполноценности, когда еще гимназистом классе в четвертом познакомился с настоящим студентом и взял у него почитать учебник по физиологии. А когда возвращал, студент сказал назидательно, что главное не само чтение, а умение при этом обобщать. Например, читая о пищеварении и питательных веществах, думал ли Морозов об Ирландии и ирландском народе?

— Не думал, — сокрушенно признался Морозов. — А надо было думать, да?

— Можно было подумать, — сказал студент. — Вы ведь прочитали, что в картофеле содержится главным образом очень слабо питательный крахмал, а в Ирландии едят главным образом этот вот как

раз картофель, и, следовательно, ирландский народ непременно должен вырождаться.

И в отчаянии и кошмаре ушел от него Морозов, и от стыда за свой ничтожный разум больше туда не приходил. То и дело Тихомиров быстро и уверенно приводил его в любых спорах к такому же о самом себе впечатлению.

Только это вовсе не единственное было, просто последнее время споров было вообще очень много. А то, о чем не спорили даже, бесило Морозова еще больше. Появилась строжайшая секретность, никто ничего не знал о любом намечавшемся деле, кроме основных исполнителей, и Морозову казалось, что дух товарищества и преданности взаимной — испарится от этого в короткий срок. В самом лучшем, но чиновничьего пошиба обществе он состоять не хотел. Его недавно спросила Баска Якимова, правда ли, что у них есть теперь свой человек в Третьем отделении, и он должен был промолчать, и у Баски брызнули слезы! Он тогда скандал закатил Дворнику и Тихомирову, это еще в октябре было, Баска только недавно закончила гнать динамит, под глазами у нее черные мешки висели, и ей нельзя было ничего сказать! Для чего же она жизнь свою и здоровье отдавала с утра до ночи? Дворник поморщился в ответ на это, пощипал свою бороду-эспаньолку и сказал, что Баске — можно. А Верочке? Верочке Фигнер — можно? Зачем эти игры среди своих? А если всерьез не доверяют — значит, уже не совсем свои. А если не совсем свои, чего ради они собственную смерть готовы целееустремленно и с радостью?

— Романтик ты, Воробей, поэт, — сказал кисло Тихомиров. — Каждый во имя собственной идеи жертвует, во имя убежденности, и не все ли равно — будет он больше знать или меньше?

— А во имя какой идеи ты с нами, Тигрыч? — выпалил Морозов, больше не в силах удерживать в тайне то, что сказала ему Ольга. В разговоре каком-то Тихомиров, настроенный в тот день уныло, сказал, что в успех революции он не верит и потому только продолжает прежнее, что здесь все его близкие друзья. Все это в гневе и выложил сейчас Морозов.

— Ольга твоя болтунья и истеричка, — спокойно ответил Тихомиров. — Я если и говорил что подобное, то в смысле неверия в скорую победу. А будь я совсем пессимистом, чего ради стал бы я идти со всеми? Я ведь и статьи в легальной печати мог всю жизнь писать преспокойно.

Морозов смутился чуть — он знал способность Ольги преувеличивать и толковать как хочется. И тон его стал гораздо миролюбивее.

— Ладно, Тигрыч, извини, если что не так, — сказал он. — Только на идиотское это Учредительное собрание я работать не намерен. Ты меня еще раз извини, но я народа видел больше тебя вдесятеро...

— А хоть и в сотню, — язвительно сказал Тихомиров, давая понять безжалостно, что видеть мало, нужен еще трезвый ум, а Воробью трезвости, это все знали, не хватало, как пожару — воды.

А Михайлов смотрел молча и пока не вмешивался, с уважением слушая обоих, но с тоской понимал Морозов, что ему опять, как тогда, как раньше, почти безразлично, что пишет газета. Должен факт получиться, тогда сразу станет яснее, что и как.

И теперь сидел Морозов, не выходя почти из крохотной комнатки, и думал мучительно и напряженно, а вернее, хотел думать, но голова была тяжелая и пустая, чем он станет заниматься, потому что из редакции твердо решил выйти.

К самому концу месяца вернулся из Москвы Дворник, все типографские собрались вокруг него вечером, он рассказывал, нисколько не огорченный — не получилось, другой раз получится, — а потом о чем-то Морозова спросил, и Морозов сорвался вдруг.

— Выхожу я из редакции, Дворник, — сказал он, стараясь на Михайлова и Ольгу не смотреть и говорить беззаботнее. — Больше я с Тигрычем не хочу и не могу. Ему стало приятно начальником быть, а между прочим, выбирали редакцию, никого главным не назначая.

— Но он еще и член Распорядительной комиссии и, — негромко сказал Михайлов.

— А он ждет твоего приезда, чтобы всем собраться и его переизбрать, — сказала вдруг Соня Иванова.

— Я не знал этого, — сказал Дворник.

— Да, да, он говорит, что у него времени не хватает бегать по делам, ему писать и а до, — подтвердила Соня.

— А я больше не хочу в редакции, — упрямо повторил Морозов. — Тоже сяду и буду что-нибудь писать. Например, биографию Варвара.

— Это как же? — прыснула Соня Иванова, которую все называли Ванькой: очень смешливая, она то и дело говорила «не валяй ваньку» и смеялась. Это она впервые засмеялась со дня ареста Саши Квятковского.

— А что, — заговорил Морозов быстро и очень громко, — Варвар заслужил биографию. Кропоткин из тюремного госпиталя бежал на ком? На Варваре! Мезенцева казнили — кто ребят увез? Варвар! Преснякова из крепости освободили — кто был в пролетку впряжен? Варвар!

— Не волнуйся, т е з к а, — тихо сказал Бух.

— Поговорим, — сказал Михайлов, поднимаясь. — Соберемся и поговорим.

Но четвертого декабря отодвинулись куда-то все распри, потому что в один день сразу двоих лишилась партия: Ширяева и Мартыновского.

Степана схватили случайно, во время повальных обысков — после московского взрыва одна за другой следовали облавы по Москве и Петербургу. А Мартыновский попался еще глупее.

Хозяйка квартиры, где содержал Йохельсон свою «небесную канцелярию», предупредила его, что о нем спрашивали днем какие-то настырные двое. Он кинулся к Дворнику. Тот велел, минуты не медля, везти чемодан с «канцелярией» на Николаевский вокзал и сдать в камеру хранения, квитанцию отдав Мартыновскому. Тот, день обождав, чемодан забрал, чтобы кладовщики его не вскрыли для проверки, и снял номер в меблированных комнатах у вокзала. Был ночной обыск по всему этому доходному дому, но офицер производил его кое-как и уже собрался уходить. А у Мартыновского торчала в книге закладка — офицер глянул случайно — это была набранная в их типографии запрещенная поэма Некрасова «Пир на весь мир». — Это у вас откуда? — спросил офицер. А Мартыновский, для себя самого неожиданно — будто помешательство нашло какое, затмение разума, указал вдруг на чемодан, стоявший под кроватью (даже ведь не знал, что там!) и сказал весело: — Да вон там этого добра много!

В чемодане было сто шестьдесят семь печатей, образцы подписей, формы удостоверений и запалов несколько, на время туда попавших.

Теперь надо было срочно восстанавливать «небесную канцелярию», и Морозов принялся за вырезывание печатей из грифельной доски, он давно в себе

обнаружил превосходное умение это делать, очень гордился им, но потом оставил. Из-за близорукости — надо было очень напрягать глаза — невыносимо разламывалась голова, да отыскиались и другие умельцы. Но теперь было времени слишком мало, снова предстояли разъезды, и он с утра до ночи гнулся над мелкими буквами.

Уже была снята новая квартира, в ней он и сидел, орудуя ножом и скальпелем, и незаметно подошел Новый год.

Его встречали все вместе, шумно и взбудораженно, он для многих мог оказаться последним, да и вместе редко собирались.

На круглом столе посреди комнаты в конспиративной общей квартире поставили огромную суповую чашу, а в нее накидали по строгому рецепту сахар, лимон, специи, заливши их ромом и вином. Погасили свет и с шумом подожгли смесь. Она вспыхнула голубоватым спиртовым пламенем с оранжевыми прожилками, и сразу в комнате запахло густо ипряно. Лица столпившихся озарял огонь, по ним бегали тени, все раскраснелись, и Морозов, вытащив свой кинжал, с которым не разлучался, молча положил его на чашу. И еще двое положили такие же свои кинжалы, и все запели, не сговариваясь, «Гей, подивуйтесь, добрые люди, що на Украине повстанье». Они пели, объятые общим настроением спаянности и обреченности, и не было никаких разладов среди них, потому что не было больше других таких людей, да и этим суждено было очень скоро выгореть, как тонкому горючему слою на поверхности огромной этой чаши. А допев, разлили всем и стали чокаться, обнимая друг друга.

Потом еще пели, потом танцевали, сняв обувь, чтобы не пришли соседи.

В Петербурге была повальная мода на спиритиче- 293

ские гадания, они тоже решили попытаться. Большой лист бумаги расчертили буквами, поставили перевернутое блюдечко, сели вокруг, положили руки на стол, вызвали дух Николая Первого и спросили, какой смертью умрет его сын. Блюдечко, к общему удивлению, задвигалось постепенно и неуверенно, потом чуть не запрыгало, и получилось — по буквам затронутым — от отравы. Яда партия не применяла, да еще почти все сидевшие тут знали, что готовится очередной взрыв, и сразу интерес к гаданию остыл. И уже еле различимый, мутный и тяжелый, стал вползать через окно рассвет. Расходились по двое, по трое, Ольга многозначительно глянула на Морозова: Желябов ушел с Перовской — она давно ему это говорила, и они тоже двинулись, распрощавшись. У ворот на скамейке спал дворник, дыша так жарко, что пар от его дыхания вырывался из-под воротника тулупа, как из медвежьей лесной берлоги. Ольга молчала, ежась зябко, они нашли извозчика, поехали, и тут, прижавшись к нему очень крепко, а лицо пряча вниз, в воротник его легкого пальто (шуба господина Хитрово так и осталась под арестом), она сказала ему, что ждет ребенка. Он ничего не ответил, только обнял ее крепко-крепко, но весь хмель слетел мгновенно, и все заботы месячной давности показались ребячеством рядом с этой.

А в первых числах января Михайлов, ничего не забывавший, созвал большое собрание членов Исполнительного Комитета. Речь шла о перевыборах Распорядительной комиссии, а также — об одобрении программы, напечатанной в третьем номере «Народной воли».

Дворник попросил, чтобы все высказали, что думают — в одобрение или с замечаниями. Места не хватало, так что приспособились кое-как, и тут все разом

обратили внимание, что только двое — Тигрыч и Воробей — стоят.

Оба высокие, худые, горбящиеся. Только у Морозова было цветущее румянцем нежное лицо мальчишки, которому и воздух тюрьмы оказался покуда нипочем, и густые лохматые волосы, так что очки казались на этом лице чем-то лишним, как у гимназиста, играющего в студенты; а у Тихомирова лицо было вялое, глубоко запавшие глаза и прямые, безжизненные, аккуратные пряди. Морозов был подвижен, общителен, дружелюбно распахнут, а Тихомиров сдержан, язвителен и солиден. И потому с Морозовым шутили, часто не принимали всерьез, удивлялись, когда он проявлял знания или был рассудительно трезв, а Тихомирова уважали, даже побаивались. Бунтующие против мира, в который так и не вступили, слишком рано став изгоями и отщепенцами, они инстинктивно уважали взрослость, а Тихомиров был от рождения взросл. И им, рисковавшим жизнью непрерывно, даже бравировавшим заведомой недолгостью своих жизней, казалась естественной его осторожность, его неучастие ни в одном деле с оружием, его отчужденное умствование там, где они бросались очертя голову и не думая о последствиях. Тихомиров всегда держался как человек, знающий Нечто, и его очень уважали, не любя. А Воробья любили, уважая куда менее, ибо он был понятным и своим, но неловким и чересчур восторженным.

Все высказались за одобрение программы. Вернее, всем казались мелочью детали и тонкости будущих преобразований перед лицом того, что факт покуда не совершен, так чего же спорить и ругаться, когда есть живое дело, общая честь поставлена теперь на эту карту, общее достоинство требует удачи, наконец. А тогда уж и посмотрим, что получится.

И Морозов молчал, опустив голову, потому что понял бесполезность переубеждений и споров, и так же молча принял участие в перевыборах Распорядительной комиссии. Но Михайлов, его уже достаточно знавший и упрямяство его даже одобрявший — ведь неосценимую роль сыграло оно в создании партии, — понял, что с Воробьем кончено. И чтобы он сразу не сорвался, сгоряча и необдуманно что-нибудь не заявил — потом из упрямяства будет ведь отстаивать, знаем — Михайлов весь вечер старался держаться от Морозова подальше. Благо, это было нетрудно, — Воробей не двинулся с места.

В начальство довыбрали Перовскую, и все разошлись постепенно. Дворник долгим взглядом проводил Морозова и Любатович, и наутро к ним пришел Фроленко. По лицу его, оживленному и смеющемуся, по глазам, бегающим от Ольги к Воробью, и шумной веселости было сразу ясно, что сегодня немногословный практик Фроленко — хитрец, дипломат, Макиавелли, Талейран, Цицерон.

— Ну что ты к нам пристал? — сказал он. — Чего ты хочешь?

— Ничего, — сказал Морозов. — Уженичего.

И тут Михайло взорвался целым каскадом слов, что само по себе было так для него непривычно, что через пять минут он сконфуженно и устало умолк, и у Морозова прошла злость на Дворника, подославшего посредника.

Фроленко то же говорил, что вчера говорили все, только чуть на свой лад: мол, неужели ты сам не понимаешь, что наплевать покуда на тонкости будущих планов и вообще на все, что вы там пишете, глядя из типографского окна. О шпионах оповещать — это надо, а теории — пусть пока любые будут, важна сегодня практика, улица и то, что происходит на

ней. А на ней пока — неудачи, и всем надо наваливаться на одно, ты же сам, если не согласен, — бросай редакцию, вырезывай печати, польза настоящая и явственная.

— Нет, Михайло, печати не буду, — сказал Морозов хмуро. — Я лучше уеду на юг и буду работать с молодыми. Ольга, естественно, тоже со мной.

Ольга молчала неприязненно и холодно. Она знала, когда и с кем надо говорить, но в разговоры Морозова не вмешивалась, понимая, что все равно куда лучше влияет на него, оставаясь наедине.

— Распорядительная комиссия против того, чтобы ты ехал туда, — сказал Фроленко солидно. — Чем ты научишь молодежь, если ты против Учредительного собрания и за голый террор.

— Во-первых, я, Михайло, не за голый террор, а за требование политических свобод, пользуясь им только как средством, а во-вторых, — и, не выдержав тона, Морозов рассмеялся, — ты сам только что говорил, что тонкости теории яйца выеденного не стоят.

Фроленко обреченно махнул рукой, и вмиг исчезли Цицерон, Макиавелли и Талейран. Сидел смеющийся и готовый хоть сейчас куда угодно, отчаянный и спокойный Михайло.

— Решайте без меня, — сказал он. — Как знаете. Честно тебе сказать, у меня есть на самом деле согласие комиссии, чтобы ты, если не хочешь в редакции, ехал пока на юг. Но я тебе этого не говорил, ладно? Потому что должен был заставить тебя помириться со Стариком под угрозой, что иначе посадим вырезать печати.

И, поднявшись легко и бодро, ушел Фроленко по своим делам. А Морозов, посмотрев на Ольгу, пошел в свою комнату, аккуратно притворив дверь, что означало нередкое в эти дни желание побыть одному.

Сожаления о газете, необходимость пристроить Ольгу, какой-то разлад душевный — все это навалилось сразу. Он не знал еще, что время само приносило развязку, разрубая узел, который он старался аккуратно и обдуманно распутать.

* *
*

Дворник никогда при всех не разносил Александра Первого, но все знали, что за безалаберность Квятковскому здорово достается. Столько же, сколько Воробью, только Александр Первый был обидчив и самолюбив, и его распекали тайно, а Воробью — говори не говори хоть при ком, он все равно смеялся жизнерадостно и обещал, как мальчишка малый: больше никогда-никогда.

Когда Николай Бух принял типографию и стал Лукой Афанасьевичем Лысенко, то Соню Иванову можно было просто повенчать с ним в ближайшей церкви, и дело с концом — документы были прекрасные. Но, чтобы не тратить время на хождение вокруг аналоя, Квятковский взялся повенчать их самолично, изготовив брачное свидетельство. «Канцелярия» в это время была как раз у него в Лесном на даче под кроватью. Правда, Воробей, в разговор случайно повернувшийся, сказал, у Клеменца шутить научившись по любому поводу, что Квятковский, скорее всего, просто не хочет, чтобы Бух в церкви целовал Соню, но Воробья быстро турнули.

А когда это брачное свидетельство было изготовлено, педантичный Коля Бух заметил в нем какую-то неточность, и Квятковский, согласившись, что поспешил, на завтра изготовил новое.

Они не знали, что испорченный этот бланк Александр Первый не порвал, а сунул в тетрадь с образ-

цами, и он, таким образом, оказался в начале декабря в полиции.

Все бумаги, найденные в чемодане, полиция разбирала сама, желая утереть при случае нос жандармам. Дошла очередь до Луки Афанасьевича Лысенко. Оказалось, сообщил стол справок, что такой действительно существует, проживая с указанной женой в Саперном переулке 10. И просто ради проформы, чтобы все было ясно и понятно, к Лысенко этому решили заглянуть — отчего, мол, именно его фамилия значилась на нелегальном фальшивом образце. Собирались довольно долго, потому что по горло было действительно важных дел. Но в конце концов собрались.

Поздно вечером, уже почти в ночь на восемнадцатое января 1880 года в типографии дернулся и задремал звонок парадного хода.

* *
*

Утром восемнадцатого, когда они еще только-только встали, Ольга увидела Желябова, быстро пересекавшего двор. Она отскочила от окна — еще была не совсем одета, но он и не смотрел наверх. Сильно и торопливо постучал. Морозов побежал к двери.

— Ночью взяли типографию, — почти выкрикнул Желябов, запыхавшись, — значит, и наверх бежал. И вздохнул облегченно. — Я боялся, ты с утра туда пойдешь.

Рано утром в этот день Дворник, изменив своему обыкновению выходить ровно в одиннадцать, спешил в типографию по неотложному случаю и увидел недалеко от дома большую толпу зевак и шнырявших в ней филеров, их можно было узнать безошибочно. Протолкался с трудом вперед — увидел картину

страшного разгрома. Окна были высажены с рамами, на земле валялись части станка — даже вал кто-то донести до окна ухитрился, много было бумажного хлама и мокрого пепла. Что-то, значит, успели сжечь. В толпе говорили, что ночью здесь был настоящий бой: пальба стояла больше часа, приехала тьма полицейских, будто бы квартиру брали штурмом, но убит только один нигилист. Или застрелился сам. А в квартире что-то так долго жгли, что примчался пожарный обоз, но повернул обратно, узнав, в чем дело, и даже свою лестницу полицейским не предложил.

Михайло неторопливо выбрался из толпы, заметил мельком, как схватили двух зевак, показавшихся подозрительными, и быстро послал Желябова остановить Воробья, который ходил в типографию постоянно.

— Ж а л ь , — говорил Ж е л я б о в . — Жаль. Превосходно была устроена типография.

— Да ты же там не был ни р а з у , — машинально сказал Морозов. Он о чем-то думал сейчас, но не хотел выпадать из разговора.

— Был один раз, вчера и б ы л , — говорил Желябов, расхаживая. — Я оттого и подвернулся ведь, что утром тоже туда шел опять. Мне надо было с Дворником именно там увидеться.

А Морозов уже полностью включился. И неожиданно сказал растроганно:

— Спасибо тебе большое, А н д р е й . — Даже кличку его будто забыл — Тарас, назвал по имени.

— Это за что же? — Желябов остановился.

— А у нас ведь не было знака безопасности, я не успел сменить, — сказал Морозов. Он ежедневно с утра писал в подъезде у двери начальную букву дня недели, и без этого никто к нему не заходил.

— А, — отмахнулся Желябов, — что ты говоришь пустяки-то, Дворнику только не сболтни.

И оба понимающе улыбнулись друг другу. Желябов успокоился чуть и сел.

— Ну что, все-таки вы решили ехать? — спросил он отговаривающим тоном.

— Да, конечно, — сказал Морозов. — Теперь-то уж тем более поедем.

— Я вам на юге дам несколько адресов, — сказал Желябов.

— А мы не на юг, мы за границу, — сказал Морозов. Ольга удивленно посмотрела на него, но промолчала. Она очень уважала Желябова, даже чуть побаивалась его.

— Как? — изумился Желябов. — Ты что, Воробей? Когда решил?

— Минуту назад, — честно сказал Морозов. — Все равно ведь теперь, пока не поставят типографию, у меня перерыв. Так я лучше другим займусь.

Ольга так просияла, что кинулась на кухню, отворачивая лицо. Морозов посмотрел ей вслед и обернулся опять к Желябову. Помолчали.

— Только ты вернись, Николай, — вдруг сказал Желябов очень серьезно. — Это ведь теоретические всё споры у вас, слова, а по делу ты же сам знаешь, как нужен.

— Приблизительно в сентябре вернусь, — что-то мысленно быстро подсчитав, твердо обещал Морозов. Он прикидывал срок, когда Ольга должна была родить. Они скрывали ее беременность, как напроказившие дети, а теперь подворачивалась возможность уехать для ее устройства, а заодно и самому подумать обо всем в дальнейшем.

Михайлов, через час пришедший, все о типографии рассказав (застрелился Лубкин — Птаха, Соня

Иванова успела сжечь бумаги, рамы они высадили сами — для сигнала, все избиты очень, сейчас в крепости), тоже спросил об отъезде. Даже глазом не моргнул, умница, узнав, что за границу до осени. Наоборот, одобрил горячо. Только сказал, чтобы уезжали сразу, просто немедленно, если выйдет, он даже билеты сам купит, потому что со дня на день граница может стать непроходимой и непроезжей. Понимаешь? Он посмотрел на Морозова со значением, но Воробей, беспечная душа, сказал простодушно, что Ольга все знает, и Дворник не стал ругаться — бесполезно уж, последние дни. Дело в том, что после ареста Квятковского перешло к Желябову ежесдневное почти сношение со столяром Батышковым (Степаном Халтуриным), работавшим в подвале Зимнего. Теперь только ожидалось время, когда царь будет в столовой — от подвала через э т а ж , — а в подвале никого не будет.

С ними никто не прощался — чего там, деловая поездка, только Михайлов и Желябов пришли проводить до поезда. Похлопали по плечу смущенно, расцеловались — столько, казалось, общего, столько надо было сказать, но молчали все, как сговорившись, потому что боялись тронуть что-нибудь наболевшее у Воробья. Играли в игру, всеми молчаливо принятую: до восстановления типографии Морозов получает отпуск, занимается там историей движения, пополнением архива, внешними связями.

Был поздний вечер, старые часы Дворника уже стояли — уникальные были часы, сами останавливались на ночь, будто тоже нуждались в отдыхе, — и колоколу к отправлению все четверо обрадовались нескрываемо.

302 Границу они проехали благополучно и очень вовремя — уже в Вене, выскочив из поезда при пересад-

ке, купил Морозов экстренный выпуск газеты: сообщалось о внезапном взрыве в Зимнем дворце. Царь остался жив и невредим.

Их встречал Сергей Кравчинский, сразу снявшие для них квартиру неподалеку от себя. Первые три дня они провели в непрерывных разговорах.

Так начался для Морозова год, который он не помнил даже, как провел. Он написал за это время книгу «Террористическая борьба» — в защиту всех своих идей, и пожалел только потом, что уступил модности слова и не назвал книгу, как собирался ранее назвать — «Неопартизанская борьба», потому что и впрямь точнее и приятней было именоваться партизанами, а не террористами, в слове последнем слишком был силен привкус и тональность злодейства некоего. Но уже было поздно — назвал. Он стал одним из учредителей новой библиотеки, разрабатывающей теорию движения, он сблизился со множеством новых людей.

И непрерывно, ежечасно, ежеминутно ощущал тоску и оторванность. Нечего ему здесь было делать, только дома его жизнь имела, оказывается, смысл. Но надо было куда ждать, ждать, ждать.

* *

*

Теплым сентябрьским днем Морозов отвез стонущую Ольгу в родовспомогательное заведение доктора Пиаже.

Ольгу забрали, сказав ему, что он может ждать, роды уже вот-вот начнутся, и он, чтобы не толкаться среди других обалдевших слегка молодых мужчин — было их в зале ожидания человек десять, — пошел бродить вокруг огороженного дворика больничного дома. Ольгу ему было жалко, он понимал, как она

мучается сейчас, по жалость была умозрительная какая-то, головная, подлинного сочувствия он не испытывал, а на ум отчего-то лезли назойливо и неодолимо одни и те же мысли и воспоминания, которым уж вовсе стыдно было предаваться в это томительное и странное время. Отчего-то все одно и то же вспоминалось в аккуратном календарном перечислении: как пропадали и гибли одна за другой его научные работы.

Дело в том, что он, уже вступив даже на свой нынешний путь и окончательно с былым простившись, о научных изысканиях все же помышлял порой, стоило только прочесть дельную серьезную книгу. Мозг его, он уже это заметил, склонен был, ухватив первые же частности, тотчас и обобщать, выдвигать общие идеи и концепции, а в тюрьме, в Доме предварительного заключения, где прошли как-никак три полных года жизни, это можно было себе позволить. И он позволял себе сполна, отчего, быть может, и выжил, ни в рассудке не повредившись, ни в мировоззрении. Еще давно, когда он ушел только из гимназии, одна пачка его статей, пачка тетрадок, вернее, была выброшена в печь матерью товарища по гимназии в ожидании обыска. Вторая пачка осталась дома, удалось вынести из камеры, — ее уничтожил отец после второго ареста.

О чем я думаю, черствый эгоист, где-то за стеной, вот здесь прямо, быть может, жутко мучается Ольга и стонет, вся в слезах, и дюжая акушерка то ласково ее уговаривает, то кричит на нее, как разогнуться, как согнуться, как дышать, и ходит наверняка жирный и огромный доктор Пиаже, вся фигура которого обрисована его дурацкой фамилией, а я, единственный близкий ей человек, о чем я думаю, что происходит со мной?

Третий раз работы (он начал увлекаться историей и писал об истории религии) пропали у знакомых курсисток — они отважно жгли безопасные тетрадки высоко почитаемого нелегала, пока в дверь тарабанили жандармы, пришедшие с обыском. И четвертый раз погибли работы — в сортире Дома предварительного заключения, чтоб никому не достаться, когда станут увозить в крепость. Тот раз они погибли совсем напрасно, в крепость так и не повезли. А потом — он держался еще очень долго, и выкраивал время, и читал, и писал — и было толстое сочинение с попыткой ввести в историю систему, как в естествознании и, — и опять все погибло в огне в редакции журнала «Знание», где друзья опасались обыска. Везде и всюду каждый и любой в России ждал обыска, принимал его как реальность быта и, исходя из этой возможности, строил очень многое в своей жизни. Жизни, безмерно обиравшей этой перспективой. После пятой потери у Морозова опустились руки.

Три часа уже прошло, когда конец? Может быть, несчастье какое-нибудь случилось и мне пока не хотят говорить?

Вышла аккуратная маленькая брюнетка в наколке, уже не та, что принимала Ольгу, искала в толпе глазами вопросительно и сказала:

— Господин Феттер?

Это он здесь был Феттер, такой ему устроили паспорт. А может быть, еще кто? Он стоял неподвижно, и она еще раз сказала громче:

— Господин Никола Феттер?

— Это я, — сказал Морозов неуверенно.

Брюнетка расцвела поздравительно и сказала, что родилась дочь. Маленькая, но все пока в порядке. Госпожа Феттер чувствует себя хорошо и просит прийти завтра.

Девочку назвали Бетей — в честь давней подруги Ольги, в честь Бети Каминской, крохотной тонкой девчушки, первой женщины-пропагандистки, пошедшей работать на фабрику, чтобы читать ткачихам книги.

Потом он привез Ольгу с девочкой домой, было много народу, их поздравляли и дружно хвалили непонятно на кого похожий розовый комочек, целиком поглотивший Ольгу с первой же минуты. Бетя кричала тоненько, и говорили, что это голос Воробья, а он был тут совершенно лишним и смотрел на все и всех, в том числе и на себя тоже, будто сидя в стороне где-то.

Уже стекались, между тем, письма с воспоминаниями о хождении в народ, и сдавать пора было переводы для денег, и он ходил в читальню работать, и иногда засыпал там, уронив голову на руки, если ночь выдавалась беспокойной, а потом опять встряхивался, смущенно оглядывался украдкой и принимался за переписку или перевод.

Он собирал неустанно историю движения и, делая это, был счастлив, потому что чувствовал себя по-прежнему хранителем архива партии, в котором все должно было остаться, сохраниться и еще послужить общей памяти и общему делу.

Но была еще переписка, относящаяся не к воспоминаниям, а к злобе сегодняшнего дня, и многим надо было объяснить, отчего он уехал — хотя и на время, взяв отпуск, но уехал, — и это было невыразимо трудно, потому что приходилось при этом заглазно выступать против оставшихся там друзей, с которыми все распри, все обиды мгновенно исчезли и стерлись, как только он оказался вдалеке. И все же следовало объяснить, отчего он выступал против той строгой секретности и конспиративности, той центра-

лизации и подчинения, которые вводили, укрепляли Михайлов и Тихомиров при содействии или невнимании остальных. Это были трудные письма с очень горькими словами.

«Дорогой друг!

...Ты говоришь, что Исполнительному Комитету недостает только интеллигентных сил. — Правда. — Но ведь революционно-интеллигентные силы не падают с неба, одна Афина-Паллада вышла из чрева матери во всеоружии. Нужно, чтобы вырабатывала их сама организация. А централистическая организация не вырабатывает их, она предполагает в товарищах только орудия; инициаторы и интеллигентные силы предполагаются в центре, и их нужно немного. Но вот старый центр исчез вследствие арестов, на смену ему необходимо выдвигаются бывшие орудия. Непригодные, неподготовленные, не развитые жизнью, эти орудия должны играть не подходящую им роль руководителей... Так фатально должны мельчать централистические организации. Так, без сомнения, будет и с Народной волей».

В эти дни в Петербурге непрерывно говорили, что нужны, срочно необходимы новые люди, — а они почти не появлялись. Никто не вспоминал споры Старика с Воробьем, но Тихомиров — тот помнил их, и о Воробье отзывался сдержанно: архив, по его словам, был оставлен далеко не в полном порядке. Все было перемешано хаотически, всюду чувствовалась в записях беспорядочная торопливость Воробья.

С Морозовым активно переписывался Лавров. Горячо разделив мнение Морозова, что необходимо широко издавать литературу и спорить, он просил объяснить ему собственно морозовское исповедание веры. Очевидно, кто-то рассказал ему в письме, что Морозов не просто приехал в отпуск до осени —

проводить жену рожать, а разошелся взглядами в чем-то. Что же он тогда предлагает сам?

Морозов не отказывался объясняться:

«Сущность взглядов наших такова: для социального переворота необходима пропаганда социализма в народе (бунтования и вспышкопускания мы при всем своем желании не понимаем). Правительство, сознавая вред этой пропаганды для себя, склонно ей мешать, а иногда (как в настоящее время в России) делать ее совершенно невозможной. Тогда партия выделяет из себя несколько тайных групп, которые борются с правительством путем систематических взрывов и убийств наиболее видных его деятелей, выставив целью — фактическую свободу слова, печати, сходов, обществ как необходимых орудий для пропаганды в народе. Эта партия сильна не своей многочисленностью, а неуловимостью и энергией. Наступит момент, когда правительство... удовлетворяет требования террористов. Тогда движение снова направляется на пропаганду в народе, усилившись возвращенными из ссылки товарищами...»

Наивные, разметанные временем идеи. Но он глубоко верил в них тогда и упрямо готов был отстаивать. Тем более упрямо, что уже участвовал в подобном сам и собирался ехать продолжать. Отстраненным теоретиком он не был, да и не сумел бы стать. Он защищал и обдумывал свою личную линию жизни. Исполнилось ему — двадцать шесть.

Он спорил то с пеной у рта, то усмешливо и спокойно, то опять распаляясь, со всеми, кто приходил спорить. Он говорил, что нельзя было выставлять в программе лозунгом Учредительное собрание, потому что народ еще не созрел для настоящего волеизъявления и собрание это выскажется за монарха. Недаром же единственно удававшаяся организация кре-

стьян в отряды была обеспечена именем царя. Афера эта была нечистой масти, но теперь-то она — яркий пример. И на переворот посредством заговора тоже уповать неразумно: слишком еще малы силы. И тем более, кстати, не упускал он случая добавить: все равно все силы уходят на террор, все равно ведь выполняется его, в сущности, программа, а осознать ее — они не осмеливаются.

И спохватывался с каждым днем все чаще, что споры эти, в сущности, совершенно ему становятся безразличны. Одно только явно есть, и с каждым днем все острее и острее: неодолимое желание вернуться. Побегать по Петербургу, переругнуться на ходу с Тигрычем, выслушать очередной разнос Дворника за безалаберность, привести в порядок архив у Зотова... Там наверняка готовится что-то, неужели еще один не нужен?

* *

*

В десятых числах декабря пришло письмо, в которое поверили не сразу — проверяли шифр, перечитывали, вертели в руках листок, сообщавший невероятное. Схватили Александра Михайлова.

Он был не просто осторожен и неуловим — он был символом осторожности и неуловимости. Он был стражем и охранителем всех, он не раз спасал других от слежки, показывая им проходные дворы и двойные выходы, он знал в лицо почти всех уличных филеров — и не хвастался, а действительно знал. Конспирация была его увлечением, игрой, страстью. Он обучал ей других, он проверял ее у других, он ссорился и безжалостно ругался за несоблюдение ее правил, он сам уже спасся однажды от совершенно неминуемого ареста, спасая виртуозно и артисти-

чески, и если о ком-нибудь беспокоились из-за рассеянности и неосторожности, например, за Воробья всегда и все, то за Михайлова — никогда и никто. На то ведь он и был Дворник. Устал? Переоценил силы? Случайность? Или вообще начало общего конца?

И здешняя жизнь у Морозова оборвалась при этом известии. Внешне он был здесь по-прежнему: ходил, говорил, участвовал, помогал Ольге, если доверяла что нехитрое, но уже его не было здесь — и душой, и памятью, и умом, и сердцем окончательно и навсегда возвратился он в Петербург. Потому что там, где был только что Дворник — он ощущал это всем телом, всей кожей, не видел, не воображал, а ощущал явственно, — теперь зияла страшная брешь в созданной ими партии. И закрыть ее был единственный обязан — он. Потому что это ведь не Михайлов Александр выбыл навсегда из организации, а его, Морозова, старший брат и ближайший друг старший. Потому и должен был заткнуть эту зияющую брешь — только он. И все еще продолжал жить здесь в оцепенении, похожем на кошмарный сон, когда надо, необходимо бежать, а ноги отказывают бесильно, и не бросался немедленно в Петербург только потому, что вставала сразу же перед глазами язвительная улыбка Тигрыча: с чего это ты, Воробей, вдруг возомнил, что ты нам нужен, вечный спорщик? И Желябова вспоминал тоже: он повел сейчас всех, конечно, больше некому принять все разом, больше не потянет никто, а ему я — нужен ли? И среди этих мучительных, неотвязных, даже ночью не оставлявших споров мысленных и раздумий — вдруг стонал громко или пылко начинал говорить, и Ольга зажимала ему рот рукой. Среди этой борьбы долга и гонора, совести и самолюбия чуть тускнела, забывалась ненадолго главная мысль, что Дворника больше

нет и не будет. Но сейчас же возобновлялась, опять возникала ярко, как трескается вдруг и с новой силой саднит глубокая рана от ожога, и тогда невыносимая ярость заливала ему глаза и кружила голову. Готов был, кажется, попади сейчас в Петербург, о голыми руками броситься на любую охрану в воротах любой тюрьмы, где сидит Дворник, и умереть в этой заведомо обреченной попытке с утоленной и успокоенной душой.

И все медлил, медлил день за днем, и за гордыню себя ругал нещадно, и готов был то кинуться, не дожидаясь зова, то навсегда отказаться от возвращения, чем-нибудь занявшись здесь, то поехать, но все начать сначала, заново набирая согласных. И не ехал.

* *
*

Он еще раньше затосковал — с лета, и Ольга остро чувствовала это и подолгу беззвучно плакала, тайком, а он замечал — волновался, утешал ее, спрашивал, чего она хочет, она не говорила, только отстранялась и съеживалась. Он Сергею писал об этом недоуменно, и многоопытный Кравчинский посоветовал ему не волноваться: у Фанни тоже было такое перед родами, чисто женское, вот-вот пройдет. Дураки все-таки мужчины, всегда думают, что дело в женской слабости. А оно чаще всего — в чувствительности женской тончайшей, то есть корнями и пружинами — вне женщины.

Не проходило это у Ольги. Нет, ненадолго исчезло в сентябре, когда родилась девочка с лицом непонятно чьим, но очень милым и вскоре — осмысленным благодаря большим серым глазам, тут уже явно материнским. Ольга хлопотала вокруг нее с утра

до ночи, да и ночью вскакивала порою без необходимости — просто глянуть и снова лечь в немом восторге. Она расспрашивала, на что они станут жить, — никогда раньше это не заботило ее, она ловко управлялась по дому, сама со всем и всюду поспевая, но не отпускала Морозова далеко, каждый раз говоря, что он вот-вот пригодится.

А месяца через два заметила вдруг, что с ним происходит, может, и не вдруг, но показала, что понимает. Приехали друзья, был восторженный Кропоткин, с жаром излагавший какую-то новую свою гипотезу о биологическом происхождении совести, а потом кто-то заметил, что Морозов непривычно мрачен, и спросил, отчего это он. Морозов пожал плечами и сказал, что нет, не мрачен, и не знает отчего.

— Я знаю, отчего он та кой, — вдруг громко сказала Ольга, глядя на него с неприязнью, которую он впервые в ней видел. — Это он сидит только с нами, а душой и умом он уже полгода как там — бегает по Петербургу и устраивает факты и статьи. Что вы не видите, что ли?

Нет, она даже не с неприязнью смотрела — со враждебностью. Она видела в нем сейчас не любимого Воробья, а одного из ставших чужими людей, отнимавших у нее любимого Воробья, и ненавидела его за это. Потом разрыдалась вслух и выскочила. Все недоуменно и сконфуженно молчали.

— А вы и вправду, Николай? — спросил Кропоткин.

— Не могу больше, — сказал Морозов. — Меня ни днем ни ночью не оставляет чувство, что я какими-то мягкими крючками разрываюсь изнутри. Честное слово. У меня так было уже однажды, — добавил он, неловко усмехаясь, — когда решал, наукой заниматься или революцией.

— Как я тебя понимаю! — сказал Кравчинский так легко и с пафосом, что Морозову даже неловко сделалось от мгновенно прозревающего чувства: не понимает ничуть. — Но у меня плохая примета: сломался кинжал, которым я казнил Мезенцева.

— Как сломался? — живо спросил Кропоткин, обродовавшись перемене трудной для всех темы.

— Очень просто, — сказал Кравчинский. — Я колл им щепки для печки. Больше года он терпел и вдруг сломался. Плохое предзнаменование, подумал я. Да и жаль его: историческая вещь. А очки у тебя целы? — спросил он у Морозова.

— Да это они и есть, — сказал Морозов, протирая стекла платком и оттого сидя с опущенными глазами.

Не глядя ни на кого, вернулась Ольга безо всякого следа слез. Виновато улыбнулась, стала разливать чай. Морозов горячо и много говорил о задуманной для издания социально-революционной библиотеке — гигантском архиве революционных знаний, где каждый сможет отыскать себе нужное. Говорил и боялся остановиться. И все слушали его, боясь, что он остановится.

В конце декабря было еще письмо. Дружеское письмо приятелю, даже дальнему родственнику, возможно, уехавшему за границу погулять и поразвлечься. Однако даже в легкомысленном тоне этого открытого текста, который и сочинялся-то исключительно для того, чтобы оправдать письмо, содержащее невидимый до проявления настоящий текст, даже в тоне этого дружеского послания загульному другу сквозило нескрываемое и явное: приезжай, уже пора. И это естественно было вполне, ведь писал оба текста один человек, и сочинение открытой части диктовалось тем же чувством, и даже более того —

не тормозилось соображениями партийной сдержанности в проявлениях.

«Любезный друг!

Письмо твое относительно невозможности для тебя уплатить долг, который ты сделал, я получил. Придется как-нибудь похлопотать, чтоб новым займом удовлетворить кредитора, который настойчиво и нахально требует своего. По крайней мере, я могу утешаться надеждой, что, порастратив свои деньжонки, ты, наконец, вынужден будешь опять явиться сюда для нового накопления оных, для поправления твоих финансовых обстоятельств. Хоть денежная чахотка заставит тебя вспомнить отчий дом и родственные связи. Это выходит — нет худа без добра, и чем хуже пойдут твои карманные дела, тем скорее, значит, ты очутишься в наших дружеских объятиях. А соскучились мы об тебе порядочно-таки. Ты там ходишь туристом по горам, любишь грандиозными картинами природы, а об нас и думать забыл: вспоминаешь лишь тогда, когда у тебя возникают разные денежные вопросы. Ну, а у нас видов природы никаких нет, любоваться нам нечем — вот ты у нас и лежишь на сердце. Хоть бы писал чаще! А то когда-когда пришлешь весточку — не тароват на послания — нельзя похвалить. Ну, довольно, пиши-ка теперь ты. Целую тебя.»

И неразборчивая то ли подпись, то ли первые буквы слова из словаря такого же повесы автора: АМ, что означало бы тогда амиго — друг.

А между строк, немедленно проявленных, та же Верочка Фигнер деловито и сдержанно писала ему от имени всех: «Мы очень рады твоему решению приехать и просим тебя поторопиться с приездом, не откладывая дальше: если не имеешь денег, напиши,

и сколько именно надо для этого...» Дальше шли новости и поручения.

Странно человек устроен: письмо это будто чуть остудило его. Он о решении ехать вовсе не сообщал в Петербург — желание было мучительное, он о нем и писал в Россию. На письмо ответил сдержанной благодарностью. Денег не нужно было: деньги в любую минуту предлагал богатый женеvский студент Лакиер. И деньги, и паспорт. Теперь острее была боязнь и неловкость оставить Ольгу с девочкой. Она молчала. Он рассказывал, сколько сделал уже для старых друзей: в Россию уезжает новая типография, будет новая нелегальная газета. Будут выходить книги о теории и практике революции — даже если он уедет, все равно будут выходить, хотя, конечно, при нем это двигалось бы наверняка. Ну да и так не захиреет: Плеханову эта идея очень по душе. И о больших денежных суммах удалось здесь договориться. И новая боевая группа готова выехать в Россию немедленно. Интересно, как там у них. Ольга молчала. Не было ни слез, ни отговорок. Только прижимала к себе девочку, покачивала и молчала.

А в середине января пришло письмо от Сони Перовской, — она ведь была теперь членом Распорядительной комиссии, и уж конечно более, чем Тихомиров, подходила ей эта роль. Кто теперь там вместо Дворника? Или так никого и не довыбрали?

Приезжай, писала Перовская, срочно и немедленно приезжай. С арестом Дворника у нас выпало какое-то центральное звено, что-то незримо соединявшее и сплачивавшее нас. Приезжай. Ты очень нужен сейчас. Именно ты нужен. Оставь и забудь споры. Приезжай.

Он молча показал письмо Ольге. Она отерла руки о передник — готовила о б е д, — хмуρο прочла, сделала

попытку отвернуться и тут же бросилась к нему на шею, обливаясь слезами. Будто наверстывая месячное молчание, она говорила, быстро глотая слова и слезы:

— Я знала, что это будет, знала. Ты приговоренный, ты этого сам не знаешь, ты осужденный на революцию, тебе не успокоиться до самой тюрьмы. Что я говорю, господи? Я же знала, что ты не высидишь здесь, почему я не отпустила тебя раньше? Раньше было бы легче. Зачем тебе и я, и ребенок? Я хочу с тобой, я не могу без тебя. Я не долюбила тебя, я тебя не увижу больше. Если ты умрешь, и я умру. Я не хочу без тебя. Уезжай, зачем нам дальше мучиться.

А потом успокоилась, высохли глаза, только смотрела тоскливо, но быстро брала себя в руки и вымученно улыбалась. В тот же день она настояла, чтобы он начал немедленно сворачивать затеянные дела. Через неделю все было кончено, и он полностью готов в путь. Были деньги — ему на дорогу и Ольге на полгода жизни, был паспорт, уже предупрежден был рыжий контрабандист Залман — бесценное наследство осужденного на каторгу Зунделевича.

Последние часы перед поездом они провели на скамейке в пустынном скверике возле русской миссионерской церкви. Отсюда, с горного уступа, на котором стояла беленькая небольшая церковь, раскрылся вид на темно-голубое Женевское озеро, а дальше — на снежные отроги гор. Величественно и равнодушно лежало все это недвижимое великолепие. Уже столько изгнанников, беглецов и обреченных видело это центральное озеро вечно нейтральной Швейцарии, всегдашнего приюта изгоев, для очень немногих становившейся страной лотоса, для большинства — лишь местом краткой передышки перед новой

схваткой и чаще всего — перед неизбежной смертью.

— Я не долюбила т е б я , — повторяла Ольга одно и то же, обвив руками его шею и пряча лицо в рубашку. — Если ты умрешь, я умру тоже.

Он молчал, глядя на озеро и горы, вбирая в себя эти минуты со странной смесью жалости к оставляемой Ольге и нетерпеливой, стыдной, ожидающей радости, оттого что возвращался к полной жизни.

Перед самым-самым отходом поезда они поговорили о дальнейшем. Знакомые русские помещики, молодая сравнительно и бездетная чета, приезжавшая в Швейцарию подышать, как говорили они, вольным воздухом, давно уговаривали их отдать им девочку — если не для удочерения с наследованием большого состояния, то на воспитание хотя бы. О том же просил другой их приятель, отец троих детей, врач, очень богатый тоже человек, тайно дававший деньги на революционную печать. Ольга и слышать не хотела, чтобы отдать ребенка, всю ее перевернувшего мгновенно и бесповоротно. Морозов втайне считал, что однажды она решится это сделать, но вслух ничего не говорил. Сейчас, при прощании, он обещал через несколько месяцев — по совершении факта, как они оба говорили, подразумевая одно и то же , — сразу вернуться, чтобы забрать Ольгу с собой, потому что жизнь в России после этого не могла не перемениться, и им найдется много дел. А если факт не состоится, он в ожидании следующего все равно приедет к ней, чтобы решить, как жить им дальше и как устроиться вместе. О поимке и казни или просто гибели они оба, не сговариваясь, даже не упоминали. Какое там суеверие, просто быть этого не могло, жизнь не могла не продолжаться.

А потом поезд тронулся, и с этой минуты Морозов был уже только там, впереди; сейчас там снег,

и метет январская пурга, и где-то продолжают, наверное, подкоп, а где-то начинают мину или бомбу, и типография уже работает, и Тигрыч, Старик, Лев — Тихомиров со своей язвительной улыбкой спорит с кем-то, отстаивая свою фразу в передовой. И носится по городу Желябов, заводя кружки студентов и рабочих, а в Кронштадте собираются по вечерам морские офицеры, и Коля Колодкевич, черная борода лопатой и горячие черные глаза, южанин, обсуждает с ними планы грандиозные, потому что сразу после казни царя чем грандиозней будет план, тем реальнее. И у Кибальчича наворачиваются новые идеи, их можно и нужно обсудить, потому что от разговоров с Кибальчичем возникает сладкое, полузабытое, тайное и сокровенное ощущение, что снова занимаешься наукой, которую сам себе запретил докуда. Только вот без Дворника, без Саши как же? А они-то все как же без него? Он не просто был глава и вождь, он хозяин был и рачитель, он был стержень, д у ш а , — что с ним теперь и где он? А может быть, идущая подготовка — не облава на царя, а вызволение Дворника? Как это разумно было бы и справедливо. Нет, главное — разумно до предела. Скорее бы пересадка, новый поезд, переход, снова поезд, и снова все свои вокруг. После бесконечного, после чудовищно долгого глупейшего годового отсутствия! Сейчас, если спросил бы кто: а почему вы, собственно, уезжали, господин Морозов? — не мог бы вразумительно объяснить. Ради Ольги — это ясно, это правда, но была же — вспомни — еще какая-то подкладка: обиды, несогласие, раздор с Тигрычем. Господи, пустяки-то! Дворник ходил по комнате и говорил, что за границей могут жить сейчас только два сорта людей: те, кто не может по несогласию разделить нашу программу, или те, кто не хотят по трусости разделить наши опасно-

сти. Морозов — надменно: ты меня в отношении второго знаешь, Дворник. Михайлов: так зачем же, Воробей? Неужели ты не понимаешь, что все писанное вами — только прикидки, наметки, догадки? Все полетит прахом, если начнутся события, все по-иному будет, непредвиденно. Тут и упрямство было, и любовь к Ольге, и обида накопившаяся — Тигрыч много власти взял, и ревность — очень уж Дворник с Желябовым сошелся, и еще, и еще что-то. Честное слово, ребята, честное слово, мне главное сейчас — поскорее снова с вами. Скоро утро уже, вот-вот граница. «Не ходи через границу, Николай!» Интересно, жалеют контрабандисты Зунделевича?

* * *

*

В этот день завершилась цепочка катастрофических провалов, устроенных молодым рабочим Иваном Окладским, ставшим рьяным предателем. Он познакомился где-то на юге с народовольцами, приехавшими туда, увязался с ними в Петербург, стал скоро нужен — был сметлив, ловок, многое умел. Был арестован, прекрасно держал себя на дознании и суде, а потом вдруг сдался неожиданно и сразу. И так же старательно, как еще недавно помогал, стал выдавать и выслеживать. Последние звенья цепочки арестов следовали одно за другим. Александр Баранников схвачен был по дороге на условленное свидание с человеком, которого взяли раньше. На квартире его устроили засаду, и туда пришел Николай Колодкевич. А на квартиру к Николаю Колодкевичу явился — к изумлению и ужасу дежурившего офицера — делопроизводитель департамента полиции Николай Васильевич Клеточников. Два года он проработал неувовимо и вне подозрений. Но не ста-

ло Дворника, и не стало той незримой сети конспирации и опеки, которой он был вечно окружен. И попался он — на квартире нелегального, а никогда ранее не посещал ни одно компрометирующее место. В этот день он не заходил домой со службы — торопился предупредить о чем-то; из-за этого и сам не получил предупреждающей, останавливающей записки.

И еще одно событие было в этот метельный январский день. На квартире Веры Фигнер и Григория Исаева собралось несколько человек из Исполнительного Комитета. Они сидели вокруг стола, обсуждая что-то из текущего, когда вошел Исаев, запорошенный снегом, и небрежно сказал, кидая на стол какое-то письмо, — будничным, бесцветным голосом сказал, чтобы добиться пущего эффекта:

— От Нечаева. Из равелина.

* *
*

Уже восемь лет не сдавался в своей одиночке Алексеевского равелина маленький подвижной человек, грызущий ногти. С самого начала его охраняла огромная команда, и о поведении его в конце каждой недели комендант крепости слал рапорты на высочайшее имя. Его бешеная энергия, неукротимая ненависть и каменная убежденность вселяли какие-то странные, здравый смысл заглушавшие опасения, что и впрямь за ним стоит какая-то сила, что он и до сих пор представитель и глава разветвленной организации таких же готовых на все людей. С величайшими поэтому предосторожностями содержали его в тюрьме, возили на суд и заточили в равелин в полной тайне. Как «известный» или «означенный»

арестант, без фамилии на всякий случай фигурировал он в рапортах и докладах.

Спустя почти три года (по бюллетеням: читает, здоров, спокоен) ему предложили записать его мысли о политическом положении России (все это время книги и письменные принадлежности были у него, и он очень много занимался). Он назвал государственный строй России разлагающимся, уверял, что только немедленное дарование конституции спасет страну от грядущих и неминуемых «ужасов революции». Ничего особо интересного не сообщил, чем отчасти ослабил свою мифическую репутацию.

Через несколько месяцев, осенью семьдесят пятого, к нему приезжал тогдашний шеф жандармов старый генерал Потапов с предложением сочинить записку о составе и средствах революционной партии. Нечаев резко отказался, Потапов пригрозил ему, как каторжнику, телесным наказанием. В ответ на это Нечаев неожиданно с такой силой ударил его, что у генерала изо рта и носа хлынула кровь. Нечаева мгновенно скрутили — камера была полна сопровождающих, но Потапов распорядился ни в коем случае не наказывать его. Более того, поползла, передаваясь из уст в уста, некая невероятная легенда, вскоре сослужившая Нечаеву крупную службу.

Когда исполнилось заключению его три года, он написал царю резкое и дерзкое письмо с требованием пересмотра его дела. Письмо подано было под дурную руку, и самодержец распорядился лишить узника возможности писать. В ответ Нечаев среди ночи стал внезапно кричать, выбил кружкой все стекла в своей камере, и только смирительная рубашка, надетая после упорного сопротивления, укротила приступ его ярости. Последовало указание о наложении отныне на Нечаева ножных и ручных

кандалов. Ножные вскоре были сняты, а ручные оставались почти два года.

В семьдесят седьмом году, когда от кандалов, хоть и были они снабжены кожаными прокладками, у него стали гнить руки, царь позволил по докладу Мезенцева, нового шефа жандармов, снять с него кандалы.

К этому времени и относится начало того неопостижимого, фантастического заговора, который организовал этот негиббемый человек среди солдат и офицеров рavelина.

Он давно заговаривал с солдатами, стоявшими у его камеры. Не получал ответа, не успокаивался, снова заговаривал, произносил жаркие монологи о бедствиях, несправии, угнетении, обильно сыпал цитатами из святого писания, исторгал, наконец, из часового неловкую ответную фразу о присяге, о царе-батюшке, о долге службы. И опять горячечно наседавал. Говорил, что сидит не за что-нибудь, а за попытку переделить землю, чтобы всем она была поровну и не было богатых и бедных, сообщал доверительно и негромко, что того же хочет царский наследник, к партии которого он принадлежит, пророчил с уверенностью грядущую смуту, обещал, намекал, уверял, что идут непрерывные попытки освободить его и по заслугам возвеличить. Не оставалось у солдата сомнений, что господин этот страдает безвинно, что несет свой крест за народ, что мучается только до поры.

Старые служащие рavelина рассказывали в караулке, как два года назад в эту камеру лично приезжал самый главный жандармский генерал Потапов и со всей свитой входил внутрь. О чем-то они там говорили, и вдруг арестант с размаху ударил старика генерала по лицу так, что у него потекла кровь из носа и изо рта. Все было кинулись на арестанта, а

генерал вдруг их остановил, упал на колени перед этим маленьким господином и, ему чуть ли не руку целуя, благодарил за науку. После чего повелел, уезжая, даже пальцем его не трогать и чтобы волосок с головы не упал, а кормить — старательно и густо.

Это была правда. Сошедший с ума и вскоре впадший в явное уже всем, тихое и неизлечимое помешательство, генерал Потапов один из первых приступов испытал в камере Нечаева. Он действительно упал на колени и благодарил узника за науку, после чего сконфуженные и растерянные провожатые увели окровавленного старика, продолжавшего бормотать что-то о всепрощении и каре небесной. Он еще работал некоторое время, слух о происшествии даже не очень распространялся очевидцами, таким казался всем невероятным, но поступки Потапова становились странными все более, и когда помешательство сказалось с очевидностью, его с почетом проводили на излечение. Преемник его настоятельно рекомендовал о случившемся не распространяться, почему сведения эти дошли до историков только в двух-трех мемуарах.

А для солдат это была история, головы им кружившая догадками и усиленно пробуждавшая воображение. Нечаев, сам того не зная, сеял на вспаханную почву.

Когда с него сняли кандалы, он с новой силой заговорил о хлопотах высокопоставленных особ. Партия наследника неустанно действовала, очевидно.

А потом было покушение Соловьева, и солдаты уже сами рассказали ему о нем, и Нечаев предрек с уверенностью, что будут еще новые и новые попытки. И что одна из них непременно кончится удачей, а тогда — иная жизнь. Для всех, естественно, кто будет предан ему и эту преданность докажет делом.

Из разговоров с одним солдатом он узнавал о деревенской жизни другого, и в очередной день поражал ошеломленного часового знанием интимнейших подробностей его недавней жизни дома, именами близких и соседей.

Когда первый сдавшийся солдат сказал, что готов служить ему чем сможет, то услышал в ответ, что он — последний из охраны, кто еще держался, и его счастье, что он согласен и отныне вне опасности. Только это надо держать в строжайшей тайне, никому ни словом не обмолвясь. Теперь солдаты исподволь влияли друг на друга, и состоявшееся впоследствии дознание установило, что команда была «развращена поголовно». Ему носили книги, доставляли свежие газеты и журналы.

На всякий случай — для отвлечения внимания — Нечаев продолжал борьбу с начальством крепости за свои арестантские права. Ложкой на стене он нацарапал письмо царю, жалуясь, что ему не дают книг и журналов... «Таким образом, — писал он, ничуть не укорачивая письмо из-за неудобства написания, — III отделение обрекает меня на расслабляющую праздность, на убийственное для рассудка бездействие. Пользуясь упадком моих сил после многолетних тюремных страданий, оно прямо толкает меня на страшную дорогу к сумасшествию или смертоубийству».

Посланный солдат привел вечно отсутствовавшего зрителя (одиннадцать детей прочно привязывали его к дому), тот списал текст, пока Нечаев гулял, и передал по назначению. А Нечаев объявил голодовку. Его смерть не входила ни в чьи планы, и книги ему были доставлены в изрядном количестве.

Последовало московское покушение, и Нечаев сказал зловеще: «погодите, еще сам дворец взорвут».

После февральского взрыва в Зимнем солдаты были преданы ему безраздельно. Каждый из них имел две клички: одну для внутреннего употребления, другую — для возможных сношений вне крепости. Потом дознание тщательно перечисляло эти клички: Налим, Дьякон, Булочник, Аннушка, Каленые орехи, Лебедь, Певчий, Дуняша. Нечаев ждал удобного момента, сидя с терпением паука в сотканых им тенетах.

Когда в крепости оказался Степан Ширяев, дежурный солдат немедленно принес ему записку. Нечаев — живой Нечаев! — спрашивал, что делается на воле. Ширяев обстоятельно ответил ему. Вскоре Нечаев изложил ему обстоятельства своего успеха. Ширяев был поражен, восхищен, счастлив и обнадежен. Он немедленно дал ему адрес для установления сношений с городом.

Перед народовольцами лежало письмо. Нечаев не раскаивался ни в чем, ни в чем не оправдывался, ничего не объяснял. Он просто и коротко предлагал совместно обдумать план его освобождения.

Ему ответили. Он прислал шифр, и отныне переписка становилась никому, кроме посвященных, недоступной. Он настаивал и торопил. Он предлагал в дело своих солдат. А люди были нужны безмерно.

Но уже была снята лавка сыров на Малой Садовой, уже каждую ночь там поочередно работали в подкопе, и сил — наличных сил для освобождения — практически сейчас не было. Да и главное состояло не в этом. Главное состояло в том, что похищение из рavelина двух таких известных преступников наделало бы немислимый шум, а как следствие — охрана царя усилилась бы до невероятия. Да плюс облавы, обыски, подозрительность. Надо было выбирать.

А Нечаев слал проекты, типичные нечаевские проекты. Он предлагал выпустить от имени царя манифест о возвращении крепостного права и отдании крестьян помещикам. Одновременно — тайное письмо Синода к священникам всея Руси о том, что царь де сошел с ума, и пусть они втайне молятся о ниспослании ему восстановления рассудка. Одновременно — призыв от имени мифического земского собора подниматься всем русским людям и требовать свободы и земли.

Были еще такие планы: во время молебна в крепости Нечаев со своими солдатами арестовывает царя. Или — бежит в присланной генеральской одежде. Или — через огромную водосточную трубу.

И нельзя было, нельзя приступать сейчас к их освобождению, когда всех трясла лихорадка и усталость ощущалась безмерная. И нельзя было не освобождать.

На заседании Исполнительного Комитета мнение было общим: надо завершить подкоп. И повисло неловкое молчание. Тень какой-то мысли прошла по лицу Желябова, но сказать он ничего не успел. Сказал, быстро глянув на него, Тихомиров. Уверенно и веско сказал:

— Надо предоставить выбор им самим, объяснив: они или покушение.

— Но как же . . . — воскликнула было Вера Фигнер и, догадавшись, сказала: — Страшный ты человек, Тигрыч.

— А Старик прав, тем не менее, — подтвердил Желябов одобрительно. — Просто превосходная идея. И они будут счастливы, что помогли.

И действительно, не могло быть сомнений, заведомо можно было предоставлять добровольный выбор этим двоим, одинаковым в своей отрешенности от

себя. Ширяев даже не ответил: смешно просто было выбирать. И Нечаев ответил, как ждали. Спокойно и как ни в чем не бывало: «Обо мне забудьте на время и занимайтесь своим делом, за которым я буду следить издали с величайшим интересом».

Все, и эти двое прежде всех, понимали отлично и явственно, что отказывались от жизни. Силы партии таяли на глазах, и покушение — с любимым исходом — должно было неминуемо так обескровить ее, что новых сил можно было набраться не скоро. Узники могли не дожить, команду могли сменить, бдительность не могли не повысить. «Мы проживаем капитал», — с горечью говорил Желябов в те дни. Новых людей было мало, и чем-то они были неуловимо другие: будто часть из них не по внутреннему неодолимому зову пришла, а привлеченная сиянием славы. Ослепительной в это время славы легендарного, грозного и неуловимого Исполнительного Комитета. Правда, Морозов что-то глухо писал из-за границы о новых силах, с кем-то он сговаривался там, но Тихомиров, который с ним переписывался, говорил, что это все пустое. Тогда-то Перовская, со Стариком последнее время бывшая сильно не в ладах, и написала Воробью от общего имени письмо, чтобы сразу и немедленно приезжал. И он уже сообщил о выезде.

* *

*

Ольга гуляла с девочкой, а вернувшись, нашла у себя записку: хороший знакомый — более Морозова, чем е е , — не застав дома, просил вечером забежать в театр. Больше ничего в записке не было, но прошла уже неделя, как Воробей уехал, и сердце ее сжалось от предчувствий.

В театре знакомых не было, Ольга слушала какую-то сентиментальную оперу и думала об оставлен-

ной под плохим присмотром дочери. К ней подошли в антракте, извинились за опоздание и сказали слово в слово именно то, что она ждала, не смея верить предчувствиям: Морозова схватили на границе. Подробности неизвестны. Проводник — бывалый контрабандист — сам сбежал куда-то, четыре дня боялся сообщить, говорит, что не виноват, требует причитающуюся плату, несправедливо оставшуюся за пропавшим клиентом.

Она слушала настолько спокойно и невозмутимо, что даже подумала: господи, они думают, наверно, что я камень бесчувственный или не люблю Воробья, вот идиоты. А они действительно удивились ее выдержке и потом обсуждали между собой, что за крепень эти подружки русских взрывателей.

А дочь, конечно, не перепеленали как следует, и она всю ночь потом обиженно плакала, и всю ночь почти Ольга ходила по комнате, убаюкивая ее на руках и боясь положить, чтобы не остаться одной, потому что было пусто в голове и груди и очень страшно. Потом дочь уснула, чуть еще похныкивая, в лампе кончился керосин, косая полоска холодного солнечного света сразу протянулась от щели в шторах, и Ольга присела к столу, стараясь сосредоточиться. Уронила голову на руки, попыталась заплакать, захотела заплакать, чтобы стало легче и перестало так давить изнутри, и мгновенно уснула, как провалившись.

Разбудил ее негромкий стук в дверь. Это примчался Кравчинский, которому уже все сказали. Он собирался ехать туда же — попытаться освободить, пока не узнали имя, пока не увезли в Петербург, пока все на стадии безобидного нарушения границы.

И Ольге все внезапно стало ясно, неоспоримо и отчетливо, будто во время сна обсуждались в ней эти

вопросы и были полностью благополучно разрешены. Она даже не спорила с Сергеем, слишком давно и хорошо знала она этого умного, порывистого, самоотверженного взрослого мальчишку. Даже знала, какой тон действует на него наиболее внушающе. Поэтому, не вдаваясь ни в какие объяснения, просто и четко сказала, что едет сама, что дочь оставит ему с правом отдать ее на воспитание в случае невозвращения в скором времени, что нужны срочно паспорт и деньги.

Потом она принялась аккуратно собирать беспорядочно разбросанные всюду бумаги Морозова — черновики его писем и письма к нему, заметки, обрывки, конверты, записи и записки. Упаковав все это в огромный пакет, она попросила Сергея отправить все это на сохранение Лаврову — самое надежное место, сказала она в ответ на молчаливое удивление Кравчинского. Отчего не ему? Лавров никуда уже не сорвется и не поедет сломя голову, бросая все на свете. Кравчинский понял и не обиделся.

Много десятилетий спустя в гигантском архиве Лаврова оказались сохраненными бумаги Морозова.

Паспорт дала русская студентка, робко попросив вернуть, если получится, деньги тоже нашлись быстро — в долг, но без срока. Ольга разговаривала и прощалась со всеми спокойно, чуть холодно, ни разу не заплакала, даже выходя из комнаты Кравчинского, где в кроватке тарачилась в белый потолок дочь, еще вчера — главный смысл ее жизни. Она увозила с собой только крохотный шелковый платок, которым очень любила повязывать голову маленькой Бети, и фотографию Воробья.

Потому что сразу оказалось ясным и очевидным, что жизнь ее — только с ним, и неважно, если это будет в ссылке или на каторжном поселении.

Поезд до Берна, поезд на Берлин, поезд на Пе- 329

тербург. Оставленная дочь напоминала о себе не только саднящей тупой болью глубоко внутри и тоской после внезапных ночных пробуждений от приснившегося плача или вскрика, по еще и невыносимой жгучей болью в груди — это умирало молоко, более никому не нужное. Попутчики непрерывно ели, читали газеты и ели снова, под вечер обсуждали в общем разговоре несомненную приятность грядущего: год предстоял великолепный, потому что, хоть и в перевернутом виде, но повторял всеми цифрами год рождения царя-освободителя, монарха-реформатора, который, того и гляди, снова что-нибудь хорошее делает многострадальной стране.

А другие говорили: наоборот, все будет очень и очень плохо. Потому что, если прочитать подряд первые буквы имен царских детей — Николай, Александр, Владимир, Алексей, Сергей, а потом прочитать их снизу вверх обратно, то получится зловещее прочтение: «на вас саван». Это тоже казалось убедительным, и все читали и охали сокрушенно. А потом опять ели.

Шел февраль. В Петербурге оказалось неожиданно трудным найти попутчика на границу. Шла какая-то огромная подготовка, все были взвинчены, устали, немногословны. Ольга ничего ни у кого не спрашивала, полагая, что если не может принять участие, то и выяснять нечего. Только сообщила об аресте Воробья — они еще не знали даже — и спрашивала, нет ли кого, знающего западные края. А людей было мало и, главное, становилось все меньше. Только что завершилась цепь страшного разгрома, нанесшего партии невосполнимый, чудовищный урон. Неясно было, откуда что идет, и оттого вдвойне страшно, такая цепь арестов завораживала, лишала сил, сковывала.

Ольга встретила давнего знакомого, в полной отключенности шедшего по многолюдному Литейному проспекту. Морозов, любивший его очень, уверял, что это ум уникальный, гениальный, может быть, неповторимый и глубокий. Но кто верил Воробью, когда он восторгался каждым, кто ему нравился?

Знакомый (кличка его была Цилиндр — за действительно безукоризненное черное сооружение, невозмутимо таскаемое им) очень обрадовался Ольге, фамильярно остановившей его, схватив за рукав, и сказал, что все случившееся надо обсудить, а сейчас он идет в редакцию журнала, где печатается, на редакционный чай идет, и позвал Ольгу с собой.

В огромной комнате, сплошь уставленной шкафами с книгами, был накрыт стол для чая человек на десять, а рядом стоял маленький столик с рюмками и закусками, но ни один из собравшихся не подходил к столу. Все непрерывно возбужденно и громко разговаривали. Потом Цилиндр присел за стол — его называли здесь господином Самойловым и, кажется, уважали, молодая женщина принесла самовар и исчезла, и все потянулись к чаю. Ольга плохо видела все происходившее и почти не слышала разговоров. Она только однажды заметила, как общим вниманием овладел высокий шатен с вьющимися волосами и подвижным очень лицом. Шатен рассказывал, как его вызвал к себе цензор, и удивительно точно изобразил восьмидесятилетнего бодрящегося старичка со вставными фарфоровыми зубами, которые он часто ронял. Старичок говорил:

— Прекрасная это, прекрасная у вас статья, Получил искреннее наслаждение. Попрошу вас вырезать ее всю, всю целиком. Да-с. Да-с. Иначе конфискуем номер. Наука движется вперед огромными шагами. Другой вопрос — в какой тупик она упрется. Статью

вырезать. И написана очень хорошо. До свидания, миленький.

Потом все стали, отсмеявшись, так неожиданно и безо всякого перехода ругать русское самодержавие и вообще все вокруг, что Ольга растерялась немного. Потом она уловила, как сразу трое наседают на ее спутника, пытаясь доказать ему, что нужна конституция, и нужна как можно экстреннее. А Цилиндр с некоторым холодком отвечал им:

— Не уверен. Вряд ли она нужна народу.

— А что же, что, по-вашему, ему нужно?

— Не знаю, сейчас, во всяком случае, пока не знаю наверно.

— Но согласитесь, но крайней мере, что сначала надо, несомненно, разделаться с ним... с этим... вы понимаете меня?

— Догадываюсь, — отвечал Цилиндр с легкой усмешкой на малоподвижном бледном лице. — Попро- буйте.

Тут Ольга чуть успокоилась даже, так ей захотелось в голос рассмеяться: ведь спутником ее был Кибальчич, главный сейчас взрыватель партии, и это ему они талдычат о необходимости царубийства. Но Цилиндр — Кибальчич — Самойлов был невозмутим и вежливо участвовал в спорах. Он не брал деньги у партии. Его кормили статьи и рефераты в журналах. В частности, в этом, очевидно. Вскоре он поднялся, и оба они ушли. Ольгу даже никто не заметил за эти полтора часа.

— Отчего они так возбужденно болтают? — спросила Ольга уже на улице.

Кибальчич ответил, подумав, вразумительно и солидно, как отвечал всегда на любой вопрос.

— Это профессионалы, а язык — их главное ору-
332 дие — связан по рукам и ногам, вот и остается кло-

котать и возбуждаться. Они от бессилия и невозможности говорить такие злые — страшное дело. Вот тот черный, с бородой длинной. — заметила? — его раз пригласили написать в нелегальное издание. Так ты не поверишь, статья не подошла, пришлось вернуть: он как почувствовал, что цензуры нет и можно говорить что думаешь, отвел душу в такой ругани, что стыдно было читать. Ни мыслей, ни идей — чуть ли не площадная брань. Оттого, что накопилось, ничего не поделаешь.

И без всякого перехода, просто продолжая будто этот же рассказ, бесцветным голосом Кибальчич сказал:

— А Игнатия — студента, который с рабочими занимается, — не просила? Он поляк.

— Господи, — сказала Ольга, прося яв, — а ты и вправду гений, как мне Воробей говорил. Спасибо тебе большое. Где его искать, ты не знаешь, конечно?

— Понятия не имею, — меланхолично сказал Кибальчич и коснулся цилиндра непередаваемо изысканным жестом. — Желаю успеха.

Чудак, подумала Ольга, глядя вслед на его прямую узкую спину, строго продолженную цилиндром, — чудак, интересно, он еще помнит, что только что виделся со мной?

Февраль переваливал за середину, когда Ольга отыскала этого давно знакомого студента, из польских шляхтичей, то есть прекрасно знавшего западную сторону согласившегося ехать хоть завтра для попытки освободить Морозова. Еще бы! Он давно знал и давно любил его. Студент был очень симпатичный, честный, горячий, восторженный. Он горячо сочувствовал, помогал деньгами, передавал литературу, а

надо было, видно, бросить учебу и погрузиться с головой — это единственное сейчас, ради чего стоит жить. До завтра.

А назавтра, отводя глаза в сторону, явно чего-то не договаривая, мямлил, что всей душой бы, но что не может, ему выпало срочное поручение, оно важнее. Пусть Ольга извинит, он понимает, что для нее важнее всего — Морозов, но он и вправду назначен, сказать не может, пусть извинит его Ольга, когда узнает — поймет и простит его.

Она не ругала его, не стыдила, не проклинала. Слез тоже не было. Сухо сказала, что очень жаль, и отказалась от предложения, чтобы поехал его товарищ. Спасибо, найдет сама. И ушла, тоскливо думая о трусливой подлости молодых, — если уж такой симпатичный трусил, что говорить о других и на кого надеяться?

А студент Игнатий Гриневицкий долго еще стоял, мучительно переживая свой отказ без возможности объясниться, а потом пошел в комнату, которую снимал, и остаток вечера писал, не останавливаясь, последнее письмо в своей жизни. Через несколько вечеров он снова взял его и дописал окончательно. Он знал, что это последнее письмо, и с радостью шел на это, и совсем не думал о смерти, то ли на что-то неведомое еще надеясь по молодости лет, то ли полагая, что смерть, предстоявшая ему, — прекрасная и лучшая смерть. Справедливо, скорее всего, и то и другое. Он писал и переживал душевный подъем, вдохновение, счастье, гордость — все что угодно переживал, но не страх и не жалость к своей обреченной жизни, и из письма это отчетливо видно:

«Александр II должен умереть. Дни его сочтены. Мне или другому кому придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей

России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, — это покажет недалекое будущее. Он умрет, и вместе с ним умрем и мы, его убийцы.

Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением монархическим, неограниченным, а мы — деспотизмом.

Что будет дальше?..

Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто на свете требовать не может...»

Ольга узнала потом, кто был первого марта вторым метальщиком на Екатерининском канале, и горько пожалела о своих мыслях по поводу отказавшегося студента, но это было потом, потом. А тогда ей через день нашли другого попутчика, молодого тоже и случайного, — силы партии были на исходе, она чувствовала это, чувствовала всеобщее ожидание, понимала, что вот-вот новое покушение, но какой ценой, какой ценой! По-прежнему ничего ни у кого не спрашивала, потому что не могла помочь участием. Они выехали в Сувалки, долго сидели там, пока удалось выяснить: Лакиера здесь уже нет. Они поехали в Ковно. Вечером в день приезда бродя по городу, видели, что дом губернатора ярко освещен, сновали у подъезда экипажи, но подъезжали и стояли недолго, появлялись другие, чувствовалась суматоха. Причину узнали назавтра днем: в Петербурге убит царь. По слухам выходило, что сам Петербург взорван и затоплен наполовину из специально прорытых каналов с моря. В синагоги и костелы тянулись жители на присягу новому царю. Все было всполошено

высоко и далеко вверху, а здесь даже самые чудовищные слухи не колебали векового уклада и затхлого равновесия. Ничего нигде не треснуло, не напряглось, не переменялось. Просто — другой царь. Ольга, как никто, почувствовала в те дни тщетность всех усилий и самой жертвенности их крохотного обреченного круга.

Продавались на улицах четвертушки бумаги с кратким известием о событии. Начинаясь этот листок словами: «Воля Всевышнего свершилась». Как будто Исполнительный Комитет «Народной воли» был исполнителем воли божьей и выполнил свое назначение. По привычке к злоупотреблению высокими словами никто не замечал двусмысленности звучания такого начала. Потом появились сообщения, излагавшие подробности и детали. И все замолкло: самый тяжелый камень недолго шевелит болото.

Молодой спутник скучал и рвался к делу. Кто такая Любатович, он не знал, думал, что вполне легальная, в подробности предстоящего его тоже решили посвятить только в том случае, если будет организовываться побег. Он был нужен Ольге для того, главным образом, чтобы выпить с кем-нибудь из охраны в трактире и предложить деньги, но пока даже узнать ничего не удавалось. Он ходил в городскую читальню, а там в курилке слишком много болтал. Ольга однажды пошла с ним и ясно увидела это, но втолковать ему ничего не удалось, ибо проявлять все свои отношения вслух он почитал неотъемлемой частью своего гражданского долга. И тягостное предчувствие неминуемой слезки и провала закралось Ольге в душу одновременно с мерзкой предательской мыслью, что от парня уже надо держаться подальше.

Отчаявшись, она прямо пошла в тюремное управление и спросила у письмоводителя, нет ли здесь

привезенного из Сувалок задержанного Лакиера, У нее была уже давно психология человека незаконного, преследуемого, явственно подозрительного, и потому она, сжавшись, ожидала проверки паспорта, косых взглядов, слежки. Ничего этого не было. Письмоводитель был любезен, порывлся в списках, сказал, что Лакиера нет и не было.

В ту же ночь они уехали в Вильно. В поезде оказался молодой человек в очках, которого спутник ее часто видел в читальне. Ольга похолодела, оттого что предчувствие не обмануло ее. Она сказала, что остановиться надо в разных гостиницах, а взяв номер, сразу уйти из него. Заставила спутника своего запомнить адрес, по которому его пустили бы переночевать. Он смеялся, кивал головой — не верил опасениям этой молодой, но такой измотанной, нервной и болезненной женщины; зачем он согласился с ней поехать, ведь явно ни на что достойное она просто не годится со своими дамскими страхами. Согласился, обещал, насвистывал. Думая при этом не без гордости, что не трус какой-нибудь осторожничать, как пугливая эта дамочка. Под вечер его забрали в виленской гостинице в номере, откуда он и не думал уходить. Он ничего не знал, плел какую-то ахиною разыскиваемой родне, был то заносчив и напускал таинственность, то клялся, что ни в чем не повинен. Поплатился высылкой в Сибирь.

Ольга уже была в Минске. Здесь давно существовала организация, связанная с Исполнительным Комитетом. Но и они все, что смогли узнать: нет, Морозова здесь не было. Месяц пришлось ожидать нового надежного паспорта, потому что с ней отправляли новый шрифт. В начале апреля, нарядная, уезжала она из Минска с тяжелым чемоданом шрифта. Отправляли его в Москву, в Петербурге к тому времени

все уже было кончено. В Москве пытались возобновить враз рухнувшее дело.

Приехав, прочла она «Новое время» со статьей о казни третьего апреля на Семеновском плацу пятерых участников покушения. Специальный корреспондент газеты В. Тумашевский писал, стараясь оживить свой репортаж: «Над нами светлое небо, осеннее солнце светит весело; воздух теплый». Он не обошел сочувствующим вниманием и знаменитого на всю Россию палача: «Фролов распоряжается покойно и толково». Подробно описывал эшафот и собственные впечатления: «Я вглядываюсь в лица преступников: ни одного разумного лица, или, как нынче принято выражаться, ни одной интеллигентной физиономии». Дальше шла его, В. Тумашевского, полемика с читанным им философом Мендельсоном, утверждавшим, что при зрелище любой казни пробуждается обязательно в человеке резко выражаемое чувство жалости. Нет, несогласно писал В. Тумашевский, ничего подобного тому, что считал почтенный философ, не пробудилось в нем ни на мгновение. Только сапоги, торчащие из-под саванов повисших, напомнили ему, что это тоже люди. Уходя, впрочем, с Семеновского плаца, сообщил В. Тумашевский, что читал про себя пушкинское «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни». Ольга брезгливо бросила газету.

Без радости она повидалась с отцом — постарел, обрюзг, сник, был как-то сплющен, раздавлен жизнью, да еще и сконфужен встречей: на давно подаренный Ольге дедушкой ее выигрышный билет выпало небывалое везенье: восемь тысяч, а он отдал их в уплату своего громадного долга. Узнав, что где-то есть ребенок — внебрачная дочь нелегальных родителей, сказал привычное с детства: «Эх, почему ты

не родилась мальчиком», и это рассмешило Ольгу до нервных слез. В тот же вечер она уехала из Москвы.

В Петербурге сразу выяснилось: Морозов уже тут, в Доме предварительного заключения. Передал ей несколько писем. Ничего не писал о себе, где был, только уверял, что чувствует себя отлично, и умолял, требовал, настаивал: включайся, начинай все сначала, ищи людей, оставлять нельзя. Потом письма сразу прервались: его перевели в крепость. Туда ходов уже не было, последний был отрезан с арестом Сони Перовской, у которой нашли адрес унтер-офицера, жадно собиравшего себе средства на небольшой клочок земли с усадьбой. В крепость Морозова перевели после опознания, но Ольга не знала этого, думала, что предательство, потом и в воспоминаниях так написала. Нет, просто опознали — он был слишком важной птицей, слишком ценным уловом, для таких единственное надежное место — Трубецкой бастион.

В мае она еще ходила по Петербургу, не знала, что делать, то металась, то отчаивалась, уговаривалась с кем-то, уже понимая, что надежд никаких, думала пойти и сдать, чтобы на каторгу — вместе, а повезет — на поселение. Но однажды ночью вдруг ярко, до ощущения реальности, приснилась дочь, почти забытая в последние дни. Она плакала, просила грудь, сучила ножками, будто болел животик, и смотрела на мать, смотрела неотрывно и взросло. И губы у нее были взрослые, большие и запекшиеся.

Ольга проснулась от собственных слез, потоком лившихся по щеке на подушку, и до утра пролежала, боясь снова уснуть. Она не могла сейчас уехать к дочери, просто не могла, пока оставалась надежда, пока еще вообще оставались силы жить. Она мысленно поговорила с дочерью — ласково, как со взрослой, пообещала вернуться или, если все сойдет хорошо,

через год забрать ее к себе. Успокоилась, кажется, но уснуть больше не решилась.

А днем вдруг кольнула мысль, что сон, может, не случаен — вдруг весточка оттуда, и она стремглав кинулась к сестре жены Кравчинского, куда однажды приходило уже бодрое письмо, что все в порядке.

Она была дома, верная Роза Личкус, заставила поесть и только потом дала невскрытую телеграмму. Надо же, вещей сон. Ольга счастливо улыбнулась, разрывая тонкую склейку. Там сообщалось, что ее дочь вместе с одной из дочерей того помещика и врача, которому отдал ее по уговору Кравчинский, умерла от эпидемического менингита и уже похоронена на кладбище в Монпелье.

Два последующих летних месяца выпали у нее из памяти. Она большей частью сидела, бездумно глядя в стол, а если отвечала на задаваемые ей вопросы приходивших, то, очевидно, невпопад, потому что ее сразу переставали спрашивать. Она где-то жила, что-то ела — деньги ей принесли, но старалась на улицу выходить пореже. Потом встретила Таню Лебедеву, золотую душу, жену Михайлы Фроленки, бродившую теперь по Петербургу так же неприкаянно, как недавно она, и чужое несчастье, чужая растерянность, чужая боль вернули ей всегдашнюю энергию. Она позвала Таню жить к себе — у нее был прекрасный легальный паспорт, и ободрила ее, и обещала ей тоже достать паспорт, и ждала с нетерпением, сидя на балкончике своей чердачной комнаты на окраине.

За Таней шел филер. Это ясно было, как дважды два. Три месяца давней работы под началом Саши Квятковского в наблюдательном отряде, под градом непрерывных проверок и наставлений Дворника, раз-

вили в Ольге наблюдательность, которую даже Михайлов хвалил. Правда, говорил, что это от нервно-сти, что она чувствует, а надо — видеть, но все равно хвалил как достойную свою ученицу.

И вот теперь — видела. Или чуяла — какая разница! А Татьяна — нет. И предупредить ее было поздно. Ну и плевать, как-нибудь обойдется, подумала Ольга с полузабытым уже, приподнятым ощущением жизни. Она сама обрадовалась ему — значит, сможет еще, повоюет, пригодится. И еще посмотрим, как обернутся дела.

В эти дни Кравчинский писал жене: «...Насчет Ольги я в большом беспокойстве. Она, очевидно, должна провалиться не сегодня-завтра... Во всяком случае, надо попробовать ее вызвать. Может, и опривитися года через два-три».

Как она рада была Тане! Никогда они раньше не дружили, Ольга вообще после встречи с Морозовым ни с кем не сходилась близко, вся целиком уйдя и влившись в его дела, но сейчас она была так благодарна Тане за свое возвращение к жизни и за свою жажду снова заняться делом, что никого, кажется, ближе не было у нее теперь. Таня Лебедева испытывала то же самое. Они проговорили до глубокой ночи, все решив и на все махнув рукой. Что же до филера, то наплевать и на него, вылезали не из таких переделок.

Назавтра (Таня ушла утром) днем в соседнюю с Ольгой комнату въехали новые жильцы — молодой человек и женщина много старше его, с очевидностью, из бывших с Невского. Они звали к себе поесть и выпить, были приветливы до назойливости, но Ольге и вспыхнувшие подозрения были сейчас нипочем: снова появились заботы и занятость, сообщающие жизни почти утраченный смысл.

Через неделю она провожала Таню Лебедеву в Москву. Они поцеловались у входа в вокзал, дальше Ольга не пошла на всякий случай, потому что были теперь дела, следовало себя беречь. Стоило себя беречь, и они даже вспомнили аккуратно все заветы бдительного Дворника. Замешавшись в густой толпе ожидающих и зевая, Ольга смотрела, как идет принаряженная оживленная Таня, как оборачивается, ища ее глазами, и, не найдя, на всякий случай машет рукой, как она легким жестом перехватывает свой чемодан. И как ее забрали, видела — сразу четверо, плотно окружив, никто даже внимания не обратил, так же текла вокзальная суетливая толкучка.

В комнату свою она уже не вернулась, ночевала у знакомых, ожидала, что снова появится желание жить. Однако больше нельзя было напрасно торчать здесь непонятно зачем, потому что в Москве ее ждали. Приехала благополучно, поселилась в гостинице, всех разыскала, начала отходить и включаться. Однажды, снова вернулось ощущение, что следят, попросила Юрия Богдановича присмотреть. Тот уверил, что нет, что показалось. Веселился он, как именинник: все получалось. Вот-вот заработает типография, надменная красавица Мария Николаевна Ошанина (встречая, окидывала Ольгу таким же взглядом, как тогда на лестнице в доме арестованного Квятковского, что поделаешь — такой характер) — хозяйка квартиры, где Богданович — фиктивный муж, а скоро — поездка в Сибирь для организации явочных ночевок беглецам. Пополнять Исполнительный Комитет решили своими же людьми: царь их — туда, а мы — обратно, две ведь в России власти, после первого марта всем было ясно, что две. Вот и веселился Богданович, как когда-то под Торопцом в кузнице у брата веселился, если удавалось с трех ударов

отбить топор или подкову так, что остуди — и на-
девай.

А еще через день на улице она лицом к лицу
столкнулась с тем молодым парнем, который въехал
в соседнюю комнату после прихода Тани. Он так об-
радовался ей! Он уже три дня слонялся по Москве,
потеряв ее на вокзале и печалась о непременно на-
гоняе за халатность. Он бесцеремонно ухватил ее же-
лезной хваткой за плечо и кликнул через улицу дале-
ко стоявшего городского. Она пыталась вырваться,
тоже что-то крикнула. Вокруг мгновенно собралась
небольшая молчаливая толпа. Ольга беспомощно ог-
лянулась — было уже не убежать.

— Отпусти девку, чего схватил? — спросил чей-
то мужской голос.

— Должно, скрала чего-нибудь, — отозвался жен-
ский.

— А такая с виду приличная, не подумаешь, —
сказала другая женщина.

— Они сейчас все такие, — спокойно сказал тот
же голос, что просил отпустить. Лица Ольга не разли-
чала. Рассекая, раздвигая зрителей, приблизились
сразу два городских. Парень что-то шепнул им, они
важно кивнули головами.

Глава четвертая

Антон Францевич Добржин-
ский, человек того возраста, когда уже за сорок, но и
пятьдесят еще весьма не скоро, и подводят первые
итоги, чтобы кое-что, глядишь, и переменить, отки-
нулся на спинку жесткого кресла и так вот, чуть из-
дали посмотрел отстраненно на очередной листок
своего служебного блокнота. Значился там типограф-

ски исполненный гриф министерства юстиции, а рядом — «Товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты». Санкт-Петербургской, обратите внимание, господа, не Одесской какой-нибудь захоластной конторы правосудия. И было очень приятно сейчас Добржинскому сознавать, что он в себе не ошибся, что он себя знает, что правильно предполагал и подтвердилось жизнью: безразличен ему формальный внешний успех, не карьерист он и не тайный честолюбец. Невероятный, редкостный скачок из незаметного провинциального в известнейшие столичные прокуратуры, а ему — хоть бы что, он равнодушен к тому, что преуспел, что многие заискивают, что в сложных случаях его имя называют первым, что все надежды и все взоры сейчас — на него, учтивого, деятельного без суеты, психолога тончайшего и проникновенного. А ему — что легкий ветер этот успех, который другому вскружил бы голову, ослепил, изменил бы наверняка и личность и манеру держаться. Он же, Антон Францевич Добржинский, стал еще спокойнее и приветливей. Потому что внутреннее, сокровенное чувство подлинной, истинной удачи было ему ведомо в полной степени и сравниться с жалким преуспеянием на стезе никак не могло. Оно приходило редко, но надолго озаряло жизнь. В тех случаях оно приходило, когда подтверждались взгляды Антона Францевича на человеческую природу. Не вычитанные где-то, не услышанные, не т, — самостоятельно разработанные, тщательно выношенные взгляды. Признаться, читал Антон Францевич мало и снисходительно. Потому что ничего не находил более глубокого и тонкого, своеобразного и неповторимого, чем те мысли, что посещали его самого, когда вот так, откинувшись, он сидел в покое и тишине и ожидал, торопил эти никогда не заставлявшие себя ждать мысли. Из него, конечно,

превосходный бы ученый вышел, но так уже получилось, — потянулось чередой лет юридическое поприще, а надо бы кафедру, учеников, рукописи.

Недавно совсем, еще в бытность одесским прокурором, довелось по делам службы, так не стал бы, прочитать нашумевшую работу господина Сеченова «Рефлексы головного мозга». Предстоял разговор с одним человеком о высокоученых нигилистах из университета, неминуемо зашла бы речь о труде этом, а об интересах предстоящего собеседника Антон Францевич имел обыкновение осведомляться много ранее встречи, чтобы вожжи диалога держать в руках самому. Прочел. Жалкая работа, не о чем было так скандалить. Ну рефлексы, ну познаваемая механика душевной деятельности, так ведь и у Декарта, извините меня, рефлексы, а что до познаваемости, так еще бабушка надвое сказала, исчерпывается ли рефлексами все, что в человеке скрыто и заложено. Нет, нет, вся и слава-то из скандала; режьте себе на здоровье лягушек, изучайте свои рефлексы и надейтесь, что дорежетесь до того, как устроена мысль. Это путь, может, и хороший, но с психологией человеческой он по разным дорожкам проложен. И нечего даже спорить, нечего копыя ломать о душе и духе, о провидении и свободе воли, можно многое, если не все, о человеке постичь, просто изучая, что человеку надо в этой ужасно быстротекущей жизни, эфемерной и обольстительной. А уж отсюда, из того, что ему нужно, и все его мысли выведутся, и чувства.

Великого писателя Достоевского читал Антон Францевич единственного, пожалуй, без того чувства превосходства, с которым читал других. Потому что очень был согласен, что кроме хлеба и любви нужно еще человеку знание, для чего жить, то есть смысл жизни, хотя бы самый приблизительный смысл. А что

еще человека мучит жажда всемирной гармонии, покоя и счастья всеобщего мучит, с этим он согласиться не мог. Не мучит. Он это придумал, великий писатель, потому что это его мучит, вот и в других предположил это неизменным. А куда же вы денете и почему не заметили, почтенный Федор Михайлович, жажду власти в человеке, томительную эту и неутолимую страсть к взятию верха, победительному утверждению себя, овладению? Не в буквальном, разумеется, смысле и для каждого по-разному чрезвычайно — одному на всемирном поле брани это утоление подай, как Македонскому, а другой домашним тиранством полностью удовлетворяется. Третьему надо в споре победить, а четвертому — все по-своему сделать. Но основа у всего этого одна, и при случае очень хотел бы Антон Францевич объяснить это Федору Михайловичу Достоевскому, опровергнув его умозрения о жажде всемирной гармонии. И еще более тонкими соображениями щедро и с охотой поделился бы в разговоре с ним Антон Францевич, которому волей судьбы не пригодились его великое понимание, рассеялось по мелочам на нелепом юридическом поприще, погибло в ежедневном истечении сил и самой жизни. Вот еще, к примеру, возьмите. Стремление в глазах других себя повысить, а то, как это часто бывает, и самого себя насчет себя же обмануть. Ведь интереснейшее явление, а проистекает от той же жажды верховенства. Только тут человек не с другими спорит и воюет, а с их мнением о себе, с собственным мнением о себе, как бы стремясь улучшить свои отражения во всех и, в том числе, в себе. А? Не согласны? Но это так. Потому и бывает: для всех человек — удачник, преуспел, победитель жизни, а на самом деле — несчастен, как сирота. В чем дело? А это он до себя собственного, до себя, что внутри его сидит, не достиг.

Каким себя в мечтах видел и в планах, тем не стал. Непонятно? Приведу пример. Отдаленный и как бы уже, за дымкой времени, ко мне не относящийся. Одесский прокурор Антон Францевич Добржинский. В многодневных беседах этот прокурор — не из глупейших, замечу со сторонним одобрением — побеждает сопротивление террориста Григория Гольденберга. Склоняет его к полной выдаче соучастников, держит его в руках, управляет им как хочет. Потому что играет с полным пониманием дела на его честолюбии, выпуклой весьма черте этого недалекого человека. Твердо обрисовывает ему великую историческую заслугу примирения партии террористов с правительством на благо страны. То есть, обратите внимание, ежедневно потоком безупречно найденных слов утешает его безмерную жажду над самим собой действительным возвыситься. Но это отступление, хотя и на ту же тему. Все идет как по маслу, и вдруг — самоубийство. Гольденберг неожиданно и вероломно вешается в своей камере на полотенце. То есть как бы совершает побег, то есть теперь свободен, отчасти даже, если хотите, чист, ибо искупил свою вину перед товарищами крайней степенью наказания, к которому сам себя приговорил. И бог с ним, наша речь — о прокуроре. Его все поздравляют, ибо сведения он успел доставить бесценные, ему все удивляются, им все восторгаются, он карьеру делает на глазах, ибо облечен доверием и надеждой. Он доволен, думаете, счастлив, уравновешен хотя бы? Нет! Никоим образом! Потому что было, значит, что-то в этом глупом мальчишке, чего не чувствовал и не понимал. А полагал, что видит насквозь и руками ощущает всего. Что же может чувствовать теперь прокурор Добржинский, который думал о себе больше, чем оказался на самом деле? Выходит: то, что для всех — победа, ему — тайное

поражение. А с точки зрения неутомимой жажды, сжигающей человека и мной математически доказанной, что мне теперь делать прикажете? Снова и снова добиваться успеха. И потому пусть другие думают, что выскочка делает карьеру, но я-то знаю досконально: Добржинский гонится за утраченной верой в свои же собственные силы.

Писателя, с которым так хотел Антон Францевич побеседовать, он по приезде в столицу, когда время появилось, в живых уже не застал. А сейчас вспомнил эту свою жажду поделиться сокровенными идеями о сущности человека, потому что следовало послать записку о выяснении личности одного арестанта, сведения о котором приятно удивили Добржинского: оказывается, попавшийся три месяца назад на западной границе швейцарский будто бы студент Лакиер есть в действительности не кто иной, как Николай Морозов, член Исполнительного комитета, да еще и писатель, сотрудник «Народной воли» и автор забавной, хотя сумбурной брошюры «Террористическая борьба».

Сведения эти поступили от недавнего сотрудника, только что из «Народной воли» Ивана Окладского. Он сам лично Морозова не знал, но слышал чей-то разговор, о том, что Воробей попался как Лакиер, но покуда не хочет раскрываться.

Не хочет. А разве сам Окладский хотел? Разве не Антон Францевич Добржинский крестный отец этого бесценного сотрудника? Ведь как было: он сидел на осеннем процессе террористов, ни на что не отвлекаясь, глядел им в лица день за днем, час за часом, и видел, видел, что происходит с каждым. А потом стали давать последнее слово, и Окладский сказал: «Я не прошу, не нуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно

меня, я приму это за оскорбление». Тут-то и уловил Антон Францевич нездоровую аффектацию в его голосе, как бы самый верхний тон, как бывает у струны перед разрывом. Однако, если уж человек так до предела ажитирован, то ведь дальше, значит, некуда. Или... И потом, попробовать всегда имеет смысл. Он подсказал кому следовало. Ему сказали: генерал Комаров так всегда делает: в последнюю ночь обходит камеры приговоренных в расчете на новые сведения, потому как в эти часы кто с отчаяния, кто от безразличия и пустоты, но охотно и много говорят, бывает. На что Антон Францевич возразил резонно, что последняя ночь хороша, безусловно, для выяснения, однако такие личности, как Окладский, горячие и молодые, опять могут к последней ночи в ажитацию впасть, и все, пропало дело. Так что шепнуть ему надо сегодня же вечером, что не умрешь, мол, если сам подумаешь, как жить станешь. И все. А завтра еще каплю. Или даже лучше — через недельку. А последняя ночь — рискованно и неразумно. Что за кавалерийская атака?

А через две недели прокурор поздравления принимал, изумление. Сдался Окладский — целиком и полностью. Да еще каким ревностным стал. Что тоже вполне понятно: горячий, аффектированный.

Усилием воли отогнав приятные, но некстати нахлынувшие воспоминания, Добржинский придвинулся к столу, вырвал из блокнота листок и написал в жандармское управление, что получил сведения о подлинной личности Лакиера, оказавшегося небезызвестным Морозовым, и просит произвести дознание. Поставил дату: семнадцатое апреля и отправил записку по адресу.

Уже к вечеру того же дня на ней была генерал-майорская виза: «Поручаю подполковнику Николь-

скому приступить к действиям, которые могли бы выяснить личность Морозова в Лакиере», — и восемнадцатого утром худого, хмурого подследственного ввели в просторную светлую комнату следовательской части жандармского управления. Сидевший за столом человек с очень крутым лбом, венчиком волос вокруг лысины и живыми умными глазами вскочил при его появлении, резко прервав беседу с офицером в чине подполковника. Пошел из-за стола навстречу, протягивая руку.

— Здравствуйте, Николай Александрович, — сердечно говорил он на ходу, — очень рад вас видеть.

Вежливо пожав сильную, приятно горячую руку, пришедший вежливо сказал:

— Петр Александрович, с вашего позволения, — он сделал ударение на «Петр». — Вы не обознались? Я не припоминаю вас. Извините.

— Полноте, Николай Александрович, — расплылся в широчайшей улыбке добродушный штатский, и это было так заразительно, что даже подполковник чуточку улыбнулся, тоже рассматривая вошедшего, но руку ему не предлагая. Добржинский знаком пригласил его сесть, и еще мгновение улыбались все трое. Но только одно мгновение. Антон Францевич не простачком прикидывался, он даже ради пользы дела не мог бы прикинуться простачком, он и вправду был приятно возбужден возможностью поговорить с литератором, делавшим такой знаменитый нелегальный орган.

— Антон Францевич Добржинский, товарищ прокурора, — учтиво наклоняя вперед крутой лоб, сказал он. — Мой коллега по следствию подполковник Никольский. — И не дав пришедшему, уже раскрывшему рот, ничего сказать, перебил: — Да, да, знаю, вы Петр Александрович Лакиер, студент Женевского

университета. Однако дело в том, дорогой Николай Александрович Морозов, что вас уже опознали, что вы нам известны, и хватит, пожалуйста, запирайтесь. Я хотел бы обсудить с вами множество проблем, я...

— Не тратьте время, господин Добржинский, — сказал приведенный человек, — мне, право же, настолько неудобно, что я обманываю ваши ожидания, что я мог бы даже назваться Морозовым ради удобства. Но я Лакиер, действительно Лакиер.

— И в московском покушении девятого ноября вы не участвовали? — подполковник мрачно нарушил свое молчание. Добржинский косо глянул на него.

— Простите, я живу в Женеве и не очень осведомлен о точных датах российских событий. Я в курсе их, конечно, но только в общих чертах. Девятнадцатое ноября — это что? — вежливо спросил допрашиваемый, предупредительно повернувшись в кресле.

— Покушение на цареубийство! — раздраженно сказал Никольский. Он полагал правильным стукнуть сейчас кулаком по столу и пригрозить, но удерживало обещание, данное Антону Францевичу, мягкие просьбы которого, он уже это знал, лучше было исполнять.

— Ну естественно, н е т , — живо ответил знаменитый террорист, у которого в чем только душа держалась — настолько он был худ и слаб.

— О Липецком съезде также ничего не знаете? — спросил Добржинский, улыбаясь.

Арестант мягко улыбнулся ему в ответ:

— Нет, почему же, знаю, у меня много знакомых эмигрантов.

— А сами не были, конечно? — Добржинский знаком попросил у Никольского протокол.

— Я уже сказал, чем я занимаюсь, я слушатель университета, — терпеливо повторил арестант.

Потом он по просьбе Никольского недлинно и внятно рассказал о своих родителях, о недавней жизни вместе с ними в Таганроге и ученье в тамошней гимназии, отрицательно ответил на вопрос Антона Францевича, не жил ли он когда-либо в Петербурге под фамилией Хитрово с преступницей Любатович — не только не жил, но и знать такую не знает, — рассказал о втором браке после смерти матери своего отца, дворянина Лакиера, уехавшего за границу, аккуратно записал все данные о себе в протокол допроса и лучезарно улыбнулся Никольскому, подавая листок.

— Нухорошо, — сказал Добржинский, — а чем вы объясните нахождение при вас брошюры «Террористическая борьба», принадлежащей перу Морозова, от тождества с коим вы отказываетесь? Это не вы ее автор? Зачем она у вас?

— Но, помилуйте, господин...

— Добржинский, — сухо сказал Антон Францевич. Ему было неприятно, что разговора не получалось, и стало скучно. Подумаешь, сопляк, завтра вызовут отца и все. Глупо это, что на показание Складского нельзя составить протокол. Подумаешь, тайная личность. Однако же, и вправду неудобно.

— Но, господин Добржинский, книга эта в данную минуту при вас и у вас в руках, нельзя же на этом основании полагать, что вы ее автор, — приветливо сказал арестант.

Никольский хмыкнул. Однако Добржинского только радовали выпады, солдафонов приводящие в ярость, он обрадовался даже живому движению ума в собеседнике, проявлявшем тупое упорство, и похвалил:

— Недурно сказано. Просто зная, что вы на самом деле ее автор, я хотел поговорить о ней с вами, не откладывая до завтра, когда вас признает уже вызванный нами отец.

— Но отец в Париже, — живо возразил арестант.

— Я говорю о вашем отце, отце Морозова господине Щепочкине, — сказал Добржинский.

— Ну пожалуйста, — арестант пожал узкими плечами.

— Жаль, — сказал Добржинский. — Мне искренне жаль, что вы упорствуете. Мне давно хотелось обсудить с кем-либо из нелегальных литераторов занимательнейшую идею, которая приходила мне в голову неоднократно во время этих печальных событий последних лет.

Арестант молча и с явным интересом смотрел на товарища прокурора. Пытаясь все же завязать разговор, Антон Францевич изложил действительно интересовавшую его мысль. Она состояла в том, что равно друг другу и более всех остальных повинны в кошмаре террора двое совершенно незнакомых друг с другом людей: эмигрант Лавров и прокурор Жихарев. Один занимался подстрекательством, увлекая молодежь несбыточными проектами и одурманивая ложным понятием долга, который надо-де вернуть народу, а второй — заварил этот страшный и идиотский Большой процесс, в результате которого было столько смертей, сумасшествий и, в общей сложности, сотен несправедливых лет тюрьмы, что молодежь не могла выйти не травмированной и не озлобившейся. Таким образом, пружину, заводившую несколько лет механизм террора, теперь неостановимого еще некоторое время, закрутили в равной степени теоретики революции и практики охранительства. Потому-то и хотел Добржинский обсудить теоретические идеи с

кем-либо компетентным, а конечно же, кто осведомлен более Морозова в хитросплетении причин, породивших террор. Писатель, теоретик и практик одновременно — это же крайне интересно для разговора, в результате которого, не исключено, в России удастся остановить непрекращающееся кровопролитие. Вся страна, да что там — сама история российской была бы признательна человеку, нашедшему этот путь.

— Интересная идея, — улыбнулся арестант. — Даже жаль, что я недостаточен в подготовке для ее обсуждения. Морозов бы вам действительно пригодился.

Антон Францевич промолчал.

— К тому же есть ваша фотография, — сказал Никольский, привстав, чтобы потянуть к себе колокольчик для вызова дежурного.

— Не трудитесь, — быстро сказал арестант. — Неужели вы думаете, что, увидев похожее на меня лицо, я возьму на себя и чужое имя?

Никольский тяжело опустился на стул, но Антон Францевич и глазом не моргнул на конфуз партнера — не лезь с хитростями, шитыми белой ниткой, дурачку ясно, что будь похожие фотографии, разговор носил бы совершенно иной характер.

— Поговорим завтра, — сказал он душевно и приветливо. — Завтра здесь будет ваш отец.

— До свидания, — вежливо поклонился худой арестант.

— Сопляки, мальчишки, сосунки, выродки, негодяи, — выложил Никольский накопившее в нем чувство.

Антон Францевич сосредоточенно читал протокол допроса. Потом протянул его подполковнику вместе с клочком бумаги.

— Да, это Морозов, — спокойно сказал он. — Впервые, легко сличить почерки, это листок из его дела, я попросил в архиве, а потом — мы не называли Любатович по имени, а он ее поименовал. Надо срочно формальное опознание. Посылайте за отцом, и хорошо бы найти еще кого-нибудь, кто с ним общался. Может быть, очную ставку просто? Смешное заpiresательство — в родном городе.

Никольский с молчаливым уважением покачал головой. Он подумал, что скоро будет и сам работать так же четко и точно, а тогда походатайствует о прикреплении к нему какого-либо другого, менее раздражающего его прокурора.

На следующий день, девятнадцатого апреля, Морозова опять привозили в управление. Он час посидел в какой-то ярко освещенной камерке, то прохаживаясь, то опять садясь на зачем-то жестко прикрепленный к полу стул, но допроса не было, его увезли, чтобы снова вызвать двадцатого.

Если бы он был введен в комнату десятью минутами раньше, то услышал бы, как Никольский возмущенно говорит Добржинскому, показывая протокол, помеченный вчерашним днем:

— Вы представьте себе, Антон Францевич, что это за семейка: отец, дворянин, миллионер, по слухам, был несколько лет предводителем дворянства — и отказывается узнавать собственного сына — преступника. И главное — не моргнув глазом, не смутившись ничуть, пишет: «в предъявленной мне особе я не узнал своего сына», хотя ясно моей собаке даже, а не мне, что узнал и не хочет просто помогать следствию. Все в России положительно сошли с ума.

— И пункт помешательства — неприязнь к правительственным действиям для их же блага, обратите внимание, — поддакнул Антон Францевич.

Морозов обрадовался за отца гораздо позже, когда узнал о его поступке со слов своего защитника, случайно наткнувшегося в деле на протокол. Щепочкину посоветовал это Рузов, и он с замиранием сердца впервые в жизни совершил акт нелояльности. Рузов сказал, что независимо от соображений, по которым скрывается на этот раз от опознания блудный и преступный сын, лучше им не помогать. «Нам всегда лучше не помогать», — сказал он с широчайшей улыбкой, в которой не было ни капли цинизма, а была распахнутая бесшабашность человека, плюнувшего на свою жизнь и оттого очень спокойно и отстраненно видевшего все вокруг. Щепочкин уже несколько раз встречался с ним за картами, то у него, то у Селифонтова, то в каком-то заведении, не сомнительном только оттого, что просто не оставалось при посещении никаких сомнений в его свойствах и назначении. Рузов азартно и крупно играл, много и без жадности выигрывал, но производил впечатление человека, способного в любой момент взять себя в руки и отказаться от игры. Он как будто ждал чего-то, все время Ждал. Чего именно, Щепочкин сказать не мог, но ощущение, что Рузов просто убивает время до поры, не оставляло его. О сыне он расспрашивал с нескрываемым и сочувственным интересом, огорчаясь, что Щепочкин ничего не знал о нем. Отказавшись узнать сына в предъявленном человеке («как он похудел, однако, и почему так бледен? Может, лучше признать, можно было бы подкормить, взять на поруки? Он не простит, что-то происходит, он уже взрослый какой, что же он сделал?»), Щепочкин весь вечер искал Рузова, чтобы поделиться своими сомнениями, но не застал ни дома, ни у Селифонтова, ни в заведении, и на следующий день поехал нетерпеливо с утра, чтобы застать, поговорить, облегчить

душу, попросить совета. Он вдруг ощутил, что очень привязался к этому человеку с явно незадавшейся жизнью и что только с ним может говорить о сыне так, как хочется говорить.

А Лакиер-Морозов в это время, шурясь от света после полутемного коридора, входил в знакомую уже комнату, где от стола ему приветливо кивал голову Добржинский, и со строгой насмешкой смотрел Никольский — короткие седые волосы торчком и круто вьющиеся усы — а у стола, неудобно примостившись на краешке стула, сидела с испуганным лицом добрая хозяйка той злополучной квартиры, откуда они с Ольгой так удачно сбежали тогда.

Увидев его, Мария Федоровна боязливо, но радостно поздоровалась, потому что очень полюбила тогда за несколько месяцев своего невероятно вежливого, очень тихого, всегда то задумчивого, то углубленного в чтение жильца, явно находившегося под каблуком быстрой и говорливой жены — вострушки с цыганским ликом и огромными глазами. Даже случившийся тогда побег, а после крики и угрозы околоточного, таскание в часть и составление протокола и снова угрозы и подозрения не избавили довольно пожившую и много видевшую Марию Федоровну Фролову от уверенности, что жил у нее очень, очень хороший человек. Может, конечно, и совратили его в чем, но это могла помочь жена, сам бы он ни за что плохое не взялся, и не полицейским ее было в этом разубедить.

Жилец тоже приветливо с ней поздоровался за руку и как-то сконфуженно, хоть и смеясь, посмотрел на двух хозяев кабинета. А те прямо цвели от восторга! Мария Федоровна послушно подписала, как ее попросили, что признает в предъявленном ей человеке того Ивана Петровича Хитрово, который

жил у нее вместе со своей женой Ольгою Павловной на квартире. И карточку самой Ольги Павловны признала, в чем расписалась тоже. И ушла, почтительно попрощавшись с начальством и очень сердечно — с бывшим жильцом, похудевшим, бледным, будто больным, но таким же симпатичным, тихим и приветливым.

А он сразу после ее ухода взял молчаливо предложенный ему протокол ее показания и написал внизу своим мелким, очень аккуратным, очень разборчивым почерком:

«При предъявлении меня Марии Фроловой я присутствовал. По поводу ее показаний не желаю дать объяснений. Настоящее мое звание и фамилия Николай Александрович Морозов, незаконнорожденный сын помещика Ярославской губернии Мологского уезда Петра Алексеевича Щепочкина. Ношу фамилию матери моей Анны Васильевны Морозовой. Назывался Лакиером при расспросе меня единственно вследствие желания отсрочить хотя бы на несколько дней процесс и этим доставить тем обвиняемым, которые будут приговорены к смертной казни, несколько лишних дней жизни. Показания по существу дела дам при последующих допросах».

Они оба так же молча прочитали написанное и заверили протокол своими подписями. Потом прокурор спросил:

— Вы действительно молчали просто для отсрочки процесса?

— Да, — сказал Морозов очень искренне. — Конечно. Ну и для себя, естественно. Очень ведь приятно — жить. И надежды всякие, опять же.

— А мысль о продолжении жизни благодаря чистосердечному раскаянию вам не приходила в голову? — спросил Никольский враждебно.

— Н е т , — Морозов засмеялся чему-то, — забавно, но не приходила.

— А почему это забавно? — поинтересовался неутомимый психолог Добржинский.

— Потому что могла бы и прийти, — просто сказал Морозов.

* * *

*

Следующий их разговор состоялся двадцать четвертого и уже с глазу на глаз, ибо Добржинский знал, насколько любой третий вредил откровенности, могущей возникнуть в умело построенном разговоре. Но, к сожалению и разочарованию искренне заинтересованного в понимании событий прокурора, у него ничего не получилось даже в разговоре лишь вдвоем. А он долго думал об этой беседе, многого ждал от нее, приготовив надежную и превосходную отмычку к искренности собеседника — какое-то явное, несомненное противоречие, разлад между ним и Желябовым. Он обдумал эти сведения очень тщательно и выложил их в беседе сразу, как козыри, приглашающие сдать.

— Вы ведь уже были здесь во время процесса царевубийц, не правда ли, — спросил он, тактично заменяя на «здесь» естественное «под арестом», — так что с речью Желябова не знакомы?

— Н е т , — сказал Морозов. Он был чуть напряжен, ибо вернулось странное давних лет ощущение, что он мальчишка, что беседует с кем-то очень взрослым, куда более разумеющим, и оттого вот-вот можно ожидать вопроса, который окажется не по силам.

— Он в своей защитительной речи — от адвоката он отказался — спорил именно с вами, — быстро заговорил Антон Францевич, прямо глядя в глаза собеседнику своими широко расставленными, очень

молодыми и умными глазами. — Даже к Гольденбергу вас приобщил, знаете ли. Я вам зачитаю сейчас, с вашего позволения. — Он придвинул к себе стенограмму процесса и, косясь в нее, прочитал, то и дело взглядывая на безучастного, однако очень встревоженного Морозова.

— «...Некий Морозов написал брошюру, я ее не читал; сущность ее я знаю; к ней, как партия, мы относимся отрицательно, и просили эмигрантов не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники. Нас делают ответственными за взгляды Морозова, служащие отголоском прежнего направления, когда действительно некоторые из членов партии, узко смотревшие на вещи, вроде Гольденберга, полагали, что вся наша задача состоит в расчищении пути через частые политические убийства. Для нас в настоящее время отдельные террористические факты занимают только одно из мест в ряду других задач, намечаемых ходом русской жизни...»

Антон Францевич оторвался от страницы и остро глянул на Морозова. Мерзко было у того на душе, и лицо не скрывало этого. Поняв, что удар нанесен точно, Добржинский качнулся чуть обратно для обретения от собеседника благодарности, первого камня в здании доверия.

— Дальше тут мало важно, — скороговоркой сказал он, — Желябов говорит, что он тоже имеет право, как и прокурор, сказать, что он истинно русский человек, на что в зале раздался ропот возмущения, возгласы и негодование. Малосимпатичный человек, скажу вам прямо, хотя мужествен и тверд. Он главарь, знаете ли, а не вождь, вот вам мое мнение.

360 Промахнулся. Ах черт, промахнулся, кажется, переборщил, он явно пришел в себя.

— Да, интересно, — сказал Морозов безразлично.

— Не оттого ли вы и покинули Россию год назад? — спросил Добржинский. — Не из-за теоретических ли расхождений? Однако он ведь, в сущности, хотел того или не хотел, а воплощал и реализовал именно вашу программу. Террор. Откуда же такое возбужденное разногласие?

— Я не собираюсь это обсуждать, — вежливо и твердо сказал Морозов. Нет, он еще совсем не пришел в себя, еще больно было до того, что хотелось остаться одному хотя бы минут на десять. Ну да ладно, Желябов ведь защищался. И уже его нет, и был он, конечно, героем. А главарь ли, вождь ли — значения не имеет. Конечно, вождь — это Дворник, да тот бы и не сказал так. Отказался бы, если надо, от согласия, и все. А насчет того, что не суйтесь, мол, эмигранты, — это под ложечку, не по правилам так бить. Да ведь уже мертв... Все равно я с ним, а не с этим лысокудрявым. Жаль, уже не поговорим. Разве только на том свете. А этот молодец, умник, ловко сунул. Ишь, как радуется. Может, еще что есть?

— Не настаиваю нисколько, если вы сами не пожелаете, — сказал Добржинский сердечно. — Только изложу вам, Николай Александрович, давно берег для встречи с вами, одну идею, скорее мыслишку просто, объяснявшую здраво и правдоподобно неприязнь Желябова и, очевидно, каких-то других ваших товарищей — из-за одного вы бы ведь не уехали — к вашим убеждениям в необходимости терроризма.

— Это неправильное название, — сказал Морозов, морщась, будто от боли, — книжка должна была называться «Неопартизанская борьба», то есть — горстка людей во враждебном окружении. Так точнее суть дела. Поддался всеобщему слову, отсюда и последствия. Не о терроре ведь речь.

— Тут вы правы, — восторженно сказал прокурор, — дело совсем не в слове. Я понимаю вас прекрасно, вы говорите о борьбе горстки людей за права поработанного большинства, не смеющего сопротивляться. Однако средство — запугивание верхов целым рядом убийств наиболее усердствующих притеснителей, не так ли?

— Так, — сказал Морозов, чуть не подаваясь вдохновению собеседника.

— А значит, все-таки террор! — победно сказал Добржинский. — И не жалейте о названии. Если жалеть вам, то единственно о соратниках, не сумевших понять вас, отчего у них и несогласие возникло, и неприязнь к вам, — смею полагать, исключительно на почве воззрений, ибо человек вы симпатичный до крайности.

— Благодарю вас, — сказал Морозов.

— Не благодарите, а соизвольте выслушать объяснение этого феномена, как он представляется вашему покорному слуге. Насколько я могу судить — и не только уже по выступлению Желябова, но и по подробнейшим показаниям Александра Дмитриевича Михайлова — он дает их с декабря месяца, решив выступать с открытым забралом, — тут Морозов смертельно побледнел, и Добржинский этого не упустил, но виду совершенно не подал, — насколько я могу по ним судить, деятельность замышлялась широкая, пропаганда и заговор в полном смысле обоих слов. Тем более и в журнале своем, в «Народной воле», вы напечатали эту широкую программу. А сил хватило — только на череду покушений. Исключительно лишь на них. А теперь судите сами. Предположим, я, лично я взялся, и широко, притом, заметьте, оповестив об этом заинтересованных лиц, — взялся вести одновременно важную деловую переписку и — колку

дров для топки печей этой же конторы. Начинаю носить, колоть и складывать дрова, — Добржинский от вдохновения выскочил из-за стола и показал, как он это делает. — Устаю, конечно, страшно, и на переписку, на главное, по моему убеждению, дело времени и сил не остается. А ведь, кроме того, что это важно и нужно, я же еще обещал! А на меня смотрят! И вдруг появляется некто, говорящий: а сегодня задача дня как раз и есть колка дров. Никакая переписка не нужна и даже преждевременна. Нет, кричу я, нет, нужна и необходима, и не могу оторваться от поленицы, потому что здесь раз бросишь — все усилия, затраченные прежде, пропадут. И вот, понимая теоретическую вашу неправоту и с вами будучи горячо несогласен — а этот некто вы и есть, как уже догадались, — я, как привязанный и заколдованный, всем своим практическим действием вашу правоту подтверждаю. Как же я должен на вас злиться! Согласитесь!? Как вы должны меня раздражать своей помощью, и участием, и сотрудничеством, не так ли? А оторваться, опять-таки, не могу. Что я могу единственное? Заставить вас замолчать, чтобы вы мне душу не травили, а уж тогда я себя постепенно сам утешу, что дрова — дело временное, скоро конец, сяду за бумагу и все докажу обещанное. И в результате этого силлогизма вы уезжаете за границу, продолжаете там писать, что думаете, а я вас здесь громогласно ругаю за неверные взгляды, которые сам же на деле выполняю, ибо это ходули — слезешь, падают. А?

Добржинский уже бегал по комнате, поворачивая в самом углу. Кончил и остановился. Ему и в самом деле хотелось подтверждения своей проницательности, независимо от прочих интересов следствия. Морозов, с вниманием слушавший его, чуть помолчал и вместо ответа спросил как можно более небрежно:

— А что говорит Михайлов?

— Все подряд, — сказал Добржинский. — Все, все подряд. И о Липецком съезде, в коем вы принимали живейшее участие, и о московском подкопе, тоже без вас не обошедшемся, и много всякого иного — в частности, о типографии, о журнале вашем, о статьях и авторах. Все по существу дела. Я же говорю вам — он откровенно показывает работу и цели партии, полагая, что борьба окончена, а для истории важны обстоятельства. Потому же я и говорю вам, что литератор сделает это лучше, в интересах партии вашей сейчас — полная о ней правда.

— А где я должен писать? — спросил Морозов.

— Вот тут, — жесты Антона Францевича были непринужденны и свободны, хотя все у него внутри напряглось и чуть дрожало, как натянутая леска. — Вот здесь. Вверху данные о себе, это такая же анкета, как была четвертого дня, когда вы именовались Лакиером. А внизу — ответы по существу дела, все, что полагаете нужным изложить для пользы партии и истории России.

И отошел к столу посмотреть на столе какие-то срочные бумаги.

Все было мертво сейчас в Морозове, потому что он поверил вдруг в то, что Дворник излагает цели и задачи партии, а также отдельные события. Он ведь так давно не был в России, неужели переменился и пункт устава, запрещающий откровенность на следствии и суде? Но так точно изложил этот умный и недобрый человек суть его разногласий, побудивших уехать, что не могли ему не рассказывать, сам такой картины не сочинил бы. В письмах ему туда не писал, правда, никто ни о каких новинках, но и вообще ведь не очень-то писали о текущих делах. А если он сейчас откажется, повредит он или нет? Что, если

другие все открывают чистосердечно, и он, запираясь, только ухудшит их общий облик в глазах суда? Снова идти против друзей? Как он мучился, что уехал от них, а теперь снова не как все. Потому что если уж говорит и пишет Дворник, значит, это надо и условлено. Да, но если он не пишет?

Добржинский углубленно листал бумаги, делал какие-то выписки, потом взял из ящика стола и надписал куда-то конверт. Куда-то на волю, должно быть. Хорошо сейчас на воле. Интересно, где сейчас Ольга. Да, вот ведь простая мысль. Просто простейшая, такая простая. Кто-то ведь на воле еще есть, чего же писать? Ну и слава богу.

И Морозов макнул перо в чернила. Добржинский ничуть не пошелохнулся.

«По убеждениям своим я террорист, но был ли террористом по практической деятельности, представляю судить правительству. Я не считаю для себя возможным дать какие-либо сведения по предмету обвинения меня в Липецком съезде, в участии в покушении 19 ноября 1879 года в Москве и вообще на все вопросы по существу дела, так как моя жизнь до ареста была тесно связана с жизнью других лиц, и мои разъяснения, хотя бы они относились лично ко мне, могли бы повлиять на судьбу моих знакомых и друзей, как уже арестованных, так и находящихся на свободе».

Морозов подумал немного, помедлил, поставил точку, расписался, снова пристально перечитал.

И, протягивая лист прокурору, твердо сказал:

— Это все. И давайте больше не беседовать, все равно я ничего не скажу. Благодарю вас за доставленное удовольствие.

— Как знаете, — озадаченно протянул Добржинский, мигом пробежавший листок глазами и не ус-

певший за стремительностью прощания даже посоветовать, что так мгновенно лопнула леска, и что пропал впустую такой безупречный психологический подкоп, какой был им за вчерашний день подготовлен. — Я еще зайду к вам или в вызову, — властно бросил он вслед арестанту, уходившему из кабинета так по-хозяйски спокойно, будто за дверью его ждал выезд, а не конвой.

— Буду рад, — вежливо поклонился Морозов от самой двери.

Добржинский сел и опустошенно посмотрел на стол. Больше не от кого было ждать сведений о Морозове. Надо было приобщить его к готовившемуся процессу, а обвинение, кроме оговора Гольденберга, не располагало абсолютно ничем. Кроме номеров «Земли и воли», кроме «Листков «Земли и воли»», кроме номеров «Народной воли», — но как доказать, что в них написано этим твердокаменным высоким заморышем?

Ощущения Добржинского в тот момент очень точно воспроизвелись искренними жандармскими словами в найденном впоследствии в архивах поименном своде — перечне государственных преступников с обозначением их особенностей и деяний. О Морозове там было сказано: «принадлежит к числу весьма опасных революционных деятелей вследствие особенности характера его деятельности, не дающей возможности уличать его во вредном направлении».

Сам же Морозов, к искреннему огорчению Анто-на Францевича, ничего покуда не сказал.

* *
*

Так поступали не все, и одного нам здесь не миновать.

Последняя, самая глубокая проверка человека — не просто когда он лицом к лицу с предъявляющими счет врагами, но когда он — один перед ними. Оттого, быть может, вполне искренне говорил свое последнее слово Окладский, но потом остался один, и преуспел появившийся искуситель. Случалось и раскаяние в таких ситуациях, но раскаявшийся нес свой крест, а потом отходил от движения.

Стефанович, схваченный в Москве, еще сидя в полицейском участке, написал письмо своему другу, находившемуся за границей. И попросил бросить это письмо — дежурного полицейского охранника, сразу поверив и доверившись ему. Естественно, письмо через день лежало на столе директора департамента полиции Плеве. Во многих человеческих качествах отказывали этому мастеру пресечения и сыска знавшие его по службе или общению, во многих, но не в пронизательности и не в уме. А в письме черным по белому арестованный Стефанович писал, что сделает все, все, что в его силах, чтобы снова общаться с другом, притом общаться на воле, как приток и собирается впредь.

Через день Стефанович был в Петербурге. Он сразу же проговорился, под какой фамилией скрывается в Москве уже знаменитый хозяин сырной лавки с Малой Садовой, бывший Кобозев. Так стал известен и вскоре схвачен вечно веселый от избытка сил и ощущения полноты жизни Юрий Богданович. Висельный приговор, помилование бессрочной каторгой, мучительная смерть в Шлиссельбурге. А незадолго перед выдачей он, чьи фотографии имелись у жан-

дармов чуть ли не на каждой станции, подравняв только немного бороду, объехал за зиму всю Сибирь, налаживая помощь ссыльным, устанавливая связи, организуя гигантскую цепь тайных убежищ для ночевков тем, кто убежит, — так называемый «сибирский путь». Жизнь дарила его удачей и обещала нелепое, им самим выкованное счастье: постоянный ручеек в Москву сосланных на вымирание друзей. И походка его была легка, а улыбка еще шире, чем обычно.

Плеве попросил изготовить ему историю революционного движения с полным и детальным перечнем лиц, событий и мест, а также подробнейшую записку о русской революционной эмиграции.

Так появился в одной из камер бывшего Третьего отделения, ныне отдела общего департамента полиции, странный постоялец: во-первых, с собственными вещами, а во-вторых, запечатанный снаружи. Снималась печать, когда входили доверенные лица, снова шлепалась, когда выходили. На стук соседей (а соседи были и стучали) загадочный арестант не отзывался.

Он занят был, Стефанович, он теперь играл с Плеве на свою собственную жизнь. И уже не вертел и не обманывал. Для побуждения памяти ему приносили из департамента полиции все нужные материалы и даже текущие дела. Записку с именами и делами вчерашних товарищей писал свидетель зоркий и умный — никто иначе не отзывался о недавнем фанатике борьбы за свободу Якове Стефановиче.

Можно судить о качестве изготовленного им по сохранившейся его записке о революционной эмиграции. Там все имеется: десятки фамилий, адреса, где живут, средства, органы, в которых сотрудничают, мировоззрение, группировки и отношения.

Пять раз упоминался в ней заметный и деятельный эмигрант Николай Морозов. Ничего не забыл Стефанович, все перечислил: как тот собирался, уезжая, издавать в России новую нелегальную газету, и как оживил дебаты эмигрантов своими идеями, и что создал новую боевую группу, и что участвовал в создании социально-революционной библиотеки, огромного задуманного им архива сведений, фактов, опыта и мыслей.

Он боролся за жизнь, Стефанович. Собственно, все он делал, как всегда: возникала у него какая-нибудь цель, и она уже оправдывала любые средства. В Чигиринском деле он во имя желанного восстания поднимал крестьян на царя, обманывая их, что все это именем царя же, теперь он спасал свою жизнь, делая все, что нужно было для этого. Он был вполне последовательный человек.

А в эмиграции получали его письма и восторгались гением изворотливости: из лагеря врагов, из-под замка пишет, как из города в город. Спокойно, уверенно, деловито.

Плеве иногда вскрывал печать и для не очень крупных узнаваний. Из Киева, например, запрашивал полковник Новицкий, верны ли сведения, что фамилия жены преступного графа эмигранта Кропоткина — Рабинович, ибо если верны, то Новицкий имеет возможность засечь некоторые интересные связи. Плеве ставил пометку в деловом блокноте — «вызвать Стефановича», подручный делопроизводитель аккуратно отмечал: «исполнено», после чего Плеве же поручал: сообщить в Киев, что сведения верны.

И где-то ставились под заметку, засекались, велись на невидимом поводке обреченные в скором будущем люди...

Получил восемь лет каторги, меньше было никак нельзя: двое других, просто очистившие его квартиру от лишних бумаг после ареста — ни прошлых дел за ними не было, ни побега из тюрьмы, ничего — получили только за очистку каторгу на тринадцать и шестнадцать лет.

И еще перед отправкой он писал Плеве: сердечно благодарил за облегчение своей участи, просил поспособствовать, чтоб разрешили взять с собой вещей более, чем положено. Чего уж там, действительно, впереди и так тяжело: надо будет как-то объясняться с товарищами.

Но те поверили всему. Потому что сами так — не могли бы, а оттого и других не в силах были даже заподозрить.

Он еще потом дневник издал, в котором чернил их, но и после смерти его, когда заговорили тайные архивы, друзья не верили, опровергали, надеялись. Они возражали горячо и громко, и беспомощная, сразу умолкшая после публикации его записки защита их была благородна и светла, как бывают светлы иллюзии очень чистых людей, оттого и верящих другим истово, полно и до конца.

А он был человек умный, энергичный, находчивый и деловой. И неутомимый организатор.

* *
*

И еще раз, в августе уже, вызывал Добржинский Морозова. Договорился с полковником, что тот опять уйдет, потому что хотелось ему в предстоящей беседе достичь некоторой интимности, без которой искренность не воспоследует, а втроем интимный тон, ясно же, неосуществим. Полковнику психологические

тонкости этой бестии были давно уже не по душе, но они давали плоды, и нельзя было не согласиться.

Морозов был истощен и в состоянии чуть нервном, это опытный глаз Антона Францевича обнаружил сразу. На столе в изобильном беспорядке лежали летние фрукты, окно было распахнуто, и дышалось очень хорошо, ровная и умеренная держалась на дворе погода. У Антона Францевича два были козырных хода в этом поединке наступающем, и лишнего времени тратить ему не хотелось. Так, попробовать. Но в глубине души ожидал он удачи от тонкой мысли, которую собеседник не оценить не мог, а следовательно, мог ею и проникнуться.

Начал он с первого, послабее, на что не рассчитывал особо, да притом еще издалека довольно: сообщил, что гражданская жена Морозова Ольга Любатович арестована и, желая, очевидно, на общий с мужем процесс попасть, наговаривает на себя невесть что. Например... — тут Антон Францевич просто зачитал негромко выдержку из показаний Ольги, что это она оставалась вместе с Перовской в Москве в последний момент взрыва, чтобы его произвести, а в случае внезапной облавы это она должна была стрелять в заготовленную именно на этот случай пятилитровую банку с нитроглицерином, чтобы сразу обрубить концы. И еще было всякого наговорено. На процесс рвалась Ольга, чтобы хоть посидеть рядом последние самые часы. И такая нежная улыбка озарила лицо Морозова, столько было в ней любви, и понимания, и благодарности к уже потерянной навсегда женщине, оставшейся в той, уходящей жизни, что Антон Францевич, глянув, тактично отвернулся к окну, рукой зачем-то подвинув в сторону Морозова тарелку с крупными яблоками. Морозов яблоко взял и, действительно, успокоился сразу.

— Нет, я вам читал не к тому, что мы ей поверили, сведений у нас уже достаточно, — мягко сказал Антон Францевич, — а просто мне по-человечески захотелось показать вам, как вас любят. Самопожертвование такое, оно, знаете ли, только от очень большой любви дается. За показания эти одни — виселица ведь неминуемая.

Морозов хотел сказать что-то, но Антон Францевич остановил его, несмотря на свою старомодную несколько, а в кабинете этом особенно странную учтивость. Он продолжал, объясняя, что самооговор, конечно, суд в строку не поставит, не дикарские нынче средневековые времена, чтобы судить по одному признанию, тогда пытками от всех можно добиться такого результата. Нет! Любатович на процессе не будет, ей не больше выйдет, чем поселение в местах отдаленных, так как никаких на нее не падает объективных улик, кроме первого побега из ссылки. Ну и связи с вами, естественно, добавил он, тонко улыбаясь, но за это наказание не усугубится. А вот вы же лично, Николай Александрович, располагаете так, что на виселицу вас, не правда ли?

— Когда я сидел в Варшавской цитадели, — дружелюбно и распахнуто вдруг сказал Морозов, — узнал о первом марта и прямо почувствовал веревку на шее. Такое было ощущение странное и достоверное, что, поверите ли, шея зачесалась.

И засмеялся негромко. Антон Францевич тоже засмеялся сочувственно, хотя от висельного юмора людей этих, он уже не впервые с ним сталкивался, внутри его холодок мгновенный проходил, как электрический ток — слабо, слабо от головы в землю.

За это время оба думали разное. Добржинский, от тона морозовского чуть встрепенувшись, подумал, уж не напал ли на заветные струны? Может, глядишь,

пойдет такая же искренность и дальше? Однако сообразил, остывая, что, скорее всего, нет: просто хотелось мальчишке поделиться с живой душой необычным ощущением. Да, да, очевидней всего, так.

А Морозов вспоминал, как, получив от Ольги с воли записку, возликовал сначала, а потом вчитался и ахнул: она устала жить, она умереть хотела, чтобы поскорее все муки ее кончились. Это прочитывалось свободно, хоть и прямо не было сказано. И тогда он ей написал, что жизни их еще нужны, умереть сейчас было бы малодушием и бегством. Это всегда легко. Но еще отомстить надо. И вообще очень много дела. И они к нему приступят вместе. Раньше или спустя время. Он писал: «Обо мне не беспокойся. Я обещал тебе и сумею выпутаться теперь или после суда. Верь этому. Что я умру — невероятно; теперь, к сожалению, очень многие опасней меня».

И если бы Антон Францевич Добржинский, человек смекалистый и тонкий, одно только слово в этой записке видел, оборот только один вводный — «к сожалению», он бы не тратил свое время на измышления и ходы.

Но он этого ничего не видел и потому сразу же, пока атмосфера легкого разговора двух интеллигентных людей не рассеялась, уместно dokonчил свою идею, тут же увязав ее со второй, той же козырной масти.

— Ваша помощь следствию, между тем, наказание ваше снизила бы значительно, ибо ведь нет против вас улик достаточно веских. Кроме той единственной, что вы и есть таинственный редактор страшной, не скрою, для спокойствия умов газеты вашей подпольной. Судьям этого достаточно вот так — тут он показал себе ладонью под шею, но сообразив мгновенно, как неэтичен был этот жест ввиду намека на

петлю, отдернул быстро вниз руку, — чтобы вас осудить без снисхождения. Они люди государственные и знают цену печатному слову. Раскаяние же ваше, выразится ли оно в помощи следствию или в выступлении на суде, значительно приблизит срок вашей встречи с Любатович. Если вообще не приведет к немедленному соединению вашему — ну пока, естественно, где-нибудь на поселении. А там, оглянуться не успеете, последует высочайшая милость.

Морозов молчал непонятно, слушая внимательно и напряженно, и Антон Францевич вдохновенно продолжил, крохотную сделав паузу.

— А главное, Николай Александрович, вы имеете полное моральное право даже публично свое раскаяние принести. Вы за недосугом и спешкой не присматривались ведь ни разу, я уверен, с кем вы связали свою жизнь. А между тем, это полезное занятие — присмотреться к близким повнимательней. Вы полагаете случайным, что Фроленко так легко и просто поступил и работал тюремным надзирателем, когда Стефановича из тюрьмы вызволял, и никто даже не усомнился в его личности? Полагаете случайным, что Клеточников даже орден получил, в самом сердце жандармского сыска работая почти два года? Нет! Не случайно это, батенька! Они свои там, понимаете, по духу свои. По повадкам и личности самой — свои. Провидение назначило им играть одновременно и вторую роль, но удачность первой — не говорит ли она, к чему вполне годятся эти люди? Удача их — не компрометирует ли их она? Вас, например, взяли бы в тюремные надзиратели, расшибись вы даже в лепешку? Или в делопроизводители полицейские? А? То-то и оно! Они плоть от плоти и кровь от крови — того мира, это их поля ягоды, и случай один соединил их с вами просто в противоестественную связь. А Михай-

лов, возьмите, с этими его раскольниками, среди которых он жил как рыба в воде! Это же законченный староверческий наставник из какого-нибудь скита сектантского, а он тоже, заметьте, — с вами. А Желябов, этот революционный честолюбец из крестьянских детей? Разин и Пугачев из таких, верно, только с вами-то у него что общего? А эта его эффектная просьба присоединить себя к делу цареубийц? Оп ведь, знаете ли, раньше был арестован и сам записку прокурору написал, хотя понимал прекрасно, чем это для него чревато. То есть, иначе говоря, он понимал, что дело проиграно, так умру-ка я с эффектом, в позе, высказавшись! Ничего не скажешь, красивое самоубийство, только ведь оно — от честолюбия, низким происхождением взлелеянного. Так-то. А Баранников этот, которого и у вас в кружке называли ангелом мести, этот прирожденный убийца? Что у вас с ними общего? Вы — интеллигент, писатель, способности ваши духовные и умственные за версту видны невооруженным глазом, ощущаются просто, и вы — с ними? Возрастная случайность, заблуждениями диктуемая, я уверен. Вы еще послужите России по-настоящему, головой, мыслью и окрепшим духом, способностями вашими послужите незаурядными, ведь пристрастие ваше к науке и образованию мне известны. Вы — элита наша, а сомкнулись с отщепенцами, какие в каждом поколении нарождаются, но революционерами становятся — только в многотерпящем нашем отечестве, да и то, к счастью, не всегда. Подумайте, с кем вы вместе, и заслужите себе новую жизнь.

Лоб Антона Францевича вспотел, но собою он был доволен: говорил прекрасно, и ни в мысли, ни в тоне нигде не сбился.

А Морозов, помолчав немного — слушал он затаяв дыханье, — сказал непонятым тоном:

— Позвольте мне протокол, чтобы не тянуть.

И пока Антон Францевич сидел, замерев, аккуратным своим почерком быстро написал: «Кроме того, что было показано мною в предыдущих показаниях, я не имею ничего сообщить по существу предъявленных мне обвинений».

И бумагу эту вежливо протянул Добржинскому. Пробежав ее глазами, тот пожал плечами: как знаете. Он еще не был вполне уверен, что такой заряд пропал у него вхолостую. Хорошие мысли проникают постепенно, бывает.

— Стране сейчас надо помочь, — устало сказал он. — Страна в разладе и тупике. Вы не патриот, Николай Александрович, а в вашем хоть и нестаром, мягко говоря, возрасте, но пора уже быть патриотом России.

— А в русском языке, — живо возразил Морозов, — нет слова патриот. Это из латыни просочилось. Настоящие русские о своей любви к стране всегда, очевидно, целомудренно молчали, проявляя ее только делом.

Антон Францевич быстро глянул на него, но намека на свое нерусское происхождение не уловил: чисто научным, очевидно, было возражение этого упрямого мальчишки.

— Ваша воля, — сухо сказал Добржинский, раскрывая ящик стола, чтобы достать оттуда пакет. И продолжал незначуще и между прочим: — Может быть, даже хорошо, что вы так привязаны к этим людям, сильные чувства украшают, конечно, жизнь. Вот этих вы, например, извольте тоже знать? — спросил он спокойно и необидчиво.

Тут Морозов, даже из пакета ему не дав достать фотографии, засмеялся негромко, подвинул себе сам протокол и дописал аккуратно: «Также не считаю

возможным дать объяснения по поводу карточек различных лиц, которые могли бы быть мне предъявлены».

Заглянув в протокол и должным образом это «бы» оценив, Добржинский улыбнулся очаровательно и сказал:

— Расписаться надо. Желаю вам всего доброго. Если что надумаете, меня позовут.

Арестант вежливо поклонился, и Антон Францевич, встав, аккуратно ответил ему. Неудачи раздражают только слабые натуры, досада вредит упражнениям ума.

* *
*

Тридцатилетнему, очень талантливому прокурору Николаю Валериановичу Муравьеву снова предстояло обвинять своих ровесников из «Народной воли». Никто бы это не сделал с таким блеском, как он, и было вполне естественным его назначение. Оратор-златоуст, проявивший себя еще на университетской скамье, он, вступив на стезю практического правосудия, выбрал сторону обвинения. Читая судебные речи, слушая старших — они все еще студентами постоянно бегали тогда слушать, недавно проведенная в России судебная реформа побуждала заново учиться даже самых маститых, — он всегда сострадал голосу обвинения. В восторге, как и все, от принципа состязательности, но еще и ощущая в себе недюжинные силы, он жаждал схваток у судебного стола о изворотливой, почти всегда чуть нечестной, лукавящей, ускользающей и находчивой защите. Верхом счастья казалось ему неукоснительными и точными доводами, непроверяемыми аргументами и чеканным словом, рожденным железной логикой, пригвоздить защиту к стене. Защита в его представле-

нии всегда убежала, оборонялась, таилась и уклонялась, а обвинение рыцарски прямо разило и пресекало. Знаменитые речи знаменитых адвокатов он читал по необходимости и снисходительно, обвинительными — упивался. В этой прекрасной и увлекательной картине сражения прямодушного обвинения с коварной защитой не было места самому подсудимому, никогда не было живого человека — был объект схватки, предмет борьбы, плацдарм турнира. Он ни в коем случае не был садистом, Николай Валерианович Муравьев, в быту и дружбе он был, кстати сказать, вообще превосходным и добрым человеком, — и именно потому обвиняемого, подсудимого человека не было для него на процессе. Человека можно по-человечески пожалеть еще в процессе обвинения, но объект схватки двух состязающихся сторон безличен до тех пор, пока защита не разбита наголову, уличена в подтасовке, пригвождена и обращена в бегство; защита — это ведь всегда немного бегство, сам характер ее и построения побуждают преследовать, настигать и добивать. Но вот когда это свершилось, в подсудимом можно и должно увидеть смертного, живого, обладающего личностью и душой человека. Потому что не только неукоснительная, холодного дыхания правда должна царствовать в судах, но и милость. Милость почти всегда произвольна и ошибочна, если проявляется до того, как полностью выяснена правда, но когда выяснена — теплое дыхание милости необходимо для правосудия. Тогда можно ободрить, поддержать, посочувствовать и пожалеть. Великодушие суда должно снизойти к низвергнутому, а не раздаваться, как привычное подаяние.

И потому обвинительные речи Муравьева разили наповал, расшибали бастионы защиты, разносили и пригвождали.

Все, кроме политических. И за это Муравьев, который олимпийски спокойно относился к любым подсудимым — убийца ли это был, растлитель или в о р , — народовольцев нескрывая не любил. Стремительно шагая по лестнице служебной карьеры, он из-за них впервые споткнулся, и не подвернись процесс цареубийц, вообще, быть может, непозволительно замедлил бы свое восхождение. Дело в том, что два года назад, в восьмидесятом, Муравьев был послан в Париж и придан посольству в качестве златоуста-обвинителя для переговоров с французским правительством о выдаче государственного преступника Льва Гартмана, активного участника покушения на цареубийство под Москвой. С подложным паспортом на имя Сухорукова сняв дом, из которого велся подкоп, он и соучастники взорвали шедший поезд. Это было, таким образом, чисто уголовное преступление, и французское правительство не вправе было предоставлять беглецу льготы политического убежища. Уговаривающе-обвинительная речь Муравьева была выстроена плотно и несокрушимо. Он произнес ее твердо и внятно принявшему их представителю власти, победительно поучаствовал в вялых дебатах, вручил текст и был уверен в исходе дела. Безотказно принявший их премьер Гамбетта рассыпался в любезностях, ужасался коварству злоумышленников и сказал, что, конечно же, правительство немедленно разберется. К сожалению, добавил он, печать подняла страшную кампанию за невыдачу преступника, сам Виктор Гюго включился в нее, а во Франции, мягко сказал он, так называемое общественное мнение весьма влиятельно. В России этого нет вовсе, он знает и отчасти завидует, но и в раскованности общего голоса тоже, знаете ли, есть немалые преимущества. Однако обвинение столь тяжко и несомненно, что он сделает все от него

зависящее. Кстати, добавил Гамбетта, как бы заканчивая официальную часть, он лично сам, бывшим адвокат на политических процессах, не может не отдать должное обвинительной речи молодого русского прокурора. Она прекрасна и могла бы печататься в хрестоматиях — слог, логика, тон, — вы могли бы блистать в наших судах, господин Муравьев, мне приятно было читать и слышать вас, благодарю за высокое наслаждение.

Нетерпеливо и без удовольствия прожил молодой Муравьев несколько дней в Париже. Он наотрез отказался развлекаться — нет, он не был ханжой или аскетом, но он приехал победить, а схваток не было, была уступчивая недоговоренность, приятственная уклончивость и ожидание, проклятое ожидание. Крикливость газет вызывала в нем только презрительную усмешку.

В эти же дни получила спешное письмо из России и маленькая колония эмигрантов, русских государственных преступников. Их просили, даже не просили, а предлагали срочно, бросив все, выехать в Париж, любыми средствами добиться приема у самого Гамбетты и объяснить обстоятельства дела и если не убедить, то вымолить спасение Гартмана.

После краткого совещания двое выехали в Париж. Через знакомых по Женеве им удалось на третий день добиться приема. Подготовившись плохо, они говорили вразнобой и сами понимали, что слова их звучат жалко и неубедительно, как неумелая и косноязычная защита бесталанного адвоката на суде, где очевидна всем тяжкая вина подсудимого. Тем более — схваченного беглеца.

Гамбетта принял их плохо. Вяло и кисло слушал, нехотя и неприветливо говорил. Судьба Гартмана решена, хмуро сказал он, это несомненный преступник,

и французское правительство не намерено предоставлять ему политическое убежище. Согласно законам страны правительство высылает русского преступника Гартмана за пределы Франции — на ближайшую, то есть северную, границу, к Англии.

И так же кисло, неприветливо сощурился, увидев, как восторженно просияли лица назойливых просителей. Потому что прежде всего это означало невыдачу! Однако даже высланный на границу с Германией, Гартман был бы немедленно и наверняка схвачен, а та граница — безопасность и свобода!

Решение правительства Франции о немедленной, в соответствии с законом, высылке за пределы страны русского государственного преступника было в тот же день передано в посольство. Взбешенный Муравьев побледнел, но удержал себя в руках.

— Вот и имей с ними дело, — сказал равнодушный посольский старичок из третьих лиц, всю жизнь просидевший здесь и ко всему привыкший. — Вы не расстраивайтесь, Николай Валерианович, это такие бестии, я после России сам привык совсем не сразу.

В тот же день, отклонив несколько приглашений — всем был симпатичен молодой и способный юрист, так явно преданный служебному долгу, — Муравьев выехал в Петербург. Его никто не обвинил в неудаче, даже как-то не сожалел никто, всем уже плевать было на бежавшего, по горло хватало дел с теми, кто остался, но Муравьев этого поражения не забыл. Крепкая и крупная заноза осталась у него в памяти, и оттого, отчасти, была так патетически враждебна его талантливая обвинительная речь против царевубийц.

Льстецы и хвалители — их уже было много вокруг него, чье блестящее будущее не оставляло сомне-

ний — уверяли, что его речь по процессу о цареубийстве была одной из лучших речей судебных ораторов всех времен. Но он-то знал прекрасно, что это не совсем так, хотя и удалась речь, несомненно удалась. Многовато было в ней патетики и пафоса, да, кроме того, слишком очевидны были доказательства и несомненно преступление. Обвиняющему было где развернуться, но состязание логик не состоялось — что было защищать в столь явном и еще совсем свежем в общей памяти злодеянии? Правда, одно место ему действительно удалось, и он вспоминал его всегда с удовольствием, — когда вдруг на самой высокой трагической ноте его речи грубо и нагло засмеялся Желябов. Дикая ярость застлала Муравьеву глаза, просто покрыла пеленой зал, но он ничем себя не выдал, более того — будто не заметив этот выпад, незамедлительно и спокойно сказал, что все в порядке вещей, все так и быть должно: когда люди плачут, Желябовы смеются. И понял сам, что сказал блестяще, по просветлевшим и помягчевшим лицам тех, для кого и говорил, — они сидели в первых двух рядах, вся верхушка России, весь цвет ее, мудрость, власть.

Речь эту он включил потом в сборник избранных своих речей, но знал и помнил — особенно сейчас, спустя год, — что были там досаднейшие упущения. Одно из главных — сквозная тональность, что вот они, пойманы и обезврежены, таинственные злодеи-покусители, и надо их покарать, а оставшиеся — мелюзга, которая будет подобрана не сегодня-завтра, и конец, полный конец этому чудовищному Исполнительному Комитету. Знал ведь, прекрасно знал, что уже содержатся в крепости десятка два фигур сложных и явно крупных, не надо было торопиться с фанфарами, однако, не удержался, сказал, а сказанное не воротить.

И военный министр Милютин, умница, хоть и либерал, отозвал в перерыве в сторону, поздравил с блестящей речью и веско изложил свои наблюдения: случайный процесс, поторопились, хоть Желябов, Перовская и Кибальчич — замечательные в своем роде злодеи, но они явно не последние главари. Кто-то неминуемо есть еще, и быть новому процессу. Хорошо, если одному.

И оказался прав: здесь, в новом процессе, опять полным-полно руководителей шайки — не такой был человек Желябов, чтобы удержать ее в одиночку. Он был, конечно, атаман, главарь, но давно чувствовал Муравьев, инстинктивно, чутьем своим незаурядным чувствовал, что должны быть и другие. Не из тех, что ведут, а из тех, что образуют душу, из тех, что соединяют и сплачивают, из самого опасного рода.

В предстоящем процессе один такой был несомнен и не скрывался: Александр Михайлов, из дворян. Он уже дал подробнейшие показания, нисколько не утаивая свои мысли, но ни одного сотоварища не назвав (кроме казненных уже, на тех они ссылаются спокойно) и безнадежно предопределяя собственную участь этими откровенными изъяснениями. Но явно были здесь еще другие, и предстоял, несомненно, самый значительный процесс. Последний ли? Бог знает, теперь Муравьев ни за что бы не поручился.

Но кроме чисто служебного — что, впрочем, было у прокурора Муравьева абсолютно неотрывно от личного, а скорее и было самым личным — интереса в предстоящем через два дня процессе у него была еще одна странноватая заинтересованность. Смешно сказать, связанная с семейным покоем и благополучием.

Он очень любил женщин, энергичный и собранный прокурор Муравьев, и до последнего времени увлечениям своим предавался успешно и вполне

скрытно. Он не любил доступных женщин, ему нравилось, чтобы женщина отказывалась, сомневалась, уворачивалась. Сам процесс преследования, уговоров, настаивания доставлял ему значительное удовольствие. Он был неотступен, настойчив и убедителен. Ему надо было победить, сломить упорство, преодолеть сопротивление. И это раз за разом удавалось ему. К сожалению, последняя связь с близкой подругой жены стала жене откуда-то известна, тем более что недоброжелателей, а главное — завистников он имел большое и все возрастающее количество, очень уж хорошо складывалась карьера, это ее неминуемая оборотная сторона. Жена и ее подруга не только не поссорились — они были достаточно хорошо воспитаны, — но ничем не обнаруживали осведомленность, разве только перестали видеться, хотя последний раз в гостях даже обменялись поцелуем, звонким, как пощечина, но семейной жизни как не стало у Муравьева, ценившего семейную жизнь. Жена не выходила к столу, объясниться с ним отказывалась, и это длилось уже неделю. А Муравьев любил жену и очень хотел восстановить пошатнувшийся домашний распорядок. Связь он решительно и бесспоротно порвал, а теперь искал пути к примирению.

Он знал, что неотразимо обаятелен за исполнением прокурорских обязанностей, не раз уже пользовался этим в видах соблазнения, и сейчас решил пригласить на предстоящий процесс жену, чтобы все начать сначала. Более того, для вящего эффекта он решил показать ей, сколь полновластен в своей епархии, и устроить ее так, чтобы она почувствовала, чья она жена и какими привилегиями благодаря этому положению может пользоваться.

384 Так он и сделал. Процесс был закрытый, публики не было совершенно, но в зале он не стал сажать жену,

с трудом согласившуюся ехать с ним и всю дорогу сохранявшую отчужденно-враждебное и чуть брезгливое выражение. Он очень любил ее сейчас за эту неприступность и еще более хотел преодолеть возникший между ними разлад. Хозяйским жестом подождав служителя, он взял у него ключ от хоров, провел туда жену, усадил ее, нежно поддерживая под руку, и, заверив, что никто не разделит с ней это удобнеее место наблюдения, запер дверь, ведущую на хоры, положив ключи в карман. Потом он посмотрел на нее со своего прокурорского места, улыбнулся; она не ответила ему, но в лице уже не было того холода. Чувствуя чрезвычайный прилив сил, он взял черновик обвинительной речи, чтобы успеть пробежать ее глазами еще раз.

Хозяйское поведение Муравьева все в суде воспринимали как должное. Он так стремительно и прочно утвердился после процесса первомайских царевубийц, что ни у кого не оставалось сомнений: впереди у этого человека кресло министра юстиции.

Он действительно в недалеком будущем занял его. Всего три года назад тогдашний министр юстиции Пален намекал близстоящим, что прочит на свое место молодого и способного председателя окружного суда Кони. Но Кони сорвался сразу, в один день: назначенный по высочайшему доверию председателем суда над преступницей Верой Засулич, стрелявшей в градоначальника, он произнес возмутительно нейтральную напутственную речь присяжным заседателям. В своей речи, хрестоматийно и порочно беспристрастной, он воздал должное не только пунктам обвинения, но и защите тоже (признаться, высокоталантливой защите), и этим как бы подтолкнул присяжных, помог им вынести вопиющий оправдательный приговор. Более того, он сразу же освободил

оправданную Засулич из-под стражи, и, пока обвинение опротестовало процесс, она успела скрыться. Карьера Кони была бесповоротно загублена.

С Муравьевым этого никогда бы не случилось. Все до единого годы своей безупречной службы он придерживался мудрого убеждения, что юстиция является в равной степени как орудием беспристрастного правосудия, так и инструментом правительства. Непоскрываемо и прямо он утверждал это в своих выступлениях: «Суд должен быть прежде всего верным и верноподданным проводником и исполнителем самодержавной воли монарха... оберегать не только существующий законный порядок, но и достоинство государства и его правительственной власти». А беспристрастная истина высокого правосудия, безразлично к злобе текущего дня и давлению обстоятельств, признавалась им, конечно, в качестве содержимого учебников и речей при открытии новых судов (он любил произносить их, разъезжая в качестве министра), но ни в коей мере не могла служить руководством в деле практического служения верховной власти.

Он ревностно и преданно служил тому, и только тому порядку вещей, который застал, вступая на поприще. Потому он и достиг поста министра юстиции, потому и сделал много для введения контрреформ, ужесточивших судебные уставы, потому и был сослан в Италию в почетном качестве посла, как только началось в России новое революционное брожение и либеральное размягчение нравов.

Сейчас, готовясь выступать и чувствуя приятный подъем духа, он мельком взглянул на лица сенаторов. Уже с утра у них были усталые лица — от возраста, от холодной зимы, от духоты в зале. Муравьев подумал, что на психологии подсудимых, пожалуй, оста-

навливаться не стоит: эти старики попросту не оценят тонкостей, которые он способен вскрыть в мотивах и поступках своих ровесников. Да, да, речь надо пере-страивать, надо оставлять лишь все построенное на фактах, прямых уликах и оговорах двух покойные сознавшихся. Приятная неожиданность предстоит подсудимым, подумал он: опять один из них полностью раскрылся и будет старательно служить обвинению, надеясь на обещанное снисхождение. Ну, начали. Это серьезный процесс.

* *
*

Председатель суда, первоприсутствующий сенатор Дейер, с нетерпением ожидал начала. Он такими процессами наслаждался. Прежде всего, председательство означало неизменность доверия в шекотливой области отношения к политической крамоле. Многие коллеги уже сломали себе шею на сочувствии к фанатизированным молокососам. С Дейером этого не могло случиться. Свою репутацию он создал председательством почти десять лет назад на процессе нечаевцев. Это он тогда, к возмущению и ужасу слюнявых ревнителю педантичного традиционного правосудия, произнес в качестве председателя суда, долженствующего быть нейтральным лицом, равно соблюдающим интересы обеих сторон, яркую и злобную обвинительную речь, ничем не уступавшую прокурорской. Отсюда и последовала жесточайшая строгость наказаний. Дейер вообще был довольно смелым человеком в области нарушения профессиональных норм и самой морали профессии. Не отказывался, например, горячо и напористо защищать кассационные жалобы очевидных преступников, явных мошенников, уличенных растлителей, уже осужденных судом и пы-

тавшихся избежать кары. Он делал это по просьбе друзей, знакомых с осужденными, и те любили его, ценя отвагу и готовность помочь. Они рассказывали со вкусом и одобрением, как этот маленький человек распорядился во время суда над самим Нечаевым вывести подсудимого из зала за дерзкое поведение, а когда публика — согласно, казалось бы, с ним — закричала тоже: «Вон! Вон!» — то он обернулся в зал и сказал, что единственная власть здесь — он, и при повторении криков публику тоже выведут. А?! Ничего шутка? Он не боялся поносить власти предержавшие, если полагал, что они достойны поношения, и делал это громко, не скрываясь, всласть. В кругу его коллег и знакомых было принято скрывать юдофобство. Дейер не боялся проявить его открыто и со вкусом. Но зато служил на совесть, и все знали, что в самом скользком деле на него можно положиться.

Он любил такие процессы за легкость их, за несложность ведения, заведомо исключавшего придирки к тонкостям судопроизводства. Ибо придирки эти означали здесь не борьбу за соблюдение норм, а сочувствие к государственным преступникам, и на это рещались не многие.

Он ценил возможность кричать на подсудимых, издеваться над любой оплошностью, любыми словами их и действиями, то властно понукать, то унизительно обрывать их выступления. А на каком еще процессе можно было, не рискуя протестом защиты и громким скандалом, заставить подсудимых стоя выслушать часовое чтение обвинительного акта? Он однажды позволил себе это и наслаждался не столько видом преступников, сколько видом скамьи адвокатов, молчаливо сносивших эту коллективную пощечину от низенького, большеголового, ничего не боявшегося

То ли мстил он за свой рост и уродство («безобразным гномом» назвал его Кони) всем, кому безопасно можно было за это мстить, то ли просто развлекался таким образом, болезненно ощущая свой короткий жесткий поводок и распускаясь там, где узда позволяла недолгий отдых, но это все ведь частности были, взбрыки, шалости. А заданное исполнял в точности, неукоснительно, напористо и четко, не спрашивая притом, что задано, а чутьем понимая, — ценнейшее свойство, позволявшее щекотливых обсуждений не затевать и совесть начальства не отягощать скользкими поручениями.

За предстоящий процесс он взялся с обычным удовольствием, на секунду чуть смутившись, правда, после чтения обвинительного акта, — вырисовывалось больше десятка виселиц, но тут же подумал с цинизмом привычным и сладостным, что тем более уместна сейчас такая крупная кара террористам: во-первых, предстоит коронация и полезно испугать кого надо, а во-вторых, монарху будет легче явить высочайшую милость, если есть из кого выбирать. А что Муравьев потребует виселицу для большинства, Дейер ничуть не сомневался: круто гнул свою восходящую линию блистательный прокурор. «Забавно, — думал Дейер, по привычке к неистощимому злословию, столь любимому друзьями, готовя шутки для вечернего стола, — что чем больше лет он закатывает скамье подсудимых, тем меньше лет остается ему до министерского кресла. Экий, право, математик». — И шутка эта развеселила его окончательно. Даже голова, кажется, стала трястись меньше, может, и не придется в этом месяце показываться шарлатану и вымогателю Вагнеру. С большим подъемом оглядел он почти пустой зал (из министров — только юстиции и внутренних дел), долгим тяжелым взглядом прошелся по защитникам

и по-хозяйски осмотрел подсудимых. Лица многих понравились ему. Значительные, умные, зрелые лица. Похоже, что здесь и вправду собрался, наконец, этот подлый Исполнительный Комитет. И писатель есть из поганой ихней газетенки; с ним, кстати, придется трудно — нет никаких улик, ну да господа сенаторы не подведут, они и меня-то самого опасаются за невоздержанность и меткость, а тут еще чистая политика. И похоже, что здесь опять главарь — ишь, какие подробные показания дал на предварительном следствии. Для истории стараются, висельники. Ха, не забыть бы до вечера мысль, что в России кратчайший путь в историю лежит через веревочную петлю. Неплохо. Ну, начали, благословясь.

* *
*

Судилось одиннадцать членов «великого ИК», как назвали впоследствии историки Исполнительный Комитет «Народной воли», почти половина его обычно работавшего состава. Это был самый крупный, единственный по такой представительности процесс «Народной воли». В историю он вошел под названием «процесса двадцати». Суд был закрытым, тайным, о нем не публиковались сведения (краткие только сообщения в «Правительственном вестнике» о суде скором, правом и справедливым во имя спокойствия государства), на него не пускали никого. Настолько, что в первый день не пустили даже сгоряча председателя окружной Петербургской судебной палаты. В зале была полиция, жандармы, даже казаки. Охраны было намного больше, чем присутствующих, и уж неизмеримо больше, чем подсудимых, которых кроме прочей охраны сопровождали каждого лично два жандарма с саблями наголо. Только артиллерии не было, как заметил один из зрителей.

Ничего не записывалось вовсе и не стенографировалось ничего, некому это было делать, и никто бы не позволил это делать на сокровенно-тайном судилище.

И тем не менее, все стало известно. Появилось описание хода процесса, восстановились реплики и фразы, напечатались вскоре в приложении к «Народной воле» подробные заметки о суде, отважно сделанные кем-то неизвестным и ловко вынесенные им. А потом стало известно еще больше, и будто не было закрытых дверей. Потому что муза истории Клио замечательна еще и тем, что независимо от обстоятельств и усилий человеческих собирает свою жатву даже там, где посев потравлен, скошен и сожжен. И ничего с этим ее прекрасным свойством никогда еще поделать не удавалось.

* *
*

Михайлов, полуобернувшись, негромко сказал в пространство слегка напевно, чтобы не заикаться, и необычно назвав Морозова:

— Николай, там, кажется, плохи дела с твоим тезкой. Он показал на дознании, что ему платили деньги и запугивали. Они хотят из нас бандитов сделать, а он помогает.

— Чепуха, — сказал Морозов, не меняя позы, — не станет тезка лгать. Что я — в людях не разбираюсь?

Михайлов улыбочиво покосился на Морозова и отвернулся, потому что офицер охраны сделал шаг ближе к их барьеру, да и стоявшие рядом солдаты насторожились, прислушиваясь.

Клеточников чуть сухомерно поздоровался со всеми вместе, поочередно кивнул потом головой знакомым — Морозов, Баранников, Колодкевич, Арон-

ч и к , — будто избегая смотреть на Михайлова. Но, им всем кивнув вежливо, целиком сразу весь обернулся к Дворнику и так просиял при этом, что и Дворник навстречу ему только что не кинулся с объятиями, и другие все, кто видел, расцвели тоже. И ни единого слова не было сказано при этом, но на душе у Морозова здорово потеплело и полегчало.

* *
*

Когда пришла очередь вопроса Клеточникова — уже прочли им обвинительный акт, шло судебное следствие, кончался третий день суда, — в зале, невзирая на общую усталость, все оживились и задвигались. Дейер любил такие суды за возможность устроить спектакль и собирался сейчас исторгнуть из этого слабогрудого, худосочного человека что-нибудь романически интересное: о шантаже, угрозах, подкупе, тайных встречах. В зале сидел редактор «Правительственного вестника», его можно было порадовать, — материалы предварительного следствия позволяли с помощью показаний Клеточникова густо облить этих забывшихся сопляков помоями. Поэтому начал Дейер мягко и очень приветливо, попросив Клеточникова рассказать для начала о его былой жизни. Клеточников волновался. Ярко-алые зловещие пятна чахоточного румянца горели на его бледных провалившихся щеках и остро выпятившихся скулах. Редкие-редкие русые некогда волосы казались случайными на почти лысой голове. Борода только, округло стриженная, выпирала вперед привольно и самостоятельно. Он говорил очень тихо, еле слышно, будто каждое слово стоило ему усилий, но в зале стояла мертвая тишина — имя удивительного чиновника, продавшегося нигилистам за страх и деньги (а служить-то им как же не побоялся) было уже всем известно.

— До тридцати л е т , — тихо и скучно сказал Клеточников, — я жил в провинции среди мелкого чиновного люда. Время мое влачилось попусту и в мерзком однообразии. Все вели пустую и вялую жизнь. Карты, дразги, попойки, очень мелкий разврат. Червяков это немного напоминало.

В зале пронеслось шевеление легкое: а сам-то, самого себя видел? В зеркало смотрел или нет? — так можно было понять это легкое шевеление. И Клеточников так его и понял. Он чуть повысил голос и продолжал:

— Мне же хотелось лучшего, и потому я поехал в Петербург. Только и здесь нравственный уровень общества оказался ничуть не выше. Так только, развлечений чуть больше и разнообразнее жизнь. Одной из причин такого духовного человеческого упадка, как стало мне однажды ясно, одной из главных и общих препон российских является отвратительное место, Третье отделение. Оно сеет страх и подлость. И я решил парализовать его деятельность, когда случайно поступил туда на службу.

Дейер спросил — не осуждающе, а с любопытством:

— Кому же вы служили в нем?

Клеточников полностью обрел голос и спокойствие. Очень твердым был его ответ:

— Я служил обществу.

Дейер, наслаждаясь тем, что нелепый человек этот сам затеял игру, которую намеревался затеять он, спросил со значением:

— Какому же обществу вы служили? Тайному или явному?

С достоинством, которое через мгновение должно было стать смешным, и Дейер уже видел два простейших хода, ведущих к этому, Клеточников сказал:

— Я служил русскому обществу, всей благомыслящей России.

Дейер спросил громко:

— Но вы, не правда ли, получали там жалованье? Как же вы находили нравственным брать деньги из этого отвратительного, как вы его назвали, места?

С недоумением в голосе Клеточников покорно вошел сам в расставленные сети:

— Но если бы я не брал денег, это показалось бы странным, и я не в силах был бы через нелегалов мешать сыску работать.

— А сколько вы получали от нелегалов? И чем они грозили вам? — Дейер возвысил голос. Добржинский, сидевший в зале, усмехнулся: грубоватый диалог. Правда, с соответствующими комментариями он может пригодиться газетам. Но что-то в поведении Клеточникова было неуловимо иным, чем на дознании, и Антон Францевич неладное почуял.

— Я нисколько от них не получал. И они ничем мне не угрожали, — спокойно сказал Клеточников. Да, да, вот оно, этим и пахло, подумал Добржинский. Почему он отпирается, интересно? Тогда он врал или сейчас?

Дейер чуть обескураженно, будто оправдываясь перед кем-то, сказал:

— Но ведь на дознании вы показали, что брали у революционеров деньги и что они запугивали вас?

Зал слушал затаив дыхание. Один Добржинский уже знал теперь заранее ответ и нахмурился еле уловимо: провел его этот мозгляк. Он, оказывается, вон чего испугался: что его вышлют, не дав сказать громко о том благородном деянии, что совершал он, по его мнению, для России. Господи, чем только не живет человек!

— Я был на дознании в условиях исключитель-

ных. В руках людей разъяренных, желавших расправиться со мной келейно и быстро, — сказал Клеточников. И Добржинский покачал головой сокрушенно: так и есть, не выйдет нравственного поношения шантажистов-подпольщиков, врал Клеточников, желая именно на суд попасть. И хватит выяснять у него, чего тянет этот Дейер, ведь умен же. — А я хотел всем сказать громогласно, — говорил возбужденно человек с треугольным чахоточным лицом, — что система российского сыска не только позор, но и язва России, и одна из самых удушающих духовную атмосферу страны...

— Достаточно! — Дейер встал. — Садитесь, Клеточников, — и сразу взял себя в руки. Сорвалось, тем хуже для Добржинского, пусть теперь подсушивает свою репутацию. — Переходим к опросу свидетелей.

Такими глазами смотрели сейчас на Клеточникова его соседи по скамье, что он чувствовал их взгляды и не поднимая головы. Он сказал все, что хотел, а сейчас сидел и думал: интересно, как же я ошибался, однако, — все эти люди моложе меня, они казались мне только орудиями моего высшего предназначения, иначе я никак о них не думал, а сейчас ощущение, что вокруг — родные. Голову нельзя поднимать, черт побери, проклятые нервы: льются слезы, неуместно и неудобно. Да, конечно же родные, как неисповедимо дарует господь награды! Теперь до конца дней не одинок уже более; сколько их осталось, впрочем, дней...

— Спасибо, Николай Васильевич, — негромко сказал в пространство Михайлов. И еще почему-то сказал, также ни к кому не оборачиваясь:

— Умничка ты, Воробей, очень проникательная птица.

* *
*

— В заключение судебного следствия, — торжественно возгласил Дейер назавтра утром, — по просьбе, поступившей как от обвинения и защиты, так и от подсудимых, будет зачитано письмо так называемого Исполнительного Комитета к его императорскому величеству.

Он сел, взял листок и уже протянул его было секретарю суда, как вдруг сообразил, сколь пикантна и забавна ситуация: он, сенатор, читает вслух письмо террористов царю. Покойник Нерон оценил бы мою шутку, думал он, останавливая руку секретаря, уже потянувшегося за листком, этот римлянин понимал толк в месте и моменте декламации. Читать стихи над горящим Римом — хорошо, конечно, но письмо сыну-монарху от убийц отца — тоже недурно, и выпадает такое не каждый день.

Голос Дейера был звучен и внятен, и вообще казалось, что он читает с удовольствием. Морозов слышал письмо впервые.

— «Ваше величество! Вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный Комитет не считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека, — это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всецельной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно, ничего не выжидая, так как не ждет тот исторический процесс, кото-

рый грозит нам в будущем реками крови и самыми тяжелыми потрясениями...»

Год назад, в начале весны с волнением и подъемом писал Тихомиров это письмо. Сел вечером четвертого марта, долго сидел, опустошенно глядя на лист белой бумаги, привычно терзаясь мыслью, что не готов еще, что ничего не выйдет, что надо спешить. Через час пришла какая-то мелкая фраза — записал ее на клочке, за ней вторую и третью. Потом написал обращение, посидел минуту над восклицательным знаком — и уже не вставал до рассвета. Так было написано это письмо, о котором Михайлов в этот день слушания его на суде написал в очередной вечерней записке на волю, переданной через своего защитника, что ничего лучшего не слышал, что ничего совершеннее не производила революционная мысль России. Он слушал сейчас упоенно, взхлеб, вдохновенно, и нездоровое, бледное, потное от нервного истощения лицо его озарялось при каждом удачном слове.

— «Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти...»

Из сидевших сейчас в зале на скамье подсудимых пятеро уже слышали это письмо почти сразу по написании его, при чтении его остаткам Исполнительного Комитета. Второе уже было чтение — после показа письма Михайловскому и полного одобрения его. Они собрались тогда в квартире Исаева и Фигнер у Вознесенского моста, где ровно неделю назад собирались точно так же для решения о завтрашней

попытке и где потом всю ночь горел свет и трое готовили запалы и начинали жестянки гремучим студнем; одного из этих трех уже не было, но оставшиеся были полны решимости продолжать. И еще на чтении не было тогда Перовской — в тот день утром ее схватили на улице. И сидевшие сейчас рядом Суханов, Исаев, Лебедева, Фроленко и Златопольский вспоминали тот день отчетливо, как вчера. Помнили, как хвалили помолодевшего Тигрыча, написавшего это письмо, помнили даже, как вслед уносившему письмо в типографию крикнул Лев повелительно: «Чтобы днем и ночью, днем и ночью!» — и все засмеялись понимающе, разделяя нетерпение Старика. И типография работала днем и ночью, и более десяти тысяч экземпляров разослали они всюду по стране. А один — на веленовой бумаге исполненный, пока не тронешь, не отличишь от пергамента — был вложен в конверт, на котором значился тщательно выписанный полный титул царя. Это письмо бросили в ящик на Казанской площади. Адресат получил его.

— «...Да, ваше величество, революционное движение не такое дело, которое зависит от отдельных личностей. Это процесс народного организма, и виселицы, воздвигаемые для наиболее энергичных выразителей этого процесса, так же бессильны спасти отживающий порядок, как крестная смерть спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующего христианства...»

В это самое время, в этот февральский день автор письма Лев Тихомиров сидел дома у себя на московской квартире, снятой по нелегальному, но довольно хорошему паспорту (было к нему приложено много других документов: метрики о рождении, послужной список, еще какие-то справки — надежный и дорогой набор), и пытался решить для себя вопрос, мучи-

тельный и ни с кем совету не подлежавший. Да, впрочем, и обратиться было не к кому. Когда Дворника не стало, вокруг оказалась не пустота даже, а хуже, потому что люди были — они требовали привычных им действий со стороны Старика, и он все исполнял, но это был завод прежних дней, и было мучительно трудно им пользоваться, хотелось спрятаться и подумать. А его теребили, к нему обращались, у него спрашивали совета, искали участия. Боясь признать себя самому себе, что это ощущение вправду было, он помнил, тем не менее, прекрасно помнил, что обрадовался, узнав об аресте Желябова. Все кончено, и слава богу. Ныне отпускаеши. Все держалось на Желябове последние дни, он властно стянул на себя все действия и связи, и вот случай рвал их. Очень жаль было Андрея, Тихомирову был симпатичен этот человек, единственный кроме Михайлова как-то понимавший его, понимавший, что Тихомиров стоит выше любого дела, что он мыслитель, что он может объяснить и высветить суть, но не хочет и не намерен участвовать. Жаль Андрея, но зато все заканчивалось. Он уже давно не верил в успех. Он даже как-то случайно — словоохотлив был после какой-то крупной удачи в легальном журнале, очень хвалили его статью — проговорился вздорной бабе Ольге Любатович, что давно не верит в успех революционного дела и остается в Комитете только потому, что здесь его старые друзья.

Сейчас он вспомнил с мгновенной благодарностью, что она никому, кроме Воробья, не проболталась, — должно быть, просто не поверила ему тоже, потом, естественно, опять помянул закабаленного Воробья, сразу вспомнил Дворника — их должны судить в эти дни, пришло письмо из Петербурга — и подумал, что даже Дворнику, пожалуй, не мог бы

рассказать про обуревающие его тяжелые сомнения. Дело в том, что он был очень суеверен — с детства, вся родня была духовного происхождения и звания, кроме отца — врача, и с детства возил с собой всюду образок святого Митрофана. Это был его личный покровитель, его и назвать-то даже хотели Митрофаном, и свечи в церкви он всегда ставил обоим — Митрофану и Льву. Он однажды потерял образок — и попал на четыре года в тюрьму; мать привезла ему туда этот образок, найденный ею у брата, — и его выпустили без наказания тогда. С тех пор образок всюду, всюду был с ним. Надев траурную повязку по убиенному царю, он с ним ходил присягать новому, чтобы никто ничего не заподозрил, он с ним, только приехав в Москву, сразу отправился в Троице-Сергиеву лавру, чтобы отмолить у бога прощение за участие в убийстве миропомазанника-царя; его он берег пуще зеницы ока. А вчера — нежеланное начиналось сызнова — приходил Богданович, водил показывать новую конспиративную квартиру, снятую под типографию, и там Тихомиров обнаружил, что Митрофан пропал. Он и раньше-то слушал Богдановича вяло и нехотя, а тут заторопился сразу, распрощался и помчался домой, погоня нанятого лихача. Дома был Митрофан, дома, просто выпал и лежал, уже подобраный женой, на столе, но это был знак, и его следовало осмыслить.

Впрочем, осмысливать-то было особенно нечего, это предостережение было, и ясное, как божий свет. Наступала пора кончать. В марте прошлого года он последний раз чувствовал еще какой-то подъем — от успеха фантастического, от неожиданности, что Перовская сумела все же довести начатое до конца, даже перестроив метальщиков бомб, когда царь поехал по другому маршруту, — никогда в бабе не подо-

зревал тако го, — от всеобщего возбужденного ликования, от новых ожиданий, которыми дышал сам воздух ошеломленного города. Тогда многие, многие хотели примкнуть ко всеильному Комитету, и от Старика ждали текстов, и он писал обращение к обществу, а потом и письмо к царю.

— «...Революционеры создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его неудовольствие посредством репрессалий; неудовольствие, напротив, растет от этого. Поэтому на смену истребляемых постоянно выдвигаются из народа все в большем количестве новые личности, еще более озлобленные, еще более энергичные... Общее количество недовольных в стране между тем увеличивается; доверие к правительству в народе должно все более падать... Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершат этот процесс разрушения старого порядка...»

Тут Михайловский сделал много замечаний. Посоветовал усилить, стилем и тоном подчеркнуть мысль, что все эти молодые, энергичные силы, уходящие на подготовку взрыва, могли бы работать созидательно, отдать свои незаурядные обычно способности для расцвета страны, — вот как вы, например, Тигрыч, — ласково сказал Михайловский, — и Тихомиров согласился с благодарностью, и усилил эту мысль о трата сил. Думал он в это время о Михайлове. Он вообще о нем часто думал. Его не хватало очень, этого человека, отдавшего себя без остатка — чему?

— «Отчего же происходит эта печальная необходимость кровавой борьбы?»

Оттого, ваше величество, что теперь у нас настоящего правительства, в истинном его смысле, не су-

ществует. Правительство, по своему принципу, должно только выражать народные стремления, только осуществлять народную волю. Между тем у нас, извините за выражение, правительство выродилось в чистую камарилью и заслуживает названия узурпаторской шайки гораздо более, чем Исполнительный Комитет...»

В этом месте Дейер сделал передышку, читать ему было весело и приятно — такую крамолу вслух перед такой аудиторией! — и налил себе воды в стакан. В зале никто не шелохнулся, все сидели как зачарованные. То-то, самодовольно подумал Дейер, где такое услышишь из уст сенатора! Тут он покосился на край стола и только усилием воли удержал смех. Там была невообразимая картина. Суд сенаторов с участием сословных представителей требовал вызова людей случайных, но если московский губернский предводитель дворянства был вполне на месте среди сенаторов, то уже ярославский городской голова чувствовал себя здесь несколько не в своей тарелке, а несчастный волостной старшина из какого-то захолустного уезда отбывал этот процесс, как каторгу. Сухой, с длинной тонкой шеей, повязанной цветным платком, с огромным гоголевским носом, только еще более торчащим, волостной старшина Шалберов изнемогал от скуки и непонятной ему занудливости происходившего. Царь, бог и воинский начальник в своей волости, здесь он был жалок и неуместен и — человек умный и почитаемый в своей среде — очень чувствовал это. Самый ход процесса он улавливал, но понять, почему явных злодеев не вешают сразу, а дают говорить невообразимо что, не мог, хоть убейте. Когда же сам первоприсутствующий, перед пренебрежительной и злобной насмешливостью которого он вообще терялся, когда этот маленький человек, об-

ладающий такой властью, собственноручно взялся читать какую-то дикую бумагу, нагло и прямо обращенную к царю, Шалберов вспотел и ощутил дурнотное состояние. Этот маленький сенатор читал бумагу не просто внятно и громко, но со вкусом, подчеркивая и оттеняя, так читал, что Шалберову от тона его вдруг начинало казаться, что читается правильное, верное, а содержание было злодейское, и от несовпадения этого Шалберова замутило, и тяжело закружилась голова. Липкий пот с лица он отер украдкой прямо концом шейного платка, но попросить у ближайшего сенатора воды, стоявшей далеко, не решался. Страшно он себя чувствовал, и на лице его все это выражалось, потому что пятьдесят лет вольготной, а потом и хозяйской жизни в волости не приучили его скрывать свои чувства.

А Дейер продолжал читать:

— «Вот почему русское правительство не имеет никакого нравственного влияния, никакой опоры в народе; вот почему Россия порождает столько революционеров; вот почему даже такой факт, как царевубийство, вызывает в огромной части населения радость и сочувствие! Да, ваше величество, не обманывайте себя отзовами льстецов и прислужников. Царевубийство в России очень популярно...»

Лицо не слушавшего, а внимавшего, жадно и благоговейно внимавшего Михайлова исказилось от наслаждения, и Морозов, который искоса наблюдал за ним, одновременно слушая, позавидовал вдруг Тихомирову. Он многое бы отдал, чтоб доставить Дворнику такое вот удовольствие.

И внезапно сообразил — ярко, с непреложностью, будто клочок истины открылся ему в озарении, — что происходило сейчас с Дворником. Это же он слушал себя! Свое воплощение, свою жизнь, отлитую сейчас

в эти слова, конечно же ему принадлежащие, только сказанные другим, потому что у одних — талант жить, а у других — передавать жизнь словами, и притом чаще всего в этом случае — чужую жизнь. Письмо это было — буквами изложенный звук души и разума Дворника, это он вдохнул в Тихомирова нечто, ставшее словами. Что ж, молодец Тигрыч, хорошо, что тебя нет здесь с нами, ты еще найдешь себе другого Михайлова. Или не найдешь? Сам по себе ведь ты не сможешь.

А письмо действительно прекрасное, это настоящий документ Комитета, полный достоинства, сдержанности и такта. А то, что он требует Учредительного собрания, — это вот чепуха, собрание в состоянии утвердить и выразить только сегодняшний день, нынешнее настроение умов и душ, а настроение — сонное и монархическое. Требовать надо было того, что ты называлась в письме, Тигрыч, только дополнительным условием, временной мерой вплоть до созыва собрания: свободу слова, свободу печати, свободу сходов. Вот единственное (возможное притом вполне), что надо было требовать на самом деле. А что, если всенародное собрание будет? И утвердит оно монархию, и запретит как раз свободу слова и печати? Кому они сегодня нужны сразу после стольких веков рабства? Только нам они и нужны. Вот их и надо было требовать. И тогда после нескольких лет подготовки Учредительное всенародное собрание имело бы смысл. Ну да что теперь говорить, все равно уже год прошел после твоего письма, Тигрыч, и вот нас судят сегодня, а через неделю нас не станет совсем, и ты молодец, Тигрыч, и мне жаль, что я так ругался с тобой. Прости.

— «Итак, ваше величество, решайте», — прочитал Дейер начало последнего абзаца так, словно это он

сейчас ставил ультиматум царю, и быстро дочитал до конца. Вечером его будут спрашивать с ухмылкой — слухи в Петербурге разносятся быстро, — почему это он читал злодейское письмо с таким пафосом, а он будет улыбаться своей скалящейся усмешкой и говорить, что как же иначе: суть преступного смысла становится ясна лишь от внятного чтения. И уловив тон его и усмешку, будут смеяться спрашивающие и пересказывать его слова друг другу, пытаясь воспроизвести и мимику.

Очень довольный собой, он возгласил конец судебного следствия и перерыв.

Михайлов пошел к выходу, но у самой дверцы барьера чуть приостановился, пропуская вперед остальных, и с сияющим лицом обернулся к Морозову: ну как, дескать, письмо, а?

— Написано прекрасно, а просили бессмысленно его, — холодно сказал Морозов.

— Ты все тот же, — раздраженно и зло сказал Михайлов. Морозов пожал плечами.

Все были усталые и шли молча. Спустившись в нижний коридор Дома предварительного заключения, вся процессия на минуту остановилась — не было на виду дежурного надзирателя с ключами. Арестанты стояли в трех шагах друг от друга. Михайлов чуть приблизился, будто шагнул к Морозову, смотрел на него секунду прямо и неподвижно.

— Соскучился я по тебе, Воробей, — сказал он.

— Ах, Саша, — успел сказать Морозов и отвернулся, потому что по очкам потекли вдруг слезы.

Зазвенели ключи надзирателя. Наступал развод по камерам.

* *
*

Всех привели, опять все расселись молча и выжидающе. Дейер почтительно-торжественно сказал Муравьеву: «Господин прокурор, ваше слово!» — и сел, всем видом своим выказывая заведомо восхищенную заинтересованность. «Сейчас запустит свой бенгальский огонь», — думал он в это время устало, потому что отдохнуть не успел, а холодное сверканье прокурорского красноречия обещало быть долгим, несомненно. «Интересно, а каков он с женой сразу после обвинительного громыхания? — вдруг подумал Дейер смешливо, но ни одна черточка сухого лица его не дрогнула при этом, — нежный, интересно, или не успеваешь остыть? Тьфу, черт, что за мысли, конечно, это молодое восходящее светило и дома — человек государственный». Теперь вдруг ему явственно привиделся Муравьев не только без торжественного прокурорского одеяния, но и вообще безо всего — белый и мерзкий; тут Дейер дернулся, переменил позу, взял себя в руки и более не отвлеклся.

— Господа сенаторы, господа сословные представители! — успел за это время сказать Муравьев звучным и прекрасно поставленным голосом. — Беру на себя смелость утверждать, что этим процессом окончательно нарушится тайна деятельности людей, тайных людей, принявших на себя столь же громкое, сколь хвастливо-лживое наименование партии Народной воли...

Много, очень много говорил прокурор Муравьев. В тот вечер — почти до одиннадцати и еще назавтра утром, тринадцатого февраля восемьдесят второго года. Всего около четырех часов он говорил об этих двадцати.

Он прекрасно понимал, что все равно господа сенаторы безукоризненно исполнят свой долг служения государю, но это нисколько не снимало с него обязанности дать убедительные аргументы для их заведомой готовности безжалостно покарать крамолу. И вот сейчас он вдохновенно и убедительно сообщал сенаторам, во имя чего и почему они будут совершенно нравы в неукоснительном проявлении своих верноподданических чувств. Он делал это блестяще, потому что любил и знал свое дело. Он чувствовал, что оставшиеся главари преступной партии этой — здесь, на скамье, все вместе, и перечислял их роли. Присутствие писателя Морозова делало особенно законченным это собрание злодеев, ибо здесь были, таким образом, устроители всех их дел, включая нелегальную печать. А вина таких, как Морозов, — тройная вина, сказал прокурор Муравьев, потому что это люди, могущие в силу дарованных им свыше, только обращенных во зло способностей, воплощать в удобные и легко западающие слова те преступные чувства, что булвуют молодых ниспровергателей, и оттого такие люди, как Морозов, являются как бы черными светочами, на которые слетаются обреченные незрелые души. Само чтение нелегальной возмутительной литературы — вопиющее государственное преступление, что же говорить тогда о вине сочинителей ее?

Картина всех разбираемых дел, сказал Муравьев, исчерпывающе ясна благодаря двум важнейшим видам судебного доказательства: сознанию в них самих подсудимых и оговору. Оговору, сделанному тремя лицами, сказавшими более всех, а то, что двое из них — Гольденберг и Рысаков — уже отсутствуют, не меняет дела, их оговаривающие показания являются важным подспорьем обвинения.

Он подробно рассматривал все по одному делу, рисуя картину, главную, на его взгляд, в этом процессе: на скамье подсудимых наконец — весь Исполнительный Комитет! Тот самый, неуловимый, недосыгаемый — вот он, и напрасно каждый из подсудимых отнекивается, именуя себя только исполнителем, только агентом третьей степени. Подсудимым важно доказать, сказал Муравьев, что главных деятелей здесь нет. И — златоуст, зная цену такому ходу в игре — великодушно добавил: «Они, надо им отдать справедливость, больше заботятся о будущности своего сообщества, чем о самих себе». И продолжал убедительно и впечатляюще: она здесь, верхушка Исполнительного Комитета, она схвачена наконец и обезврежена, Гольденбергу и Рысакову можно верить; вы участники исторической миссии, господа сенаторы, последней очистки государства от заразного ядра, источника преступлений и растреления молодых.

Речь его была выслушана со вниманием, уже привычным ему, но когда он кончил, когда увели подсудимых и все заторопились по домам ужинать, когда министр юстиции Набоков, горячо поздравив его с очередной блестящей речью, о которой он непременно доложит государю, ушел тоже, когда уже он сидел в коляске по дороге домой и жена выразила сдержанное, но тоже восхищение, и победа была двойной — лед растаял, тогда только он сообразил, в чем дал промашку. Догадка эта не могла, пожалуй, прийти ему в голову раньше, потому что он обращался к сенаторам, не ставя защитников ни в грош — на таких процессах они впустую сотрясают воздух, но вот подумать о них, пожалуй, стоило, чтобы не подкопались они теперь под самые основы здания обвинения. Там ощутил правовед Муравьев какую-то сомнитель-

ную шаткость. Уже произнося обвинительную речь, он почувствовал запоздалое смутное беспокойство, но в чем именно дело, до конца еще и сейчас не осознал. Или померещилось, подумал он. Слишком я к себе требователен. Вон как рассыпался Набоков, знающий что к чему.

Нет, не померещилось Муравьеву. И обреченные на пустое говорение, понимающие это защитники выполнили, тем не менее, свой профессиональный долг с доблестью и добросовестно: вытащили из-под здания обвинения камни, на которых воздвиг его Муравьев. Вежливо, но безоговорочно. Нет, не помогло это несколько подсудимым, да и не могло помочь, и они понимали это прекрасно, но они тоже любили и знали свое дело. А притом еще многие всей душой полюбили подзащитных. О чем много говорили они потом — не скрываясь и с горестным сожалением. О невозвратно загубленных жизнях, о людях никогда не виданной ими чистоты и жертвенности. Которых потому и защищали они — с полной отдачей, с напряжением всех умственных сил, с бескорыстием полной душевной преданности.

Напряженно и внимательно слушал Морозов речи защитников. Голоса адвокатов были сейчас голосами той российской общественности, до которой они так, в сущности, и не добрались. Не докричались, не дозвались, не убедили. Что же она теперь скажет о них, тайно сочувствующая, должно быть, — не из спортивного ведь азарта следили они за травлей царя, помогали деньгами, выражали солидарность. Что же нынче скажут ее самые красноречивые представители? Ему казалось во время их речей, что всё, всё говоримое относится лично и прямо к нему.

Присяжный поверенный Александров защищал Емельянова — третьего метальщика на Екатеринбург-

ском канале, так и унесшего под мышкой непонадобившуюся бомбу. Сам Александров был знаменитостью со дня защиты им Веры Засулич, со дня произнесения им блистательной речи, в результате которой присяжные оправдали стрелявшую. Рукоплескал тогда присяжным и Александрову весь зал. Яростно хлопал в ладоши — адвокат увидел это — хлопал, к конфузу собственной свиты, даже государственный канцлер Горчаков. С той поры речи Александрова привлекали всеобщее внимание, а их сарказм, ирония и желчная безупречность сухой логики быстро нашли ценителей, гурманов судебного красноречия.

Сегодня, однако, он говорил необычно сдержанно. Начал только с того, что легонько подразнил Дейера, сразу коснувшись запретной темы: неслучайности появления террористов в климате русской жизни. Он не мог не обозначить свое понимание этого, но фразу построил безупречно. Что же именно в преступлениях террористов, сказал он, следует возложить на их ответственность, а что по справедливости нужно переложить на совокупность обстоятельств, находящихся вне их воли, на те условия, в которых последние годы находится русское общество, — и уже Дейер сделал вдох для замечания, а Александров спокойно подытожил: все эти вопросы нас не касаются. Проявив такую находчивость, адвокат говорил, что защита именно поэтому будет сухая, скучная, казенная, и уже обращался всей тощей своей фигурой в сторону Муравьева, и тот подумал: вот, начинается.

Александров опроверг в обвинении не улики, не детали дела, а самую возможность опираться на два главные, как обозначил их Муравьев, инструмента обвинения — оговор и сознание.

Оговор — донос ли это или показание — документ, кроме человеческой мерзости его, ничтожный и юри-

дически, брезгливо сказал Александров. Как прекрасно знали это еще наши далекие предшественники! И он громко и внятно зачитал старый закон — еще середины семнадцатого века, времен тишайшего царя Алексея Михайловича: «Оговор почитается доказательством несовершенноым. Сила оговора уменьшается, если оговаривающий умрет, ибо тогда ему нельзя дать очной ставки с оговоренным им лицом».

Обратите внимание, сказал Александров с той же брезгливой внятностью, что эта мысль даже не вошла в наши новые судебные уставы. В семнадцатом веке это еще надо было объяснять деятелям правосудия, а ныне уже имеются в виду их собственные мудрость и опыт. А Рысаков — что за цена его словам — он боролся за свою жизнь, как в последнюю минуту боролся с палачом, накидывавшим петлю. Он думал, что лишние фамилии выстроят частокोल между ним и заслуженной им карой. Как же можно всерьез опираться на слова людей, не умеющих даже отвечать за то, что они сами содеяли!

Брезгливая мина не сходила с выразительного лица Александрова, и Дейер, невозмутимо и недвижно внимая ему, наслаждался, упивался тем, как секут молодого выскочку. Какая все-таки сладость, когда выскочку так вот уличают в неполноценности знания, думал Дейер, не забывая ни на миг слушать адвоката, чтобы немедля пресечь, если тот выйдет за рамки. Но тот, голубчик, не давал ни малейшего формального повода.

Что же касается опоры обвинения на достигнутое сознание подсудимых в их вине, то опора эта не должна иметь никакой цены перед судом, сказал Александров. У нас в судах давно исчезли пытки и моральное давление, сказал он — потому, в основном, исчезли, что достигавшееся ими сознание и само-

оговор не имели смысла перед судом, суд опирался только на взвешенные, объективные данные обвинения и защиты. А если суд проявит глубокий интерес к тому, чтобы сознавались, даст юридическую цену сознанию и самооговору, то пытки могут появиться снова — разве этого может желать правосудие? А если не может оно этого желать, как может оно опираться на то, что подсудимые сознались? Пусть обвинение предъявит другие, объективные доказательства, и тогда, только тогда оно будет иметь достойный юридический вес.

— Что же касается смехотворного обвинения в том, что Емельянов читал запрещенную литературу, — надменно сказал Александров и пристально оглядел собравшихся, — то кто ее из присутствующих не читал? Я и сам получал ее по почте и читал с большим интересом. Да не только читал сам, но и давал читать другим. Не давал я ее молодым людям, юношам, но людям серьезным, таким, как вы, господа судьи, каждому я дал бы прочитать эти листки, нисколько не боясь за дурное их на вас влияние. Потому что если одно это чтение могло бы на нас с вами, господа судьи, повлиять в дурную сторону, то грош цена разуму и мировоззрению нашему, грош цена нашей преданности престолу.

Муравьев слушал Александрова молча, сидя очень прямо и неподвижно, мысленно воздавая ему должное и почти не злясь — досадуя только, что не усмотрел сказанного сам, вполне мог бы усмотреть, не подумал о том, что этим въедливым стряпчим будет единственная пожива — его юридические промашки.

Морозов какое-то время не слушал защитительные речи. Он оказался вдруг очень далеко — во времени далеко, а не в пространстве, потому что сидел

в этом же зале, только ровно четыре года назад. Точно так же сочился синеватый зимний свет, пылали газовые светильники, а подсудимых было сто девяносто три тогда. Молодые, истощенные, зеленые, счастливые от встречи, от возраста, от надежд. Где они сейчас все, сколько их осталось? Страшная выходила картина. Не смертями даже и каторгой — бессмысленностью своей страшная: вот четыре года прошло, снова их судят, многие были здесь и тогда, теперь они умрут все. Что они успели сделать?

Потом он опять включился — Дейер громко и властно оборвал речь адвоката Кедрина. Тот, защищая Михайлова, предупредил судей, чтобы не увлекались казнями, не пошли привычной дорогой, потому что еще казнь Соловьева показала: кровь смывается кровью. Дейер прервал его и лишил слова. Он знал свои обязанности, сенатор Дейер.

И снова потекли слова. Адвокат моряка Суханова горячо говорил о подзащитном: «Он был человек, его юношеские идеалы разбились: при первом выступлении на поприще действительной жизни он вокруг себя видит коварство, ложь, обман, продажность и самый грубый произвол... Суд его осудит, но история наверное произнесет еще более суровый приговор тем обстоятельствам и лицам, которые из таких благородных натур, как Суханов, делают преступников». Взметнулся было Дейер с привычным окриком, но защитник Суханова уже сидел, вытирая платком вспотевший лоб.

Выступал Спасович, которого никто иначе не звал, как королем адвокатуры, — председатель коллегии адвокатов, профессор права, находчивый и талантливый человек. Он тоже сказал, что вынужден говорить пустые слова, потому что участь подсудимых решена заранее; суд защищен двойной броней как от

чисто юридических доводов защиты, так и от воззвания к чувству человечности; ясно, что суд будет держаться буквы закона, гласящего, что кто имеет сведения о противоправительственном заговоре и не доносит, уже подлежит наказанию наравне с исполнителями преступления. А преступление моего клиента Тригоны заключается только в том, что он не выдал друга своей молодости Желябова. Потому что о другом его деянии, участии в подкопе, говорить просто смешно: посмотрите на ширину его плеч. Представьте себе, сказал широкоплечий массивный Спасович, что я влезаю в подкоп — невозможно, смешно, немыслимо, а Тригоны — взгляните на него.

И хотя сидевшие на скамье подсудимых прекрасно знали, что Тригоны отличнейшим образом работал под землей на Малой Садовой и не жаловался на тесноту, но они вместе с залом посмотрели в этот миг на Тригоны, а потом на Спасовича, как он просил, и засмеялись. А Морозов подумал, что при одинаковости фигур Спасович действительно в подкопе не поместился бы, потому что не хотел, не мог, оттого и довод этот придумал, всем понятный и доступный довод, а Тригоны хотел, оттого и помещался свободно.

Спасович издавна, с процесса нечаевцев, охотно защищал на политических процессах, но его защиту не любили, зная основной его метод: принизить, уменьшить саму значимость содеянного, низвести к мальчишескому бунтарству любое дело, любую организацию. Он не скрывал своих убеждений и, с любовью, с неизменным расположением относясь к подзащитным, к революции свое крайне отрицательное отношение утаивать не собирался, громко и с гордостью именуя себя либералом. Он писал в одном из дружеских писем, что он — «за всякий прогресс,

но легальный, за всякую эволюцию, но не революцию, за установление порядка по соглашению всех партий на арене парламента — без кровопролития и убийства».

Снова Морозов отключался и выпадал — и оказывался в этом же зале среди своих друзей, и тот же Спасович произносил речь куда более громкую и настойчивую, утверждая, что настоящим преступлением было — не идти в народ с пропагандой, а еще одним преступлением было — вот так судить за это, годы продержав в тюрьме, чтобы лживо приписать потом участие в несуществующем сообществе.

Между тем во время очередной защитительной речи назревал скандал, которого подсудимые не замечали. Адвокат Королев, совсем еще молодой кандидат прав, только что, очевидно, с университетской скамьи, все время процесса так тихо и почтительно держался со своими прославленными коллегами, что не привлек ничьего внимания и слушали его сначала вполуха. Он защищал Татьяну Лебедеву, картина преступления которой была ясна и отчетлива. Это она жила под Одессой как жена путевого обходчика, подготавливая взрыв царского поезда.

Адвокат Королев начал вполне банально и пристойно, ничем не вызывая интереса к своей речи. Он начал с того, что, следуя примеру господина представителя обвинительной власти, также постарается никоим образом не вступать на политическую почву и держаться в пределах материалов, данных судебным следствием.

Сразу, однако, стало ясно, что фраза эта носила характер формального и даже чуть издевательского над прокурором запева, потому что он вдруг сказал (с этого момента его и начали пристально слушать) слова, опровергающие главное в речи прокурора.

Главным был в ней — беспросветно черный облик нравственности и характера подсудимых, делавший их, по словам Муравьева, безусловно злокачественным наростом на теле родной страны. С вежливой сожалеющей полуулыбкой, чуть обернувшись к Муравьеву, Королев говорил:

— В значительном большинстве случаев они являются людьми, которых мы вряд ли можем назвать безнравственными, вряд ли вообще можем признать их непригодными, бесполезными членами общества. Отнимите у них сторону, толкавшую их на преступление, и они окажутся людьми в высшей степени симпатичными, нравственными, умными людьми, про которых вряд ли кто-нибудь из нас решится сказать что-либо дурное. Они являются противниками только данного государственного строя, а при ином строе они окажутся, может быть, наиболее полезными, наиболее сильными членами общества.

Дейер гневно вскинулся остановить, но Королев так мягко улыбнулся ему, что он нахмурился и решил чуть обождать.

— А если т а к , — вкрадчиво и усердно продолжал Королев, напоминая студента, осмелившегося дать совет наставнику, — то единственным мотивом преследования государственных преступников является необходимость сохранения существующего государственного строя, необходимость удаления людей, посягающих на него, лишение их возможности продолжать свою деятельность — не так ли? Средства, употребляемые для этого, должны быть исключительно практичными, то есть вести действительно к уменьшению числа противников.

«Сейчас будет давать советы, с о пляк», — с облегчением подумал Муравьев и выразил снисходительное внимание.

— Я не возьму на себя смелость указывать, какие это должны быть средства, — почтительно сказал Королев, — но только смею думать, что меры, принимаемые доныне, не привели к желаемым результатам. Осмелюсь даже полагать обратное.

Он снова полуобернулся к Муравьеву.

— Господин прокурор в своей речи сказал, между прочим, что этим процессом все тайные нити социалистической партии уже обнаружены и что в весьма скором времени мы совершенно отделаемся от этого недуга. Я со своей стороны считаю своим долгом напомнить вам, что слова эти мы слышим с той же кафедры уже далеко не в первый раз...

Муравьев покраснел от этого уличения в хвостовстве — он действительно теперь уже дважды торжественно возвестил конец движения, хотя отлично знал, что опять это далеко от истины, — но быстро собрал лицо в презрительную улыбку. Королев озабоченно продолжал:

— Они уже не раз показали, что жестокие наказания не устрашают их, и картина этих наказаний только сильнее привлекает новых adeptов, нисколько не пугая прежних. Следовательно, принимавшиеся меры непрактичны, и следует, как мне кажется, поискать каких-нибудь еще.

— Не вдавайтесь в обстоятельства, лежащие вне вашей компетенции, — возгласил Дейер.

— Ни в коем случае, — почтительно сказал Королев. — Перехожу к совершенно конкретным несообразностям обвинения.

Его слушали теперь внимательно до предела, ожидая — одни с негодованием, другие со злорадством, — что он опять хлестнет аккуратно очень уж преуспевающего Муравьева. И он опять безукоризненно приветливо сказал:

— Господин прокурор заявил, что при подкопе под Кишиневское казначейство была выкопана галерея около двух сажен длиной. Нет! Ее не было, господа сенаторы, это личная приписка прокурора — я ничуть не сомневаюсь, что случайная. Только еще был колодец, и все. Галереи не было никогда. Это известно из всех показаний.

Муравьев уткнулся в свои записи и недоуменно пожал плечами. Граф Бобринский, предводитель московского дворянства, ухмыльнулся громко, а Дейер подался вперед, чтобы сейчас же, при первой приличной возможности лишить наглого мальчишку слова. А Королев теперь обращался к нему.

— Господин первоприсутствующий вчера или третьего дня вполне логично спросил подсудимого Суханова, почему тот не посвятил свои силы законной разработке тяготивших его вопросов, — например, в литературе.

Конечно, следует всегда работать на почве законной. Но затем, господа, возникает такой вопрос: а есть ли у нас в данное время такой вполне законный путь? Не стеснены ли у нас эти пути до минимума? Подвигаются ли заметным образом к разрешению те тяжелые, жгучие вопросы, которые поставила жизнь? Имеем ли мы возможность хотя бы обсуждать их, без чего невозможно и само решение?

Тут Королев остановился, полагая, что дал достаточный ответ самим тоном спрашивания, и сказал!

— Перейду, однако, к последнему очень важному обстоятельству.

И неторопливо развил мысль, от которой все адвокаты и все подсудимые, даже часть публики одобрительно и нескрываемо засмеялись. Он рассказал, что Лебедеву, как удалось ему досконально выяснить, толкнул на путь преступления некий Рейнштейн —

агент сыскной полиции. Он давал ей читать запрещенные издания и другую нелегальную литературу, он устроил ей подложный паспорт, он прельстил ее лживо гуманными разговорами, он развратил ее своими необузданными речами, направленными на необходимость активной борьбы с существующим порядком вещей. Какое же, в таком случае, учреждение должно нести ответственность за соращение искренне желавшей служить обществу молодой души на путь преступный и пагубный?

И снова не дал ответа на свой вопрос, полагая главным — вопрошение. Все в зале задвигались и оживились. Это был прекрасный анекдот, ибо казусы, относящиеся к знаменитому учреждению, издавна были излюбленной темой разговоров.

Морозов слушал защитника с веселым удивлением.

«Все, что он говорит, — думал он, — мы спокойно и с удовольствием поместили бы в виде статьи. Как одинаковы мы все в мыслях, только он ведь к нам не пришел и не придет. Либерал. Или мы зря так осуждаем их?»

— Будет скандал. Дейер делает заметки. Он подаст донос, и нас заставят исключить мальчишку из коллегии. Они съедят его, — тихо сказал защитник Кедрин Спасовичу.

— Подавятся, — сказал Спасович, не поворачивая головы. — В горле застрянет. Хороший мальчик. Я все сделаю.

Королев заканчивал речь, когда Спасович, жестом подозвав служителя, передал ему записку. Тот, ступая на цыпочках, весь изогнувшись от сдержанного почтения, положил ее перед Дейером. Тот сразу же развернул листок.

«Господин первоприсутствующий, — было написа-

нотам. — Уполномочен от имени всех коллег заявить, что в случае, если с Вашей стороны или стороны обвинения с Вашим участием поступит донесение о неблаговидности выступления г. Королева, защита коллективно опротестует Ваше ведение суда на основе допущенных Вами нарушений процессуального законодательства, список которых мной составлен. С глубочайшим почтением — Спасович».

Брезгливо порвав записку, Дейер демонстративно, чтобы видел Спасович, но не глядя в его сторону, порвал листок, в котором действительно готовил рапорт на Королева. Он-то знал, сколько нарушений допустил, и вовсе не хотел из-за какого-то мальчишки лишаться впредь доверия министра, щепетильного в тонкостях соблюдения закона. Бессильная злоба вспыхнула в нем и осела памятной засечкой.

«Вот и еще одного врага нажил, — думал Спасович меланхолично. — Чему я, дурак, радуюсь?» Поймал восторженный взгляд Кедрина и подмигнул ему: знай наших, еще повоюем, подъячие, крапивное семя.

Лебедева хмуро и неприязненно слушала своего защитника. У них были разные интересы, и он, соблюдая свои, был ей почти враждебен, потому что мог помешать главному, всепоглощающему стремлению: вместе с Фроленко оказаться на эшафоте. Речь его она почти не воспринимала и сидела, не меняя позы, боясь только глянуть случайно в сторону мужа, потому что точно знала — зарыдает тогда, закричит, а делать этого здесь ни в коем случае нельзя, потом самой же будет еще хуже. Она и возражала-то не глядя на Фроленко, и делала вид, что не слышит, когда он шепотом окликал ее, чтобы спросить, что происходит. И то мучительно, напряженно сдерживала себя, то расслаблялась в отключенном отупении, похожем на полузабытье.

От речи своего защитника Морозов ничего не ждал особенного, потому что сознавал полную обреченность, а виселица или каторга — едино при его несильном здоровье. Но интересно было, что скажет этот аккуратный и невозмутимый человек, державшийся с ним в камере приветливо, не более того. Был он, кажется, прислан отцом. Или порекомендован кем-то? Словом, неясно, как возник, да и безразлично это было. Но всем в зале интересно было, что скажет адвокат Рихтер, потому что Морозов был единственным здесь редактором и автором литературы, за одно чтение которой получали иные каторгу. Кроме того, об участии Морозова в московском подкове прямо на суде произошел непонятный и недоступный никому разговор взглядами Исаева, Михайлова и Баранникова — разговор, ставший только через некоторое время понятным Морозову, а более уже никому. Дело в том, что его квартирная хозяйка — кто-то объяснил ей, наверное, что следует говорить категорически — вдруг заявила, что весь ноябрь («я клянусь вам, господин сенатор, весь ноябрь!») до единого дня ее жилец не покидал Петербурга. Тут-то и переглянулись эти трое, вслед за чем Михайлов сказал, что кроме прочего множества ошибок в показаниях Гольденберга неверно, что в Москве был Морозов. То же самое сказал Исаев и подтвердил Баранников. Уже в конце следствия, их троих наслушавшись, Коля Колодкевич на всякий случай сказал, что он вообще Морозова видит впервые в жизни. У защитника была превосходная возможность опереться на эти показания и напомнить судьям, что всякое сомнение трактуется в пользу подсудимого. Что еще мог сказать он? И наступила очередь присяжного поверенного Рихтера.

— Господа сенаторы, — сказал оп, — господа словесные представители! С тяжелым сердцем я начинаю свою защитительную речь, ибо тягостное ощущение предопределенности вашего приговора незримо витает в атмосфере этого необычного судебного разбирательства. Однако я не вправе доверять своему предчувствию, я не хочу ему доверять, потому что чего стоило бы правосудие, — вслушаемся в само это слово, господа: правосудие, — если бы решения тех, кто призван вершить его, определялись вне стен суда, зависели от обстоятельств, на суде не фигурирующих. И потому я уверен, что не только буква, но самое главное — дух нашего законодательства восторжествует над злобой дня, которая преходяща перед лицом совести нашей — судейской и человеческой совести.

А дух закона очень кратко и емко определяется, господа судьи, фразой удивительной и вместе с тем величественной в своей глубине и простоте: «Правда и милость да царствуют в судах». Правда и милость, господа судьи! Я позволю себе подробней обсудить два этих слова, ибо необычны преступления, судимые вами, необычны преступники, а значит, — что-то новое могут сказать нам слова о правде и милости.

Правда обсуждаемого дела двояка, господа судьи: это правда о характере самого преступления и правда об участии в нем моего подзащитного.

Господин прокурор в своей блестящей и отточенной речи пытался низвести государственное преступление, в разных его видах обсуждаемое здесь, до преступления уголовного, заведомо низкого и несомненного. Мы не можем с этим согласиться. Трудный для разбора смысл и отличие государственного преступления заключается в том, что оно судимо только собственным временем, а уже через одно-два поколе-

ния может трактоваться как доблесть, как предмет гордости, как выражение лучших, в те поры покуда подспудных, требований назревающей эпохи. Вспомним, господа судьи, как откликались мы все еще недавно на робкие призывы покончить с крепостной зависимостью, уже ненужно, пагубно тяготевшей над Россией, вспомним, как откликалось правосудие на попытки громко воззвать об отмене постыдного для середины века, бессмысленного рабства российских земледельцев. Но пришел царь-освободитель, пришел монарх-реформатор, да будет священна его благородная память, и стали прекрасной реальностью только вчера преступные чаяния осуждаемых за них лиц. Преходящая правда тех судебных приговоров — не урок ли она нам, осуждающим сегодня молодежь за горячую жажду перемен, возможно, уже назревших в воздухе времени?..

— Прошу защиту придерживаться конкретных обстоятельств дела, — громко сказал председатель.

— Но что может быть конкретней истинного понимания дня? — сказал Рихтер, будто обрадовавшись реплике. — Без сказанного только что я не мог бы перейти к той правде, что относится к подзащитному. Ибо он является как раз носителем и описателем тех стремлений, что назрели в определенной части общества. Каким образом воплощаются стремления эти, мы должны и можем судить, однако взгляните, господа судьи, Морозов не замешан ни в одном из разбираемых здесь преступлений. Показания его квартирной хозяйки, показания соучастников по московскому подкопу и покушению на цареубийство 19 ноября неопровержимо свидетельствуют о его полной непричастности к этому делу. Единственное, чем располагает обвинение, — оговор покойного Гольденберга, якобы видевшего Морозова в Москве и участни-

ком Липецкого съезда. Но разве мало ошибочных сведений только что вскрыл высокий суд в торопливых, нездоровых и лихорадочно-истерических показаниях этого человека?

Рихтер остановился, передохнул и отпил глоток воды. Его коллеги зашевелились.

— Мы сеем в море, — сказал Кедрин, что-то вычеркивая в черновике своей речи.

— В море? — меланхолически отозвался Спасович, не поворачивая головы. — Поболоту!

Дейер укоризненно посмотрел на них, но они и сами замолчали. Рихтер продолжал, уже явно перестав опираться на подготовленную запись.

— Таким образом, единственная достоверная правда о моем подзащитном состоит в том, что он является автором изданной где-то за границей брошюры с апологией террористической борьбы. Но, господу судьи, разве послужила она практическим руководством хотя бы для одного из обвиняемых здесь людей? Разве можем мы обвинить его в подстрекательстве? Наоборот, они отказываются от изложенных в ней положений. Смею напомнить вам, что так же точно отказывался от нее на предыдущем процессе царевубийц один из главарей этого общества, если не главарь его, — Желябов. А свои, между тем, воззрения он, как и часть подсудимых здесь, излагал вполне откровенно. Кроме того, брошюра эта вышла уже в восьмидесятом году, а прибавьте еще время на ее «подземную», естественно, доставку — разве могла она служить руководством при покушениях, начавшихся куда как раньше и безо всякого теоретического обоснования?

Таким образом, выходит, господа сенаторы и словные представители, что мы судим человека только за его убеждения. Вслушайтесь, господа: за образ

мыслей, за то, что он думает как-то иначе, чем мы все. Но, господа, при несомненной разнице мнений по множеству вопросов, то есть в совокупности — разнице мировоззрений, наверняка существующей даже между нами, собравшимися здесь сейчас, — что, если мы станем судить друг друга? Во что превратится само общество, если одни его члены воспользуются возможностью судить других за разные с ними убеждения? Не остановится ли само развитие этого общества, не застынет ли оно в своем духовном движении, пагубно ликвидируя благостное разномыслие, рождающее в схватке и борении непрерывный поступательный ход истории человеческого духа?

Прокурор Муравьев сделал какой-то жест, будто порываясь сказать что-то, и Дейер услужливо повернул к нему голову, но Муравьев благодарственно отклонил его готовность. Московский губернский предводитель граф Бобринский засмеялся, покрутив головой, — дескать, ишь загнул, шельма, и снова установилось молчание.

— И последнее, в связи со всем сказанным, — Рихтер говорил теперь очень громко, уже совершенно прямо глядя на сенаторов, словно уговаривая их, — последнее относится к слову «милость», которое тоже обретает новое звучание ввиду необычности обсуждаемого. С необходимостью, с обязательностью проявляемая вами милость должна состоять в данном случае не в послаблении и снисхождении, не в смягчении заслуженной участи, как это было бы в случае уголовного дела или участия в явном преступлении. Нет! Милость состоит в данном случае единственно в том, чтобы оправдать человека, смело излагающего свои убеждения, не отрекающегося от них даже перед лицом жестокой кары, и именно этим оправданием проявить уверенность в собственной

правоте и великодушие, главный признак которых — терпимость и милосердие.

Кроме того, господа, — сказал Рихтер, — мой подзащитный — это безусловно и ярко одаренный человек. Мы все, присутствующие здесь адвокаты, беседуя по камерам со своими подзащитными и, естественно, обмениваясь мнениями о них друг с другом, с удивлением непрерывно говорим о том, что это необычайно способные, зачастую уже выявившие свои склонности люди. Польза, которую они могли бы принести своей стране, несомненна. Что-то, витавшее в воздухе времени, побудило их к преступной деятельности. И если мы в состоянии вернуть обществу кого-либо из них, соблюдая при этом истинную и высокую, а не сухую и мертвую законность, будущее воздаст нам за смелость, с которой мы, выявив полную правду, проявили подлинную милость. Оно воздаст нам за настоящее правосудие. Благодарю вас за потраченное на меня время.

Рихтер сел. Еще мгновение длилось молчание, которое прервал Дейер.

— Перерыв! — сказал он, будто ничего не слышал, не думал и не воспринимал. Бряцая оружием, жандармы уводили подсудимых.

* *
*

Утром в последний день один за другим они отказывались от последнего слова. Даже Михайлов, уже явно устав, сказал то же, что порывался в самом начале, неделю тому назад:

— Деятельность нашу вы, господа судьи, призваны рассмотреть. Борьба сделала нас личными врагами государя императора. Воля государя, воля оскорбленного сына, вручила своим доверенным слугам —

вам, господа сенаторы, — меч Немезиды. Где же залог беспристрастного правосудия? Где посредник, к которому мы могли бы апеллировать? Где общество, где гласность, которые могли бы выяснить отношения враждующих? Их нет, и двери закрыты!! И мы с вами, господа судьи, наедине!! Как бы почтительно я ни относился к вам, господа сенаторы, но... чувствую себя пленником, связанным по рукам и ногам.

Молодец, Дворник, был ты и остаешься тем же; неужели вы не видите, кого сейчас присудите к виселице, живые мертвецы в мундирах? Нет, надо обязательно сказать, жаль голоса у меня нет настоящего, тонкий и негодный голосишко. И тон этот дурацкий неистребимый — вежливый и приветливый, как его ни ломай. Когда-то часами валялся под солнцем, умываясь поминутно ледяной водой, чтобы погубела кожа, только ничего не вышло. То же самое и с тоном, и с голосом. Жалко, не в отца пошел, вот у того голос. Правда, там и характер тоже. Может быть, это связано? Не исключено.

...Отказываюсь от последнего слова. Отказываюсь от последнего слова. Отказываюсь. Морозов?

Тихим и доброжелательным голосом Морозов сказал:

— Говорить что-либо оправдательное уже потому бессмысленно и нецелесообразно, что господа сенаторы — люди такие же несвободные, такие же подневольные, такие же обреченные чужой воле, как мы. Пожалуй, мы даже более свободны, хоть какое-то время поступая согласно убеждениям, а господа сенаторы много лет уже по рукам и ногам связаны в своих поступках страхом и благополучием. О чем же мне вас просить?

Быстрый взгляд всех сидевших был ему высшей наградой. А Дейер, слушая, так наслаждался поно-

шением коллег, будто к нему это не относилось, даже голову чуть задрал, гурман оскорбительства. Потом спохватился, но Морозов уже сидел, и он пригласил следующего. Отказ. Отказ. Отказ.

Особое присутствие Правительствующего Сената отправилось на совещание. Первоприсутствующий шаткой своей походкой шел впереди. Лицо его было бесстрастно, неподвижно и уже отчуждено как бы холодным дыханием высокого правосудия.

Потом они вернулись — вскоре, и выяснилось из торжественного чтения, что на шестьдесят с лишком вопросов о виновности всех подсудимых совещание сенаторов ответило: «да, виновен» (кроме двух каких-то очевидных: «нет, не виновен»). И тогда прокурор Муравьев встал, на мгновение опередив приглашающий жест председателя, и четким, твердым голосом потребовал смертную казнь для всех.

Ропот смущения пробежал по залу, довольно полному к тому времени. Двадцать смертей — это было неслыханно, поражающе много. Перешептывались сенаторы, будто начав совещаться еще до ухода в свои апартаменты, отведенные специально для этого. Слишком много смертей потребовал прокурор. Даже мудрый и многоопытный гном Дейер глянул на него с недоумением, но быстро решил, что Муравьев отводит душу в отместку за то, что защита так расщипала его речь. Понятное и удобное объяснение это доставило Дейеру миг привычного удовлетворения (он весьма ценил, что мир и люди объяснимы полностью), и он объявил заключительное совещание суда.

Был он неправ, всепонимающий злобный Дейер, Муравьев не снизошел бы до низкой мести защите таким способом — до нарочитого перечеркивания всех стараний адвокатов в отместку за то, что старания

эти во многом достигли цели, ослабив монолитный пресс обвинительной речи. Нет, не снизошел бы. Просто его отношения с объектом преследования всегда доходили — должны были дойти — до того максимального предела, который был возможен в этих отношениях. И переступить его. В данном случае этим пределом была смертная казнь для всех этих людей, в которых чувствовал, провидел, ощущал Муравьев общность и сплоченность, усиливающую сопротивление.

А жестоким он вовсе не был, даже снисходителен был, добр и заботлив в кругу сослуживцев и близких. С просьбой к нему всегда можно было обратиться, и в помощи — самой разной — он возвел себе в принцип никому не отказывать и по мере сил выполнял зарок.

Многие любили Муравьева за отзывчивость и прямоту. Потому что и министром — хозяином суда страны — был суров он, но справедлив. По возможности.

А сейчас он требовал двадцать смертей, и в этом сказывалось, кроме всего прочего, прямо и четко сказывалось его личное отношение к возмутителям спокойствия страны.

Рассевшись в комнате совещаний и отпив воды, они принялись за дело, ясное, впрочем, еще с начала суда и требующее лишь деталей. Быстро и уступчиво соглашаясь с Дейером, сенаторы вдруг возразили против смертной казни Морозову. Нет же никаких улик, он практически не участвовал, сказал кто-то из них.

— Но что это за попустительство, господи? — веселился Дейер. В глазах его, умных и больших глазах, мелькала искорка — чертовщинка, очень освещающая все сухое некрасивое лицо его. — Как же так? Статья

двести сорок девятая уложения о наказаниях недвусмысленно перечисляет преступления, достойные лишения жизни. И во всех ее статьях замешан отчего-то опекаемый вами Морозов. Бунт против власти верховной — налицо; умысел ниспровергнуть правительство — несомненен; умысел переменить образ правления — они его и не скрывают; составление на один из вышеперечисленных предметов заговора или участие в уже составленном для этого заговоре — есть и это. А? Господа!

Тут Дейер отложил том законодательства и, глядя поверх голов, почти пропел, наслаждаясь созвучием перечисляемого:

— Сюда же относятся и подстрекатели, и пособники, и попустители, и укрыватели, и недоносители. Так что и к этому разряду отчасти принадлежит он. А? Господа!

Сенаторы молчали, не глядя на него, и он унялся. «Куда девалась у них человеческая и мужская гордость? — подумал он. — Хоть бы обругали меня, что ли. Не такой уж я всесильный, если вдуматься. На ком-нибудь другом отыграются. Собачья служба». И он принялся молча проверять поданный секретарем протокол. Господи, с омерзением думал он, они и здесь как овцы, они и здесь боятся, что кто-то подумает, что их задели и озлобили слова этого тихого заморыша и они-де оттого именно мстят ему. Они именно этого боятся, оттого что и вправду озлобились. Чужого мнения о себе боятся. Это вверху. А внизу так же идут в революцию потому что тоже боятся, что о них плохо подумают. Ну, те-то ладно, тем хоть отчасти хочется. А этим ведь только боязно. Чем выше их положение, этих вершителей страны, подумал Дейер, тем низменной мотивы их поступков, и легкий каламбур этот, как всегда, успокоил его. Он-то

в своих мнениях ни от кого не зависел, а что до поступков — что ж, настоящая свобода человека, занятого на поприще, состоит в понимании того, что чем-то связан, в чем-то зависим, где-то подневолен. Это норма, и нечего ее переживать, наоборот — в сознательном и превосходном исполнении ее и есть внутренняя свобода человека, находящегося на службе. Все равно ведь царь помилует часть висельников, а если не помилует, — ну, повезло, значит, писаке. Должна же быть какая-нибудь награда за быстрый язык, подумал он, уж он-то это понимает пуще прочих, имея веские основания. И перешел к следующему. Никто из сенаторов более не возражал. Да и что было возражать против смертной кары таким страшным и опасным людям, как вождь Михайлов, вездесущий исполнитель Фроленко, шпион Клеточников, динамитчик Исаев или нескрываемые фанатички Лебедева и Якимова?

Приговор читали внятно и торжественно.

Виселиц предстояло десять. Сенаторы хоть и прослезились, внимая истории жизни моряка Суханова, но сочувствие сочувствием, а офицер его императорского величества флота — это офицер его императорского величества флота. Виселица. И рабочему Тетерке виселица — пропащий человек, развращенный пропагандой невосстановимо, совершенно лишний теперь человек. И Колодкевичу виселица, и Емельянову. Пятерым — каторга бессрочная, пятерым — двадцатилетняя. Что новому предателю Меркулову бессрочная каторга — это так было, игра в правосудие, — она ведь слепа, Фемида, глаза у нее завязаны, она просто вину взвешивает, а на каторге человек ее отбывает или на службе в полицейском управлении (куда был Васька через неделю зачислен) — это ей все едино.

Неподвижно и заворожено сидел Баранников. Приговор огорошил, унизил и уничтожил его. Он хотел смерти, он смирился со смертью, он родным написал, что хочет умереть, а не гнить в тюрьме или на каторге: «...не чувствовать и не жить,— писал он,— легче чем чувствовать и не жить». А ему — пожизненная каторга. Он смотрел, еще будто надеясь на изменение, и не дикое у него было лицо, а растерянное и мальчишеское. Двадцать три ему исполнилось в том году.

И, нарушая молчание, деликатно, однако громко выскочил в большой платок, а потом и кровь сплюнул невозмутимый Клеточников. Он еще второго дня понял, к чему все идет, а он-то, наивная душа, боялся административной высылки — ночью было страшно, когда понял, но довольно быстро решил: лучше, чем чахотка все-таки, а пожить удалось славно. Тридцать четыре года — вполне божеский срок, было бы грехом скорбеть и жаловаться.

Потом их разводили по камерам, они все обнимались, слез ни у кого не было, даже облегчение какое-то наступило от полной и совершенной ясности судьбы. Михайлов вообще торопился: он спешил написать на волю письмо, изложив самые главные соображения. Одно из них особенно важное было: ни в чем не надо сознаваться вообще, это Воробей прав. Все не проходило чувство, что руководит, что может наставить и помочь. А Морозов опять поймал себя — вторично уже за февраль — на каком-то легком, неуловимом, сладостном предвкушении — чего? — не смог понять. Снова исчезло это чувство, но никакого страха, жалости, тоски не было. Как там девочка? И что сейчас с Ольгой? Чем кончился ее отчаянный самоговор?

432 Быстро и с интересом глянув на него, даже будто что-то сказать собравшись, но не сказав, прошел мимо

незнакомый мужчина с умными пристальными глазами. Его сопровождал офицер из судебных жандармов. Явно не сажать вели, какой-то посетитель, очевидно.

* *
*

А человек этот, пройдя длинный коридор, глянул на номер одной из камер и сухо попросил сопровождавшего офицера обождать его здесь, и чтобы не было никаких любопытствующих. Офицеру шепнули уже, что господин Рузов — чрезвычайно важная шишка, гадостей может сделать, сколько захочет, потому как работает для самого высшего начальства, и он щелкнул сапогами почтительно. Подбежавший по знаку офицера надзиратель отпер камеру, и Рузов, затворив за собой дверь, вошел, прямо и пристально глядя на обессиленно сидевшего Клеточникова.

— Здравствуйте, Николай Васильевич, — вошедший протянул руку.

— Здравствуйте, — Клеточников встал и вяло пожал сильную теплую кисть. У него самого пальцы и ладони горели, несмотря на холодный зимний закат.

— Не имею чести знать вас, милостивый государь, — сказал Клеточников, внимательно всматриваясь в лицо Рузова, — хотя, признаться, видел где-то... на суде?... нет, и ранее тоже.

— Тут все очень просто, — сказал Рузов. — Я ваш коллега, а заодно и тезка. Николай Васильевич Рузов.

— А-а, — протянул Клеточников, — теперь припоминаю. Раза два довелось переписывать ваши соображения о заграничной агентуре. Читал с удовольствием. Чем могу служить?

Маленький, шуплый, он стоял перед плотным Рузовым, приветливо и выжидательно глядя на него, и Рузов, неприятно ощущая свое здоровье, свою

одежду, свое благополучие рядом с этим обреченным человеком, все-таки выдавил слова вопроса.

— Странный у меня к вам вопрос, уважаемый Николай Васильевич, неуместный, дурацкий, возможно, праздным любопытством рожденный, что в сих обстоятельствах, я понимаю, безнравственно, однако не могу его не задать вам, ибо хочу услышать ответ. Позволите?

— Если смогу, — по воспаленным большим серым глазам Клеточникова пробежала какая-то искра — будто крохотная молния пробилась от виска к виску, отразив свой путь в глазах, и Рузову вдруг стало легко, и обуза здоровья спала, потому, что он почувствовал в собеседнике еще гигантские запасы силы. Тогда он медленно вытащил папиросницу, глянул на оконце камеры, сообразил, что Клеточникову и так нечем дышать, и стал неловко прятать ее обратно.

— Что вы, что вы, курите спокойно, — Клеточников засмеялся, — и все мелкое треугольное лицо его разбежалось круглыми складками. — Мой защитник все время тоже курил здесь, а как дымят в департаменте, вы знаете лучше меня.

— Защитник был неважный, — сказал Рузов, благодарно глянув на него.

— Что могло меня оправдать? — Клеточников пожал узкими плечами и снова улыбнулся. — Однако я слушаю вас.

— Простой вопрос, Николай Васильевич, — сказал Рузов, посерьезнев и даже помрачнев. — Были ли вы счастливы?

Клеточников отвечал серьезно и доверительно.

— Очень. Это даже не то слово. Два этих года — единственное время, которое я действительно жил. Смысл имела моя жизнь, не знаю, как бы это пояснить точнее.

— Ненадо, — сказал Рузов. — Я слишком даже хорошо понимаю вас.

— И я скажу вам больше, — ровным голосом продолжал Клеточников, — если приговор будет кассирован почему-либо или последует высочайшее соизволение о даровании жизни, я употреблю оставшееся мне время — небольшой, как видите, срок, — чтобы продолжить доступными средствами служение этим людям. Я не хочу скрывать этого, и вы вольны в сообщении моих слов.

— Господь с вами, — Рузов болезненно поморщился. — Я частное лицо, и хотя смешно в подобной ситуации говорить о моей порядочности, да еще при роде моих занятий...

— Я не хотел вас обидеть, — мягко сказал Клеточников. — Знаете, мне, признаться, был приятен ваш вопрос. Мне как-то все некому было сообщить, что я наконец счастлив. Я даже благодарен вам за посещение.

Рузов вскочил, торопливо и крепко пожал руку Клеточникову и быстро пошел к двери. Обернулся, когда на его стук дверь уже была открыта:

— Спасибо. Я желаю вам остаться в живых. Не могу ли я что-нибудь прислать вам или как-либо помочь? Да! — он притворил дверь и понизил голос. — Может быть, что-нибудь надо передать на волю? Впрочем, извините, вы не имеете оснований мне доверять, вы правы. Что-нибудь из съестного, быть может?

— Мне просто некому ничего сообщать, — улыбнулся Клеточников. — А еда... благодарю вас, все необходимое у меня имеется. Благодарю вас, — твердо сказал он.

Рузов вышел. Странно устроен человек, думал он, быстро идя по гулкому коридору, величие чужой ду-

ши делает его таким довольным и просветленным, будто это именно он благороден и высок. Нет, думал он, сбегая по лестнице, это не просто величие души, это трагедия на меня подействовала. Если бы помочь ему было можно, только чем помочь? Прислать врача? Ни черта они не могут поделывать, тем более, что впереди у него — в лучшем случае каторга. Интересно, святые были такими? — думал он, жестом подзывая извозчика. Во всяком случае, первые христиане — наверняка такими. А святые — нет, конечно, тут ведь обман, тайные дела. Чести нету в тайном предприятии. А какая-то святость есть.

— Вези-ка меня на Лиговку, — сказал он извозчику, легко распахивая дверцу старенького экипажа — бывшей роскошной кареты, очевидно. — И побыстрее! Сейчас выпью немного, — сказал он уже сам себе неожиданно громко, как случается с людьми, подолгу бывающими в одиночестве, — и хорошенько это все обдумаю.

* *
*

Ожидали высочайшего решения. Русские газеты молчали испуганно и подобострастно, даже осуждающих статей не было в затаившейся прессе, западная — кричала о милости. Восьмидесятилетний Виктор Гюго — что еще надо было от жизни этому отжившему старику? — опубликовал открытое письмо Александру Третьему:

«Происходит что-то новое и необычное. Деспотизм и нигилизм продолжают борьбу. Борьба зла против зла — это поединок мрака. Только по временам молния освещает этот мрак: на минуту показывается свет и снова сменяется тьмой. Страшная картина! Цивилизация должна прийти на помощь. В данную минуту картина такова: безграничная

тьма, и среди этой тьмы человеческие создания, из которых две женщины (две женщины!) осуждены на смертную казнь; другие приговорены к заключению в ту русскую тюрьму, имя которой Сибирь. За что? Зачем эти виселицы, зачем эта каторга? Группа людей объявляет себя «верховным судилищем». Кто же присутствует в ее заседаниях? Никто. Без публики? Да! Кому отдает она отчет? Никому. В журналах ни слова. Каковы улики? Никаких нет. Кто обвиняет, кто защищает? Неизвестно. Каким кодексом пользуются? Никаким. На какие законы опираются? На все и ни на один. Какой же приговор выносит это судилище? Десять осуждены на смертную казнь! Но все ли это? Пусть бережется других русское правительство! Оно не боится другого подобного себе правительства, ему нечего опасаться законного государственного строя, оно не боится ни противостоящего могущества, ни иной политической силы. Да! Но ему следует страшиться первого встречного, всякого прохожего, любого единичного голоса. Единичный голос — это никто, и это весь мир, это бесконечность без имени. Пусть прислушаются к этому голосу — услышат: «прощение!». Во мраке взываю о милости. Я прошу милости для народа у императора, в противном случае прошу милости для императора у бога».

Западные газеты пестрели обращениями и просьбами.

* *

*

Щепочкин быстро поднялся по лестнице к такой знакомой уже двери на Лиговке и позвонил. Открыла молодая женщина, церемонно поздоровалась и исчезла. Рузов сидел грузно и неподвижно, будто всю ночь не вылезал из-за своего письменного стола, не-

ловко, боком поставленного к окну. Он поздоровался, тяжело привстав, и молча смотрел теперь на Щепочкина. «Пьян, кажется», — подумал Щепочкин, но он привык уже советоваться с этим человеком, и отступить было поздно.

— Государь утвердил приговор только Суханову. Остальным — бессрочное заключение. Женщинам, впрочем, каторга. А тем — навсегда в Алексеевский равелин. Теперь они все, как Николай. Так и написано: «навсегда», — сказал он быстро.

— Это чуть помедленнее, но точно такая же смерть, — сказал Рузов, не меняя позы.

— Я был у министра внутренних дел. Он обещал мне через год заменить равелин ссылкой.

— Будет уже поздно. Или не сможет. Или сойдет, что не удаётся, — размеренно сказал Рузов.

— Да что с вами сегодня? — спросил Щепочкин участливо и встревоженно. — Вы всегда вселяли в меня надежду.

— Я почему-то очень в этих людей верил с некоторых пор, — с усилием заговорил Рузов, и Щепочкин увидел, что он абсолютно, мертвецки пьян. Но Рузов продолжал говорить — связно, упрямо и размеренно:

— Вот они в меня и вправду вселили с некоторых пор надежду. А теперь ее нет как нет. Последней.

— Но помилуйте, — машинально возразил Щепочкин, и для закругления разговора употребил наскоро чужую мысль, ходячую в те дни фразу: — На что можно было надеяться тут? Когда историю подталкивают взрывами, то от них только погибают мальчишки-зеленщики, случающиеся на месте взрыва.

— Просто никто не видит сотни мальчиков, погибающих под ее колесами, когда она движется рав-

номерно, — трезво и спокойно ответил вдруг Рузов как нечто давно продуманное.

Щепочкин встал. Рузов тоже встал. Твердо и прямо.

— Извините меня, — сказал он. — Извините меня, ради бога, что я ничем вам не в силах помочь, Никто теперь не в силах помочь. Ни вашему сыну, ни вам, ни мне. Мы все теперь один на один. Только с чем? Вот бы что узнать интересно. И позвольте мне покинуть вас.

Щепочкин пожал протянутую руку и пошел молча к двери. Оглянувшись, он увидел, что Рузов уже спит, уронив голову на стол, опираясь на него крутым выпуклым лбом.

* *

*

В эти дни кончился полным крахом беспримерный заговор Нечаева в Алексеевском равелине. Выдал его Леон Мирский. Он еще задолго до Ширяева попал сюда и с изумлением получил сразу же записку от Нечаева. Ответил ему. Было еще несколько записок. Он настолько разбирался в людях, этот изощривший свою и без того недюжинную проницательность человек, что решил не посвящать Мирского в полную суть дела. Но потом Мирский проведал обо всем и однажды, отчаясь иным путем достичь каких-либо жизненных радостей, до которых великий был охотник, выдал начальству крепости все, что успел вызнать. Получил за это улучшение питания (десерт к обеду в виде свежих фруктов) и табак более высокого качества. А потом уже, в награду за донос, умирание в равелине заменили ему сибирской ссылкой.

А в крепости было арестовано 69 человек, из которых более сорока, как выяснилось быстро и неоп-

ровержимо, участвовали в пособничестве преступнику. Они получили разные степени наказания — от разжалования до каторги, а Александр Третий написал на полях докладной записки о суде: «Более постыдного дела для военной команды и ее начальства, я думаю, не бывало до сих пор».

Нечаев был еще раньше, в самом начале арестов в крепости, переведен в камеру номер 1, последнюю камеру в его жизни. Она была отделена от всех остальных помещений рavelина, и он только слышал, как новая стража наполняла новыми узниками остальные камеры. Ширяев еще летом умер от чахотки, о предательстве так и не узнав. Новичков было явно очень много. Только все это уже не интересовало Нечаева. Он впервые в жизни ощутил вдруг, что положение его — безнадежно. И больше не писал ничего, ни о чем не просил, не пытался ничего предпринять. А потеря надежды, наполнявшей его всю жизнь яростью и энергией, означала для него потерю жизни. И он умер — быстро и незаметно. Никто из новых арестантов даже не узнал о его смерти. Только впоследствии записка врача позволила установить, что несколько месяцев он прожил еще бок о бок с народо-довольцами, от помощи которых в обретении свободы отказался ради успеха взрыва.

Глава пятая

Гавриилу Ивановичу Вильмсу, доктору медицины, генералу, действительному статскому советнику, врачу Петропавловской крепости, исполнялся сегодня шестьдесят один год. Он не любил 440 день своего рождения. Тринадцатое июля с давних

пор отчего-то связано было для него с назойливо лезущими мыслями о смерти. Он был еще очень бодр, этот седой сутулый старик, худой, с острым и не мутнеющим от возраста взглядом из-под светлых, будто выцветших густых бровей. Но тринадцатого июля, в день своего рождения, он уже с давних лет думал почему-то о бренности всего живого и о неизбежности одинакового для всех конца. Не с того ли, двадцатилетней давности срока повелась неприятная привычка, когда Вильмс впервые принял эту спокойную тюремную должность? Может быть. Сейчас не упомянуть. Чужие смерти мало волновали доктора Вильмса, казались ему естественными, что ли. Мало ли он их видел на веку. Но вот мысль о собственной — просто ужасала. Особенно с некоторых пор тревожила в день рождения. И оттого в этот день всегда, уже давно и неизменно, доктор Вильмс, обычно нелюдим и одинокий пасьянщик, ездил в гости куда-нибудь к знакомым. Выпивал чуточку, играл в карты, тянул до полуночи, будто обманывая время, навязчивые мысли заглушая, и наутро снова становился бодр, крепок и активно бездеятелен: хитро и не без находчивости увиливал от всех забот, поручений и возможных тревог.

Сейчас в подопечном ему Алексеевском равелине шли стремительно к концу десять совсем молодых жизней, и доктор Вильмс пристально следил за этим неумолимым угасанием. Во-первых, еженедельно приходилось представлять рапорт, а во-вторых, было интересно. Смерть в условиях равелина была неизбежным и скорым гостем: в камерах, где уже четверть века, если не больше, не топили и никто не жил, сырость была такая, что стены по пояс человеку поросли неистребимой плесенью. Пол же за ночь покрывался от сырости сплошным серебристым на-

летом другой какой-то гадости — грибной, которую, как кору, приходилось соскабливать. Топка от этой сырости не спасала. Окна кто-то давно распорядился замазать, и вечные сумерки стояли теперь в камерах. Если к этому еще добавить питание, столь же скудное, сколь безобразно изготовленное, надо ли удивляться, что почти немедленно в равелине появилась цинга. У заключенных пухли и кровоточили десны, возникли опухоли на ногах, пошли множественные боли по всему телу. Он им дал раствор железа, кружку молока в день, только ведь смешно подумать, что это могло изгнать цингу. С ней боролись не жалкие снадобья эти, и даже не молодость его обреченных пациентов, а их фанатическое какое-то упорство да еще поддержка друг друга. Вот за борьбой этой доктор Вильмс и следил издали — с безучастным, вполне академическим интересом. Он совсем не сочувствовал взрывателям, и как людей ему их не было теперь жаль: каждый получает, что хочет, а эти знали, что получат и на что они шли, учиняя такое. Но их сопротивляемость цинге в таких условиях безусловно являла зрелище любопытное и достойное даже, возможно, научной статьи, которую писать, впрочем, доктор Вильмс отнюдь не собирался, ибо последние двадцать лет за главную свою жизненную цель почитал полное, совершенное отдохновение, а уж если не выходит оно, то лишь минимальная, сколь возможно, допустимая при необходимости трата сил. Остальное же время — покой, расслабленный, бездумный и упитательный. Перемежаемый пасьянсом, сном, едой и вдумчивыми отправлениями тела. Кресла, где он просиживал бесконечные часы, прислуге даже касаться было не велено, потому что подушки так разумно и точно лежали там, что вмиг облегали худые его кресла, как только он усаживался блаженно.

И при этом не толстел нисколько от длительного покоя и прекрасную сохранял форму. Потому что не курил, не пил, ничего не ел возбуждающего, острого, соленого или пряного, перед сном никогда не наедался, пил перед обедом воду и ложился минута в минуту вот уже сколько лет. В этот свой день рождения Вильмс приехал к знакомым, посещение которых чередовал, так что сегодняшних своих хозяев года три уже не видел. Как они относятся к нему, его заботило мало: дом был открытый, тут ко всем, пожалуй, относились с равным безразличным радушием. Сегодня Вильмс был чуть выбит из привычной колеи, потому что разбудили рано, выпил сразу три рюмки и приятно захмелел. Партнер ему попался очень симпатичный и превосходный игрок, так что вечер обещал получиться. Разговор непрерывно возвращался к нигилистам-взрывателям, которых то и дело отлавливали и судили всюду. Коронация-то ведь, что греха таить, явно затягивалась только из-за страха перед новыми покушениями. Теперь, кажется, жизнь входит в привычную колею, а злодеи гниют в Сибири и Петропавловской крепости. Что ж, они хотели этого.

Машинально поддакивая разговору, симпатичный партнер (явные, между прочим, следы злоупотребления алкоголем) сказал про себя негромко любимую фразу Вильмса, мольеровскую бессмертную фразу: «Ты этого хотел, Жорж Данден», чем порадовал старика чрезвычайно. Вильмс в пристрастии к этой глубокой фразе признался, после чего они вместе уже отправились к столу с закусками и выпили по две рюмки за приятное знакомство. Оба оказались единомышленниками и во вспыхнувшем общем споре, отчего так велико количество не то чтобы прямо умалишенных, но немного все же вывихнутых рас- 443

судком в среде нелегалов и возмутителей. Против крайней точки зрения хозяина дома, что они там вообще все безумны, против, с другой стороны, чьего-то возгласа, что их-де тюрьма с ума сводит, партнер очень дельную мысль высказал — спокойно притом и очень вразумительно:

— Господа, конечно же у многих из них нервы чуть пошаливают и очень уж тонкая чувствительность, болезненная острота восприятия мира. Это в тюрьме кончается зачастую впадением в умалишенность, но вовсе ведь не значит, что они были уже не в своем уме до начала деятельности. Просто тонкая нервная организация легче поражается несовершенством социального устройства, а отсюда и рекрутируется подпольем. Хочется перестроить порядок, чтобы не было больно от несправедливостей и изъянов, которых и так более чем достаточно в отечестве.

Доктор Вильмс был в полном удовлетворении. Он бы это научней объяснил, точнее, но по мысли — абсолютно точно. Именно: болезненно обостренное восприятие несовершенств и толкает таких людей к нелегалам. А еще такой молодой вроде, впрочем, нет, — уже за сорок чуть или около того. Они еще раза два или три не без удовольствия обоюдного сходили к столику с закусками, а потом опять повели разговор о том, что каждый получает в конечном счете то, что хочет. Доктор Вильмс на это доверительно сказал партнеру, что исключений тоже не перечесать. Например, он, доктор Вильмс, одного от жизни берет: долгих-долгих, несчетных, по возможности, лет абсолютного покоя. Вот собеседник — от старика не укрыться, — тот забвенья или забытья ищет и находит в алкоголе, так что получает, в сущности, что хочет. А покоя для доктора, бесконечного, ничем невозмутимого покоя — нет и нет.

— Но ведь это смерть — то, чего вы хотите, — живо возразил партнер. — Живая смерть. Точнее, простите, — смерть заживо. Как вы можете так любовно относиться даже к отдаленному подобию смерти? Вы же доктор, врач, это несовместимо, помилуйте!

— Какой я врач, — развязно сказал доктор Вильмс, ощущая приятную раскованность, — я самый настоящий могильщик. Я в Петропавловской крепости служу.

— Вот оно что, — протянул заинтересованно собеседник. — У меня там, знаете ли, есть знакомые. Из содержащихся.

— У кого там нет знакомых, — отмахнулся Вильмс, — это еще счастье просвещения и цивилизации, что за таких знакомых тоже туда не попадают, иначе бы и в карты перекинуться было не с кем. А кого вы знать изволите? — осведомился он, с неприличной легкостью вспоминая, что нарушает строжайшую государственную тайну. Впрочем, молодой человек обмолвился еще ранее в разговоре, что к зданию у Цепного моста имеет прямое служебное отношение, — тоже, кстати, плюс ему, что не скрывает. Многие стыдятся нынче. А чего? Каждый Жорж Данден имеет право иметь, что хочет. Так что с ним и поговорить — не велик грех на душу.

— Морозова Николая знаю, — осторожно сказал партнер.

— Сегодня как раз писал на него рапорт, — сказал Вильмс. — Умрет он дня через два. Самое большее — через три. Цинга, сударь, она там в стенах живет. Вместе с мокрицами, знаете ли. Вот такой толщины мокрицы, — и он показал тонкий белый мизинец с запущенным старческим ногтем, выпуклым и желтым.

— Клеточникова также знаю, этого очень хорошо. Полный мой тезка, если не ошибаюсь?

— Совершенно верно, — обрадовался почему-то Вильмс. — Полный тезка. Тоже Николай Васильев. Он сегодня как раз и умер. Голодом себя заморил. Протестовал, знаете ли, чтобы всех получше кормили. Так ведь откуда получше? Все воруют. — И добавил, нетерпеливо дергая головой: — Ну чего вы как застыли, батенька? О смертях, что ли, не слышали никогда? Он хотел этого, Жорж Данден. А вам сейчас банк держать. Сдавайте.

* *
*

Две недели назад Клеточников еще лежал — ходить он уже не мог — и перебирал день за днем, как скупой сокровища, два последние года своей жизни. Выходило так прекрасно и значительно, полно и насыщено так, что почти каждый день удавалось припомнить. Отступала и уходила боль, которая всюду гнездилась теперь в высохшем теле. Цинга. И еще желудок болел. Саднило грудь, но эта тупая боль издавна была привычной. Он впадал в забытье, теряя понятие о времени, но когда приходил в себя, очередной день послушно вставал в его памяти. Многим, очень многим он был обязан этим людям. Теперь-то понимал, что им. Даже самым последним обязан — выучкой тюремной азбуки, а отсюда — изумительным, непередаваемым ощущением, что и здесь живешь не один и нужен. И о многом говорено было. Перестукано, вернее, о многом. Действительно, святые какие-то. И ведь все они моложе его. Вот что очень важно: моложе. А цинга — она от питания. Сырость — это сырость, конечно, а за питание ведь можно побороться. За питание, за воздух, за про-

гулки. И они ведь, может, выживут тогда. Все ведь — на подбор — моложе. Как не догадался раньше? Целый год потерял, целый год!

Жизнь Клеточникова снова обретала смысл и оттого нехотя возвратилась в тело, которое почти уже покинула. Он простучал в стену соседу, что объявил голодовку, требуя улучшить режим. Ему ответили через час — просили обождать, пока сговорятся и приготовятся к голодовке все. Он простучал: не надо, я уже все равно объявил, это вообще лучше делать по одному и постепенно. И уже тогда только вызвал смотрителя и попросил официально довести до команданта крепости: Клеточников отказался от принятия пищи, требуя для всех улучшения рациона и прогулок. И тогда только улегся на кровать. Уже не болеть и не умирать улегся — жить, такая просто оказалась форма вновь осмысленной на сегодня жизни.

Смотритель равелина Соколов, рослый и грузный человек с неподвижным и пристальным взглядом, остался известен в воспоминаниях под исчерпывающей кличкой — Ирод. Инструкции он соблюдал неукоснительно и досконально. В этом состояла его жизнь, и за это он был утвержден инстанциями в звании смотрителя, повышен потом до капитанского чина, а вскоре вместе с заключенными переведен в Шлиссельбург — лучшего сторожевого пса не найти было. Он был вот какой известен фразой о своих подопечных, и во фразе этой выражалась вся его суть: «Если прикажут говорить заключенному «ваше сиятельство» — буду говорить «ваше сиятельство». Если прикажут задушить — задушу».

Клеточникова он нескрывая ненавидел: это было живое, воплощенное нарушение служебного долга, и ему при первой же встрече он угрюмо пообещал

шал: «А с тебя взыскания будут строги». И сейчас, услышав о новой выходке этого отъявленного человека, не совсем понимая даже, о чем идет речь и зачем нужно арестанту еще одно нарушение инструкции, ибо есть заключенному полагается, хмуро сказал: «Силой накормим», — и ушел, неся чуть на отлете подвижные и длинные волосатые руки с неразлучной на правой мясистой кисти связкой камерных ключей. Он и домой из равелина отлучался крайне редко: без него тут ничего не разрешалось.

Клеточников не ел. Еду приносили исправно и уносили нетронутой: с утра — хлеб и чай, днем — пустые щи с плавающими сиротливо клочками капусты и волоконцами мяса, на второе — ложку жидкой каши, вечером — чай и хлеб. Клеточников лежал и думал с удивлением и не без страха, что в его голодовке есть что-то жульническое, ибо есть не хотелось совершенно; вдруг об этом догадаются те, к кому обращен его протест? Наоборот даже: желудок перестал болеть, ощущался он сейчас как небольшой твердый камень. И все. Разве это трудно вынести ради задуманной возможности спасти остальных за стенкой? Голова была ясной зато и необыкновенно светлой. Только встать и ответить на стук не было никаких сил, вставать вообще уже несколько дней не удавалось.

Он умер через десять дней — в ночь на тринадцатое июля восемьдесят третьего года. За три дня до смерти Соколов все же заставил его поесть угрозой, что иначе вольют в него щи силой. Он беспокоился, Соколов, нервничал, что совершается нарушение, потому что видел беспокойство на лице начальства, когда рапортовал — с запозданием некоторым, что заключенный номер шесть объявил голодовку. И от принятой еды этой еще три дня Клеточников умирал

в невыносимых муках, но опять ничего не ел, ощущая уже не разумом своим, от боли тускнеющим, не чувством даже, а всем телом, всем существом ощущая, что выигрывает свое последнее за этих людей сражение. Слишком сжился он за два года с департаментом, и всем собой чувствовал, что механизму этому не нужны такие быстрые смерти людей, о которых могут спросить наверху. А потом погасла и боль...

— Какая, однако, благодать на лице у него, — сказал негромко священник. — Уж не раскаяние ли посетило его перед смертью? Жаль, не успело причащение, надо было бы позвать меня.

— Что вы, отец Павел, — почтительно сказал Соколов. — Этот из самых закоренелых.

Вильмс, брезгливо помыв руки, писал протокол о смерти. В камере прибирали срочно, ибо со дня на день обещало посетить равелин очень высокое начальство.

Приезд этот был связан с голодовкой Клеточникова и опоздал на один день всего. В планы департамента не входила такая быстрая смерть заключенных. Они должны были еще немного пожить, для них строилась в Шлиссельбурге — а вернее, восстанавливалась срочно — вместительная и надежная тюрьма. Не для того отменялись казни, чтобы они умирали так скоро. И потому лекарств было отпущено достаточно после визита товарища министра внутренних дел Оржевского, и питание улучшено неизмеримо. Кроме того, разрешена прогулка в четверть часа и каждому — по библии в камеру.

* *

*

Заклученный номер десять не знал о приговоре, вынесенном ему прогнозом и соответственной записью в рапортчике тюремного врача, он просто сам чувствовал, что подступает совсем близкий конец. Красные пятна на обеих ногах стремительно почернели, и обе ноги опухли, превратившись в толстые синеватые обрубки. Ходить было невыносимо больно. Но стоило только прилечь — ноги немели, и сознание уплывало. Горлом почти непрерывно шла кровь. Он отхаркивал ее в парашу, глядя без удивления и ужаса, как выплевывает собственную жизнь. Притупились все ощущения, голова была мутной и тяжелой. Весь год этот прошел как в тумане. Раньше они перестукивались оживленно, что-то хотели сообщить друг другу, но с каждым днем желание общаться уменьшалось. Жизнь от пробуждения и завтрака до обеда и ужина была заткана сплошной пеленой, в которой не было отчего-то ни ярких определенных воспоминаний, ни стремлений, ни ненависти, ни любви. Было всё время сыро, холодно и пусто. Будто бы весь год тянулось пасмурное засыпание, как бывает, когда болен и впадаешь в полузабытьё, а теперь был, кажется, близок и последний сон. Окончательный, без возврата. И не было отчаяния, жажды жить, силы сопротивляться. Боль только была. Она тревожила и мешала. Острая, непрерывная, всюду. Отпусти она — и смерть стала бы желанной даже, а куда все внимание уходило на эту боль. Он однажды подумал, что надо взять себя в руки и что-то очень важное припомнить, но мысль эта сама тоже уплыла куда-то. За стеной барабанил дождь, куранты крепости играли «Коль славен», а дважды в день — «Боже, царя храни», хлопала крохотная фор-

точка-глазок на двери — смотрел дежурный, звуки эти больше не раздражали. Густела и разрасталась тишина. В тот день, когда приходил врач, Морозову увеличили порцию лекарства — когда же это было — позавчера или уже двое суток прошло, неразлично слившись? Или это вообще сегодня было? Да, да, да, конечно же сегодня.

Он чуть повернул голову, взгляд его упал на только что выданную библию. Ему достался экземпляр на французском языке, старинное издание с чьи-то пометками ногтем — скорее всего, ее читали декабристы. Непостижимая какая эстафета, может быть, в ней тайный смысл? А приятно умирать, подумав, что прожил в одном ряду именно с ними. Люди словно разделены по незримым для них и неизвестным, тайно существующим категориям: одним они живут, одним дышат, за похожее отдают жизни. И как незаметные символы родства — такие вот попадания одних и тех же вещей в одни и те же родственные руки. Потому что кто из чужого вида кончит свою жизнь здесь? Если же кто и кончит вдруг случайно, то судьба, свои прихоти продолжая, распорядится тайно, и библию он получит — другую. Из тех, что читали свойственники.

Оттого, что в голове, чем-то невыносимо и неразборчиво набитой последние месяцы, возникла эта связная мысль, стало очень приятно и радостно. Полузабытое ощущение это нашло недалекий кончик в клубке памяти: когда уходил с процесса года полтора назад, вдруг такое же было радостное ощущение тоже непонятно отчего. Возникло, чуть подлилось и исчезло. Вот сейчас и это пройдет.

Он прислушался: оно не проходило. Странное, забьюте, пугающее сейчас чувство. Не радость, нет — предчувствие радости. Как бывает в молодости: про-

сыпаешься и ждешь радости, уверенный, что она придет. Оттого она и приходит, быть может. А сейчас? Странно, что и боли в ногах нет. Это оттого, что внимание на мгновение отвлеклось. Чего я жду? Может быть, так приходит смерть? Взлет перед последним падением? Ну, а дальше что? Сейчас конец? Что-то надо обязательно вспомнить. Да, вот что: смутная та радость больше года назад — к чему она относилась? Надо вспомнить. Потому что сейчас крутится где-то неподалеку та же самая мысль, предчувствием которой была та радость. Прямо здесь крутится, сверху, рядом. Вот же она, вот! Ну и ну. Где же она была больше года? Я же умереть мог, вот дурак! А теперь? Конечно, нет! Черт возьми, но где же я был раньше?

Морозов неуклюже бегал по камере, при каждом шаге припадая болезненно на каждую поочередно ногу, и лицо его выражало противоестественную смесь невыносимой боли с невыносимым наслаждением. Дежурный, посмотрев на него в глазок-форточку, мог решить, что узник сошел с ума — и был бы недалеко от истины. Мысль, пришедшая в голову этому полуживому узнику и приведшая его в такой восторг, отдавала каким-то безумием.

Ему вот что пришло в голову: ведь он отныне свободен. То есть, не физически свободен, а свободен заниматься наукой. Волен делать то, что давно мечтал делать, но считал, что лишен этого права, куда надо быть со всеми и как все. Теперь он свой долг исполнил честно. Он сейчас свободен от него. Между прочим, вот еще одна мысль: если наука поможет ему выжить — почему, собственно, «если», я не собираюсь умирать; ладно, пусть пока «если», — это будет лучшая борьба, настоящий удар режиму. Вы меня сгноить хотели? Вот вам! Видели? Я не просто выжи-

ву вам назло, я еще такое вынесу с собой после отбытия срока, что за голову будете хвататься: мы же хотели наказать его и истолочь в гнилой прах, а он в это время, негодяй, убежал от нас внутрь себя, и сидело в камере его тело, а дух нам сломить не удалось. Нам же дух сломить хотелось, дух и разум, тело мы и повесить могли, мы хотели личность сломить. Ну и подлец этот Морозов.

Заключенный номер десять бегал по своей камере, приваливаясь болезненно на каждую ногу, и издавал хриплые лающие звуки. Он был уверен, что смеется про себя и что никто его сейчас не слышит. Он вспоминал, как во время самого первого ареста надзиратель принес ему в камеру таз с водой для умывания, а сам стал рядом, чуть не придерживая Морозова за рукав. Сходить за мылом он отказался.

— Знаем вашего брата, — ответил он на просьбу о мыле. — От вас только отвернешься, а вы — в таз и пропали. Намедни мне рассказывали: один из ваших так нырнул в таз, а вынырнул где-то уже в Москва-реке.

Морозов засмеялся радостно и не стал переубеждать.

Как ты прав был, темный солдатик! Сам не зная того, как же ты был прав и точен! Я немедленно убегу отсюда, и меня никто не настигнет. Потому что еще не придумано средство настигать человека, убегающего в собственный мир. Надо только, чтобы он был, этот мир. Я-то знаю: у меня он, к счастью, есть. Было время — я сам заколотил его парадные двери. А сегодня я войду в них опять. Победителем, исполнившим свой долг и вернувшимся продолжать свою жизнь. Потому что человек — всегда победитель, если ему есть куда вернуться. Самый факт, что он вернулся я, — поражение его врагам. До свидания, господа

охранники, сторожите мое тело, идиоты. Оно справится теперь и с цингой, потому что оно мне нужно. И конечно, с кровохарканием справится. Тем более, что я ему помогу. Отныне — ходить и ходить. Боль пройдет, боль ведь их союзница, так что ей придется потерпеть. А вот кашлять надо перестать — разрываются кровеносные сосуды. Надо сдерживаться, сколько возможно, а уж если невогготу, надо кашлять обязательно в подушку, чтобы не было резкого воздушного перепада, разрывающего сосуды. А начну я с того, что вспомню все, что успел и знал, и плевать, что мне не дали книг, я их прочитал уже вдосталь. Вспомню и подумаю. И тогда уже — опять за библию. Древнюю историю никто не читал еще глазами естественника. А ведь библия — прекрасная история. С этого, пожалуй, и начнем. Все запоминать придется. Даже лучше — быстрее пойдет время. А сейчас — спать. Главное, чтобы был режим. Спокойной ночи, господа надзиратели, до утра я всецело с вами.

Спустя два месяца, в дождливый сентябрьский день, выйдя из равелина после очередного осмотра подопечных и составляя очередной рапорт, доктор Вильмс не без одобрения (зла он никому не желал) вывел своей старческой, но твердой рукой слова искреннего удивления и непонимания: «Морозов обманул медицинскую науку и меня и остался жив. Здоровье его удивлительно».

Спустя почти двадцать пять лет с таким же изумлением скажет некий частно практикующий в Петербурге доктор Браун худому, как индусский факир, пациенту:

— У вас огромный рубец вдоль всего правого легкого, просто-таки от плеча до поясницы. Непостижимо, как у вас зарубцевался и погас такой безусловно

смертельный туберкулез? Поприимайте все-таки, батенька, эти вот лекарства по моим прописям с пол-годика на всякий случай.

И выйдя от него, аккуратно порвет рецепт на мелкие клочки худой пациент, веселый и неприкаянный, — вид на жительство будет его в те дни интересовать куда больше.

А в тот сентябрьский дождливый день, поставив точку на словах, относившихся к Морозову, тюремный доктор Вильмс еще раз насупил брови недоуменно и перешел к следующему арестанту, благо их оставалось мало. Он торопился, пора было садиться за пасьянс.

* *
*

Примерно в это же время в сотнях километров отсюда, в небогато обставленном сдающемся внаймы доме в пригороде Женевы, почти не покидая свою комнату — стараясь, во всяком случае, не покидать, — эмигрант Лев Тихомиров, счастливо бежавший из России в период полного разгрома «Народной воли», пришел к выводу однажды, что это ведь на самом деле тюрьма — жизнь, на которую он обрек себя эмиграцией. Он ходил и ходил молча по крохотной комнатке своей, и на душе у него было неизменно мерзко и пусто. Чувство это, с давних пор поселившееся в нем, изматывало, истощало, высушивало.

Если все любили Михайлова, но и друг друга, дружили, если Перовская по-женски упрямо могла повздорить с Дворником, а Морозов спорил до хрипоты, то для Тихомирова Михайлов был единственным, неповторимым и необходимым жизненно — он это осознал сразу после утраты Дворника. Глубокий ум Тихомирова, самый характер его незаурядного таланта имели одно свойство странное, и хотя распространен-

ное, по редкое в чистом виде. Его не удалось бы объяснить кратко — словом или понятием, но оно ярко проявлялось всю его жизнь. Тихомиров остро и язвительно возражал, логично и глубоко судил, тонко и точно понимал и чувствовал, но сам никогда не выдвинул ни одной новой идеи, необычной мысли, удивляющего предложения. Ум его должен был служить чьему-то побуждению, чьей-то решимости, воле, действующей извне. Чисто мужской по силе, талант его имел женский характер. Он и сам это знал, чувствовали это другие, те, кто общался с ним. Даже руководя маленьким отрядом наблюдателей за выездом генерал-губернатора (вскоре он отстранился и от этого, не хотел и не мог), он выслушивал планы подопечных и выбирал из них, ни разу не предложив своего. Дельно выбирал, толково, но — из чужого. Это было не потребностью в искре для порохового склада, точнее уподобить это необходимости для куска фосфора облучения солнечным светом, чтобы потом светить буд-то бы самостоятельно. Оттого и восхищались так народовольцы его статьями; это были их чувства того дня, их устремления и отношения, только ни один из них не умел это облечь в такие превосходные слова. Тихомиров был выразителем, воплотителем, тончайшим камертоном воли, исторгаемых другой волей, другой личностью. Оставшись без Михайлова, он ощутил страшную свою непристроенность, будто ненужность даже, никто не мог заменить ему Дворника, ни от кого не исходило того нервного тока, что заряжал и заводил разум и чувства Тихомирова. А эмиграция была ему той же тюремной камерой. Ему нужна была только Россия, годилась для жизни только она, всеми корнями своими он ощущал, как неловко повис в воздухе, и ничья воля, ничья энергическая деятельность не вдыхали в него жизнь.

Человек честный, легко облакающий ощущения и чувства свои в слова, он написал о своем перегоревшем прошлом маленькую книжку «Почему я перестал быть революционером». Он привык обобщать и писать широко, как бы не от себя лично, а констатируя течение событий, и был раньше всегда прав, ибо передавал своими словами мнения и чувства тех, кого выражал. Но теперь он был мельничными лопастями, отлученными от течения реки, и написанное им, привычно обобщенное, было на самом деле его личным переживанием, несчастьем его личной судьбы.

В тоске по России, раздавленный своей ненужностью, он попросил высочайшего прощения и получил позволение вернуться. Он не выдал ни единого человека, хотя легко мог при полной своей осведомленности не одного вернуть из ссылки на виселицу, как это сделал подлец Дегаев с офицером Штротенбергом.

Он вернулся, чтобы дышать и жить, потому что не мог без России, но ему еще надо было служить чему-то, заряжаться чьей-то энергией и волей, блестяще выражать что-то чужое — он был создан для этого, и самый характер его таланта исподволь диктовал его ищущее поведение. Что сильнее идей православия и монархии могло подвигнуть теперь на дело перегоревшего публициста революции? И он стал настолько ярким монархистом, что через некоторое время получил в подарок за служение золотую чернильницу от царя. Всецело отдавшись новой силе и служению иным идеалам, он стяхнул с себя очарование былых друзей и в воспоминаниях своих описал их уже под взглядом трезвым, отстраненным, свободным от полной былой отдачи. Естественно, был теперь мало активен и склонен принизить, уменьшить все, чему был так предан, и только о Михайлове говорил по-прежнему: «Теперь прошло с тех пор 20 лет, у меня

нет иллюзий, и я совершенно хладнокровно и убежденно говорю, что Михайлов мог бы, при иной обстановке, быть великим министром, мог бы совершить великие дела для своей родины». Оба раза слова о великости Михайлова даны в воспоминаниях подчеркнуто.

Самодержавие, которому начал он усердно служить, разлагалось уже и гнило в те годы быстро и неотвратимо. Православие, которому он преданся пылко и безраздельно, не могло уже вернуть ему утраченный пламень. И счастья Тихомиров не обрел. Дневники его пестрят одним и тем же: нет душевных сил никаких, тяжело, паскудно, тоскливо. Радости мелки и случайны, никому и ничему он не нужен, жизнь продолжается по инерции. И болезни, болезни, болезни. Недомогания всех мастей и видов, на которые обращает человек тем более пристальное внимание, чем меньше у него другого — интересов, любви, надежд.

Брошюру его «Почему я перестал быть революционером» по приказанию сверху выдали в Шлиссельбурге для чтения. Они уже сидели в Шлиссельбурге — всего трое из пятнадцати, выжившие и душевно уцелевшие в Алексеевском равелине (Морозов, Тригони, Фроленко), и еще другие тут были, взятые в разное время или переведенные из тюрем за побег. И в ужасе, в недоумении, в горе простучала Вера Фигнер в стену своему соседу Морозову:

— Может быть, он психически болен?

А Морозов ответил холодно и спокойно, хоть и понял ее настроение вполне — они по стуку тон различали, как в голосе, даже чувства различали, наострившись, — ответил — она тоже безошибочно ощутила — холодно и спокойно:

— Нет, этого всегда можно было ожидать. — И не

возвращался более к этому разговору, потому что было недосуг. Кроме того, конечно, не хотелось — что тут станешь обсуждать? — но и в самом деле непрерывно не хватало времени. Он работал с утра до вечера. А порой прихватывал и ночь.

* *
*

И тут совершенно другую книгу надо писать об этом человеке, потому что с того памятного и странного осеннего дня появился в камере номер десять Алексеевского рavelина совершенно другой заключенный, иной Морозов — тот, что прожил вторую, очень долгую и очень яркую, тоже очень полную жизнь. Морозов-ученый, Морозов — энциклопедически образованный и по-возрожденчески разносторонний мыслитель. Морозов — химик, физик, астроном, математик и историк. Морозов, овладевший одиннадцатью языками. Морозов, вносящий необыкновенные, провидческие идеи во все области, которыми занимался. Морозов, победивший время.

Он вышел на свободу, пробыв в заточении двадцать пять лет (не считая трехлетнего первого заключения) — в самом конце тысяча девятьсот пятого года. Было ему за пятьдесят. Он прожил еще более сорока лет и до последнего почти дня работал и общался с людьми. «Природа не засчитывает мне времени, проведенного в тюрьме, и согласитесь, что это с ее стороны справедливо», — объяснял он всем, кто проявлял хоть тень удивления.

Из десяти обреченных личным росчерком царя на смерть в рavelине их оставалось всего трое живых и здравых рассудком, когда старинная государева тюрьма Шлиссельбург закончилась перестройкой специально для народовольцев. Там он вскоре оказался

номером четыре, которым и пробыл до самого освобождения.

После перевода в Шлиссельбург постепенно появились книги. Их привозил страдающий тюремный врач под видом переплетных работ. Потом книги разрешили получать. Пришло время, появились журналы, даже сугубо специальные — по химии, например. Климат России, переменчивый и сложный в те годы, приносил им послабления, прогулки, льготы. А потом опять холодало вдруг. Вовсе не доброта самодержца или настроение его влияли на этот крохотный замкнутый мирок на Ладожском озере — нет, мирок этот сам был барометром климата всей страны. А самодержец — он только фиксировал иногда — главным образом собственную личность запечатлевая — события, совершавшиеся там будто бы сами по себе. Так однажды на рапорте о том, что заключенные объявили все разом голодовку, когда их попытались лишить книг, он раздраженно написал: «Что за ослы!» Разве же о них эта надпись?

На шестнадцатом году заточения дозволена была переписка — одно письмо в год. Он узнал, что умер отец, что ослепла, но жива мать, что появилось новое поколение. Что он мог написать им? Благодарные воспоминания детства, слова утешения и любви, очень коротко о своих ушедших годах. Письма его дышали бодростью человека, который одолел уже столько, что ничего не опасается впредь, и бояться за него не надо. Часть, адресованная сестре, была подробней:

«...Никакой смертельной болезни у меня пока нет, а что касается несмертельных, то их было очень много. Было и ежедневное кровохарканье в продолжение многих лет, и цинга три раза, и бронхиты (перестал считать), и всевозможные хронические катары, и даже грудная жаба. Года три назад был сильный рев-

матизм в ступне правой ноги, но, убедившись, что никакие лекарства не помогают, я вылечил его очень оригинальным способом, который рекомендую всякому! Каждое утро, встав с постели, я минут пять (вместо гимнастики) танцевал мазурку. Это был, могу тебя уверить, ужасный танец: словно бьешь босой ногой по гвоздям, особенно когда нужно при танце пристукивать пяткой. Но зато через две недели такой гимнастики ревматизм был выбит из ступни и более туда не возвращался!..»

А главное — сообщал, что работает, что всецело занят очередной книгой, что написал уже полторы тысячи страниц, что у него был период химии. Книги его увидели свет после выхода автора на волю. И десятилетия спустя, до сих пор появляются статьи со словами удивления и восхищения. Оторванный от живого общения с коллегами, без эксперимента, разумом одним, изошренным — тут уместно это единственное слово — до гениального накала мысли он опережал современную ему науку по меньшей мере лет на двадцать. Фантастическими были его удачи.

Он открыл, например, инертные газы. Нет, наверно, ни единой книги о научном прозрении, не содержащей удивленного рассказа о некоем астрономе, одними расчетами — «на кончике пера» — открывшем новую планету, предсказавшем существование Нептуна. Заключение номер четыре на пятнадцатом году своего заточения пытался однажды летом на прогулке что-то объяснить напарнику Фроленко. Он пылко и несвязно бормотал, картуз его то спадал на затылок, то надвигался на очки, фигура походила на огородное пугало благодаря лохмотьям, во множество надетым на него, — он даже летом очень мерз от хандобы. Надзиратель с часовым покатывались от хохота, добродушно глядя на бессильную жестикуляцию

самого мирного и тихого из своих подопечных. А Фроленке недосуг было слушать, он разводил в эти годы сад, но он дослушал все, обнял и поцеловал Воробья. А тот рассказывал, что еще шесть лет назад, разрабатывая собственную теорию постепенного превращения веществ, пришел к идее, что в менделеевской периодической системе элементов не хватает нескольких веществ, неспособных химически соединиться с металлами ввиду их нулевой активности, — понимаешь, Михайло? Они не вступают в контакты, они инертны и недеятельны. И вот пришел журнал — они действительно существуют, это инертные газы, они войдут в таблицу элементов, ты представляешь, как я угадал, Михайло?

Неизбывная гордая радость кружила ему голову, побуждала вновь и вновь рассказывать, как ему повезло. Кристально бескорыстен был этот интерес его к устройству мира, ведь ни о каком выходе на волю нечего было и помышлять. «Отсюда не выходят, отсюда выносят», — афористично сказал однажды посещавший тюрьму высокий чин. И оттого интерес к миру был лишен у Морозова тщеславия, жажды успеха, внешних целей. Просто необходим был. Как дыхание. Оттого, быть может, столького и достиг он. Он не знал еще о нескольких других своих поразительных прозрениях и предсказаниях, о точности своих других идей и теорий. Он фонтанировал ими, и любая из тех, что оказались пророческими, могла составить славу его таланту. Но о большинстве из них узнали спустя полтора десятилетия — когда в солидных лабораториях, обставленных ультрасовременной аппаратурой, подходили уже вплотную к тому же, к чему пришел усилием вольного разума одинокий заключенный номер четыре в крепости на Ладожском озере. А порою и не подходили еще.

В девятьсот первом году некий профессор химии в Петербурге получил — с просьбой дать отзыв — огромную рукопись по химии. Получил — книги поистине имеют свою судьбу — прямиком из департамента полиции. Брезгливо подумал, что скорее всего — это пустое баловство какого-нибудь малограмотного политического, от тоски и отчаяния обратившего свой вывихнутый ум к науке (сам-то был убеждений твердых и незыблемых). Если бы знал, что автор — недоучившийся гимназист, даже читать не стал бы. Но — к счастью, ничего не знал. И потому от эрудиции автора, от тонкости и изощренности научного мышления получил ничем не омраченное удовольствие. Что искренне отметил в отзыве. Только с самым содержанием не согласился. Мельком подумав, не без сожаления, что не покатысь обладатель этих явно незаурядных научных способностей по наклонной плоскости политиканства, получился бы неплохой ученый. А теперь — в отрыве от современных лабораторий, надсаживая ум, на холостых оборотах бешено, очевидно, вращающийся, пустые измышляет теории. Эва, чего удумал: что атомы — сложные и разложимые структуры, что элементы разных веществ могут превращаться друг в друга, будто не являются простейшими и уже неизменными детальками мира. И это в то время, когда сам Менделеев, сам творец периодической системы элементов, писал, что «элемент есть нечто, изменению не подлежащее», то есть основа, кирпич, исчезающее слово — атом. Оттого и превращение их немислимо и невозможно. Нечего возвращаться к алхимии, это пройденный наукой этап. И он снисходительно написал: «Конечно, никому и теперь не возвращается предполагать, что элементы могут превращаться друг в друга, но опыты, беспощадные опыты показывают, что во всех случаях, когда дело как буд-

то бы шло о превращениях элементов, была или ошибка, или обман».

Получив отзыв этот, Морозов скорее обрадовался, нежели огорчился. В науке он по-прежнему чувствовал себя гимназистом-добровольцем, нахально и самовольно вторгшимся в изумительные владения умов глубоких и недостижимых. И потому само доброжелательное равенство в тоне отзыва от известного профессора было ему куда важнее содержания отзыва. А в правоте своей он тоже был по-гимназически несокрушимо уверен. И самое удивительное в этом, даже чуть фантастическое что-то: был действительно совершенно прав, Прошло небольшое время, и «опыты, беспощадные опыты» подтвердили все чисто умозрительные предвидения заключенного номер четыре.

Идея о сложности атомов и возможности объяснения на основе разницы в их строении самой периодической системы была предельно революционной по тем временам. Была еретической настолько, что и всерьез не могла, осуждена была остаться незамеченной. А он не просто ее выдвинул, а еще и предложил дальнейшую гипотезу — о том, что в атоме имеются, в частности, положительно и отрицательно заряженные частицы. На фоне всеобщего убеждения, что атомы неделимы, он спокойно и деловито обсуждал свою первую в мире модель строения атома.

Обсуждал, кстати сказать, языком удивительным — ясным, сочным и романтическим. Еще бы! Никто никогда не правил его ученических статей и диссертационных публикаций, подгоняя их под общепринятый тон, выхолащивая любой оттенок личности и всяческую самобытность.

А если не бесплодна мечта алхимиков о взаимопревращении элементов, если можно на них как-то

влиять, писал он (родившись в век лучины, свечи и керосиновой лампы, он всецело уповал на могучие силы электричества), то, «быть может, рождение элементов продолжается где-нибудь среди туманных скоплений, в бездонной глубине небесных пространств». И снова фантастическое провидение: о гигантской энергии, скрытой в атоме, извлекающейся при расщеплении его. Отчего, быть может — новая идея, — и образуются новые звезды — в результате взрыва старых, в ходе высвобождения при естественно текущих процессах огромной порции энергии.

Спустя пять десятков лет напишет ученый комментатор слова благоговейного удивления: «В свете современных сведений сочинение Морозова производит впечатление книги научных пророчеств, которыми она изобилует, как никакая другая».

Он предсказал, просто увидел прозревающим умственным взором наличие в природе изотопов — атомов одного и того же элемента, занимающих, естественно, одно место в периодической системе, но различающихся массой и свойствами. Это типичное открытие двадцатого века, неотрывное от века, для века даже символическое в чем-то, было сделано за два десятка лет до исследователей, оснащенных специальной экспериментальной аппаратурой, одиноким провидцем в тюремной камере. Став темой научных споров своего времени, открытие это сильно и явно повлиало бы на развитие науки, но оставалось — до поры, когда стало всеобщим достоянием — в одной из двадцати шести тетрадей, впоследствии вынесенных Морозовым на волю. И воздавая должное провидящему гению неизвестного никому заключенного, написал впоследствии сам Курчатов благодарное признание в том, что современная физика ядра идеи Морозова «полностью подтвердила».

Но это потом уже было, значительно позже.

А в Шлиссельбурге после одной из лекций, читанных им для заключенных, когда расходились они по камерам, Вера Фигнер спросила у Иосифа Лукашевича, народовольца позднего времени, с недавних пор сидевшего с ними вместе, человека таких же энциклопедических знаний, будущего профессора-геофизика:

— Скажите, Иосиф, кем, по вашему мнению, был бы Морозик, занимайся он одной наукой? Где-нибудь в Европе, например?

Лукашевич засмеялся непередаваемым своим смехом, что-то пробормотал по-польски и сказал убежденно:

— Фарадеем. Это был великий химик и великий физик — Фарадей. Вам это мало говорит, Верочка, я готов объяснить подробнее, но заложенного в нем — на Фарадея. Только вот какая штука, Верочка: так нельзя говорить о русских. Потому что стать в России Морозовым — это, как бы сказать в а м , — это величественней, чем стать в Англии Фарадеем. Хотя и бесполезней для науки, которая его лишена. Но величие и бесполезность — право же, они так близки друг другу... Вы меня понимаете, Верочка?

— Очень понимаю, Иосиф. Спасибо вам за эти слова, — сказала Вера Фигнер чуть странным голосом, и рыцарственно тонкий Лукашевич мгновенно отвернулся, чтобы не увидеть ее нервных слез.

А Морозов сам, когда впоследствии одна из собеседниц задала ему всеобщий вопрос, как же все-таки он вынес это заключение длиною в четверть века, вдруг нашел объяснение, которому сам же нескрывая обрадовался:

— А я не в крепости сидел, — сказал он, засмеявшись весело, — я сидел во Вселенной.

* *
*

Он с утра до ночи работал и бывал так счастлив порой, что, просыпаясь, как в далекой молодости, пел в своей камере негромко. Он жил в мире, куда не было доступа никому из тех, кто охранял его снаружи и следил за ним, чтобы не было нарушений. Целый мир, гигантский и непостигнутый мир — Вселенная целиком, вся история человечества и познание вещества были в его власти. Само время сжималось в тугой пролетающий комок, и его не хватало, времени. Тогда он зажигал свет и с радостью лишал себя сна — классического убежища заключенных. Керосиновая лампа сменилась уже электрической, — когда-то с восторгом это предсказывал Ширяев, — и он снова сидел, и каждая пядь открывшегося понимания, каждый шаг в постижении мира такое острое доставлял наслаждение, что хотелось петь, кричать, прыгать. Тогда он носился по камере, умеряя возбуждение и восторг, а потом опять садился за стол из толстого листового железа. Уже потом, в девятьсот шестом году, когда опустевший Шлиссельбург стал местом любопытствующего паломничества, экскурсии по крепости водил бывший тюремный надзиратель. С уровня своих понятий он с уважением говорил об узнике номер четыре: «Морозов сидел по-благородному, как мышка, не слышать его. Заглянешь в глазок, а он либо пишет, либо так себе спокойно думает».

Жаль, не был этот надзиратель в курсе того, что творилось в это же время с его коллегами по охране человека, который жил так спокойно и умиротворенно. Между тем забавно выглядит перечень случившегося за эти годы с теми, кто были свободными, казалось, по своей воле служивыми людьми — охраной преступного этого, такого счастливого заключенного.

За это время два коменданта крепости сошли с ума, а один ушел сам, нескрываясь опасаясь того же исхода. Смотрителя Соколова — Ирода разбил на нервной почве паралич, а его преемник пил горькую и писал на всех доносы, кончив тем, что по недоразумению или в горячке написал донос на себя же — о непорядках, за которые сам отвечал, — и был уволен. Другие непрерывно сетовали на свою совершенно каторжную жизнь, и несчастней их не было, наверно, никого на свете. Каторга — и охране каторга, время высушивало и убивало их, но охраняемые хоть знали, во имя чего их муки, а это — несравненное облегчение, особенно если существует или рождается внутренняя жизнь.

Пятьдесят второй год шел ему, когда он вышел на свободу. Впереди его ждала кафедра в Вольной Высшей школе, куда пригласил его работать Лесгафт, человек безупречно тонкой человечности: не ахал, не восторгался и не умилялся современным Монте-Кристо Морозовым, а просто пришел к нему, представился и предложил шутливо-серьезно реализовать богатства, накопленные на острове Шлиссельбург, этом истинно русском варианте Монте-Кристо, — поступить преподавателем химии в его, Лесгафта, учебное заведение, Вольную Высшую школу... С благодарностью и надеждой вступил Морозов в совершенно новую жизнь. Там он стал профессором, выпускал книги, снова работал много и со страстью. Шестидесяти лет он ездил на фронт первой мировой и написал книгу о войне. Он занялся воздухоплаванием, летал на самых первых самолетах, высказал и здесь несколько превосходных идей, читал лекции, увлекался полетами так, что чудом оставался жив несколько раз. Первым предпринял оптическое исследование атмосферы сверху — во время солнечного затмения в две-

надцатом году. Никем еще такое не проводилось. Высказанные им догадки о микрофизике облаков специалисты позже подтвердили с помощью приборов.

Портрет его писал Репин. Они подружились очень — сразу и навсегда. Репин бился над его портретом небывало долго, а потом признался в недоумении: хотел написать страдальца, и ничего из этого не выходило. Он не понимал, отчего неудача. А Морозов понимал, но объяснить бы никому не мог. Впрочем, он и не пытался. Только одно и то же отвечал всем на вопрос, что он ощущает на свободе: все комнаты кажутся огромными, а все женщины — невиданными красавицами.

И ту же самую сохранил юношескую доверчивость к людям и юношеское мерило ценностей. Насквозь продрогший человек постучал к нему в десятом году зимой. Рассказал наскоро и несвязно какую-то жалостную историю, бегая глазами по стенам, и Морозов без единого слова отдал ему свое зимнее пальто. Через час пришли двое друзей и спросили, кто это написал на его визитной карточке, приколотой к двери — «старый дурак». Морозов догадался кто. Они возмутились и негодовали, а он смеялся, закидывая седую голову. Всерьез его волновала в то время только его теория метеоритного происхождения лунных цирков, над которой он работал в тот день, собирая доказательства для пришедшей еще в тюрьме идеи.

Он еще и с Ольгой свиделся. Спустя почти тридцать лет после разлуки он вдруг получил от нее письмо. Странноватое, чуть вычурное, подчеркнуто дружеское. Он ожидал такого тона. Он уже знал ее судьбу после ареста. Ссылка, второе замужество, ссора со многими старыми друзьями. Теперь она приехала в Петербург и тотчас написала ему. Письмо предлагало встречу. Было очень боязно, и неудобно, и отчего-то

не хотелось видиться, как не хотелось, бывало, в юности прыгать с высокой вышки, на которую сам же забирался от нестерпимого желания прыгнуть. А в назначенный день с трудом дождался назначенного часа и почти бежал, и колотилось сердце, и одного боялся — что встреча почему-то сорвется.

Не сорвалась. Совершенно чужая, высохшая, с седыми редкими прядями женщина была мало похожа на ту Ольгу, которую он знал и помнил. Она тоже очень сильно волновалась и, кажется, была смущена. Был дружелюбен и рыцарски тактичен располневший и тоже взволнованный Джабадари, ее муж. Они церемонно пожали друг другу руки, потом все трое обнялись и расцеловались. Ольга заплакала, и тут он узнал ее, на мгновение увидев прежней. А потом был долгий-долгий оживленный-оживленный разговор то о знакомых бывших, то об их собственных делах, то о журнале «Былое», начавшем широко печатать воспоминания о том незабвенном времени. Напрочь чужие люди разговаривали друг с другом, и уходил Морозов с облегчением...

Год спустя она умерла. Он узнал это с большим запозданием и отсиживался дома дня три. Она снова помнилась теперь прежней, и недосказанное мучило, как вина.

Сбывались тюремные сны. Ему так много дней подряд снилось, как он взлетает вдруг, парит слегка над тюремным двором и улетает, что он запомнил этот сон, объяснив его таким воплощением во сне мечты о свободе. А спустя десять лет он летел над Шлиссельбургом и старался прокричать другу своему, вскоре разбившемуся летчику, прокричать сквозь шум мотора, что он уже видел, видел это во сне, но так и не докричался, отложив рассказ до земли. Он и книгу написал о полетах. Он писал в ней, что овла-

дение воздухом настолько сблизит, безусловно, народы, что войн, возможно, более уже не будет никогда. После второй мировой войны эту же мечту-идею, вопреки всему, что случилось, повторил человек, чем-то похожий на него — летчик де Сент-Экзюпери.

А однажды сбылись полушутливые надежды друзей — обнаружился вдруг архив, считавшийся потерянным после смерти Зотова, и почти восьмидесятилетний Морозов готовил его к печати, радостно и горько вспоминая лица друзей.

Он поселился в родном Борке. Постановлением Совнаркома это имение отца было отдано ему в пожизненное владение. Имевшаяся там давняя биологическая станция вскоре превратилась в институт. Он не прекращал работать.

Основное время он уделял теперь воплощению идей, которые помогли ему выжить в Алексеевском равелине. Начало было положено давно — в том еще, вероятно, сентябре, когда он решил, что и единственной Библии достаточно, чтобы скрыться в ее мире. Он остановился тогда, пораженный, на самой странной, пожалуй, книге Библии — на Откровении Иоанна, на Апокалипсисе. Знаток звездного неба, он явно и неоспоримо обнаружил вдруг, что странные и темные пророчества этой книги — не что иное, как символы различных созвездий. Описанием астрономических наблюдений, природных и космических событий с достоверностью показались ему все, даже самые загадочные фразы Апокалипсиса. Так появилась — вскоре после его выхода на свободу — удивительная и необычная книга — «Откровение в грозе и буре». Все известные истории даты передвинул в ней Морозов, доказывая, что написан был Апокалипсис не в первом веке нашей эры, как принято было считать до сих пор, а на четыреста лет позже. Появление его

труда вызвало ожесточенную полемику, в ходе которой его идеи (совершенно менявшие привычную древнюю историю) разлетелись в пух и прах. Но он спокойно продолжал начатое. Так появилось грандиозное десяти томное исследование «Христос», названное им в подзаголовке «Историей человеческой культуры в естественно-научном освещении». Начало ее было положено там же — в промозглом Алексеевском равелине. Писал ее он весь остаток своей жизни. И в ней было выдвинуто несчётное количество гипотез из области древней истории, передвинутой им на несколько сотен лет и неузнаваемо искаженной. И снова разносили их специалисты, не забывая воздать должное необъятной осведомленности и таланту парадоксального ума, родившего эти сопоставления и догадки, часть которых, впрочем, не опровергнута до сих пор. А он, закончив многолетний и многотомный труд, собирался поработать на циклотроне, проверяя свои идеи о структуре и устройстве атома. Было ему девятно два, когда в одном из частных писем он деловито изложил эти свои намерения на ближайшее время.

Только все это потом, потом, а куда он еще в Шлиссельбурге.

Несмотря на увлеченную свою занятость, заключенный номер четыре продолжал непрерывно общаться с друзьями — стуком, на прогулках, обучая желающих языкам, химии и математике. Он активно вмешивался в их жизнь, когда разгуливались у кого-нибудь нервы, — это случалось очень часто, было главным страданием почти каждого в этих противоречивых условиях жизни. Вмешивался и успокаивал. Шуткой, точным словом, даже эпитафией на случай. Он воздействовал и успокаивал самим фактом присутствия своего, самим участием, самим собой.

Когда был он уже на свободе, очень тонко почувствовал его природу и точные слова привычно отыскал для своего чувства известный историк русской интеллигенции Овсяннико-Куликовский. И в воспоминаниях своих написал: «Есть на свете много людей добрых, искренних, чистых сердец. Но далеко не так много таких, из души которых снопами излучается ее свет, ее жар, ее высокая моральная красота, так что всякий входящий в общение с ними подпадает под действие этих лучей, невольно становится лучше, добрее, гуманнее, чище. Натуры этого — высшего — порядка действуют на окружающую среду воспитывающим и облагораживающим образом, сами того не замечая и не прилагая никаких усилий... Этого — особого — рода люди убеждены, что мир прекрасен. Это верно постольку, поскольку он оказывается способным породить таких, как они».

Он читал и писал, даже на прогулках, если было возможно, стараясь оставаться в кругу занятий того дня, чтобы не выветривалась мысль, не растаял порыв, не распалась ткавшаяся нить.

Когда же случилось нечто из ряда вон выходящее в этом замкнутом тюремном миреке, экстраординарное что-нибудь, такое, что грозило любому из заключенных, — звали только тишайшего Морозова. Или он появлялся сам, чувствуя, что может быть нужен. Его часто называли «третьей сестрой»: две женщины были в крепости, к обеим относились бережно и любовно, и они по-женски мудро разрешали часто споры и тяжбы, возникавшие чаще всего от крайней нервной истощенности всех. И такую же спокойную заботливость постоянно проявлял Морозов. Когда возникали нервные вспышки у любого из соседней по заключению, когда некому было погулять с двумя сошедшими с ума товарищами, надзиратели стучали Морозову, и

он без единого слова откладывал в сторону тетрадь, микроскоп или книгу. Даже если это был крайний случай — впрочем, когда он наступил однажды, Морозов взял тетради с собой.

Лет пятнадцать назад в Саратове познакомили молодого приезжего Морозова с молодым местным поэтом Петей Поливановым. Мальчишка влюбленно глядел весь вечер на человека не намного старше себя, но сидевшего уже нелегала, стихи которого читал в заграничном потаенном сборнике, и от стеснения молчал весь вечер. За прошедшие годы многое случилось с Поливановым, а за попытку освободить из тюрьмы товарища он навечно был осужден в Шлиссельбург. Может быть, от побоев, нанесенных ему толпой при аресте, может быть, от другого чего, но стали замечаться в его психике нездоровые, непонятные срывы. И сейчас пришел надзиратель с просьбой к заключенному номер четыре, чтобы тот успокоил Поливанова, впавшего в тревожное агрессивное состояние и только что унесшего из переплетной мастерской самый большой нож.

— Ладно, — сказал Морозов. — Ладно. Сейчас. Походите одну минуту, пожалуйста.

За безупречную вежливость со всеми в Шлиссельбурге его звали Маркизом. А за постоянный интерес к небу — Зодиаком. Надзиратели, слыша эту кличку, переделали ее в Забияку, на что он тоже откликнулся без обиды.

Он взял несколько своих самых толстых тетрадей и аккуратно уложил их на груди под рубашкой — очень не хотелось теперь умирать из-за глупой случайности, очень было много дела.

Поливанов, пожилой, изможденный старик (а было ему лет тридцать пять), стоял возле стола, на котором лежал нож. Дышал он возбужденно и часто.

— Зачем ты пришел? — спросил он. — Ты тоже с ними вместе со всеми?

— С кем? — спросил Морозов, подходя к нему вплотную и садясь прямо под рукой у него на кровать со смятым одеялом. — Я пришел попросить тебя послушать новые стихи. Ладно? Очень верю твоему вкусу.

И он раскрыл тетрадку со стихами, на Поливанова не глядя совсем. Тот подходил и уходил от стола, бегал по камере, останавливался, тени от лампы металась по его лицу, и лицо меняло выражения прихотливо. Только минут через двадцать дыхание его стало глубоким и ровным.

— Не нравится? — спросил Морозов. — Почему ты сегодня мне ничего не говоришь? — Думал он в это время о странной вещи: как ухитрился он, читая стихи, все время видеть нож на столе? Или ему от страха казалось, что он его видит?

— Оставь меня сегодня, извини, — сказал Поливанов спокойно. — И захвати, пожалуйста, нож в переплетную, я его взял случайно.

— Отнеси сам, ладно? — попросил Морозов. — Я отчего-то себя очень плохо почувствовал. Прямо ноги подкашиваются, такая слабость.

Он пошел к двери неторопливо, шаркая шлепанцами, а потом обернулся и в широкой улыбке расплылся, мальчишеской и озорной:

— А если ты, Петр, этим ножом зарезаться хотел или кого другого зарезать, что одно и то же, подумай, брат, вот о чем: неужели тебе не интересно дожить и посмотреть, что из этого всего выйдет?

И ушел. Сердцебиение, начавшееся так некстати и запоздало, очень быстро прошло, когда он снова сел за работу.

А потом был такой же приступ нервного возбуждения у Веры Фигнер, годами державшей себя в руках, и она за лишение переписки (что-то запретное написала родным невзначай) сорвала в бессильном отчаянии и гневной погоне со зрителя тюрьмы. За это полагалась безусловная смертная казнь — уже был расстрелян Мышкин, желавший смерти и кинувший в зрителя тарелку. Уже был расстрелян Мишков, ударивший за что-то врача. Теперь должен был неминуемо приехать следователь, а затем — мгновенный суд. Страшное, тягостное молчание висело над всеми камерами. И тогда Морозов впервые за долгие годы, и в последний, единственный раз, написал письмо в департамент полиции. Он подробно описывал их общее нервное состояние, объяснял, что творится с их психикой, просил вызвать его свидетелем, если это окажется возможным. Письмо было таким сдержанным и корректным, но таким исчерпывающе ярким и ясным, что приехавший следователь прошел прямо в камеру номер четыре и, поблагодарив заключенного за письмо, обещал от имени начальства: суда не будет, такая нынче погода на дворе, что порешили считать инцидент не существовавшим вовсе. К Фигнер он зайти не может, сказал следователь, ведь ничего не происходило, зачем он пойдет к Фигнер, пусть все само затихает постепенно.

И уехал, крепко пожав заключенному руку, истонченную до костей. И еще долго-долго остывала ожидавшая кошмара крепость и приходила в себя соседка Фигнер.

А потом был морозный день, и она опять гуляла с ними вместе, и он смотрел на нее из-за перегородки, и слезы вдруг застлали ему глаза. Он все-таки очень ее любил, Верочку, и невероятно было радостно, что опасность миновала.

— Что ты так странно смотришь, Морозик? — спросила Фигнер, подойдя к загородке.

— Я думаю, что бы подарить тебе на Новый год, — ответил Морозов приветливо.

— Очень даже хорошо знаю, что бы мне больше всего хотелось, — сказала Фигнер. — Отвлекись от своей сплошной науки, напиши воспоминания о своей жизни на воле. Хорошо? Мне этого вправду очень хочется.

Шла к концу — и успешно шла — огромная работа о периодической системе строения вещества, одна за другой возникали идеи, от которых он зажмурился, как от вспышки света в глаза. Что ни день, подвигалась работа, и Морозов, даже гуляя, ни на миг не отключался от нее. Он молчал некоторое время. Фигнер окликнул сосед с другой стороны, она улыбнулась Морозову и отвернулась к противоположной форточке в заборе.

В общем, очень не хотелось отвлекаться на дурацкие воспоминательные пустяки. Но чего бы стоила дружба, если на просьбы друзей жаль потратить время и отвлечься. Он засел за обещанные записки так же старательно, как за все остальное. И вспоминать понравилось ему. Спустя месяц он подарил Фигнер толстую, аккуратно переплетенную тетрадку.

А Фигнер вдруг собрались выпускать. Она очень, очень хотела сохранить подарок. Они договорились так: ее рукой переписанную книгу она постарается увезти. Не сумеет — сообщит условными словами в письме. И пришла через месяц короткая весточка от Веры: не только не пропустили несколько тетрадей этих, но даже донос написал комендант крепости, опираясь на прочитанные бумаги: не раскаялась преступница Фигнер, если сочиняет такое. Морозов, прочитав известие, пошел в переплетную мастерскую,

обмазал все несколько сот исписанных карандашом листочков очень жидким желатином, разделил их на четыре части и накрепко зажал под прессом. Получились четыре листа плотного, как фанера, картона. После этого он переплел в них, как в обложку, свою книгу по теоретической физике и стал ожидать года освобождения. Опущенные в горячую воду, листы отдадут растворяющийся желатин, и обложки снова распадутся на сотни листков, покрытых спешащей карандашной вязью. Что бы стоили наши обещания друзьям, если какие-то коменданты крепости в силах повлиять на их исполнение? Так возник, скрылся до поры, а вскоре и появился заново на свет первый том его воспоминаний.

Откуда ему было знать, что спустя шесть лет после выхода из крепости он опять будет на год осужден — на этот раз за новый сборник своих стихов. Обвинение, собственно, предъявили издателю, но Морозов принял всю вину на себя и на суде упорно защищался так именно, как находил убедительным и нужным защищаться. Он говорил: просто нельзя обвинять его за стихи по соответствующим статьям о «дерзостном неуважении к верховной власти» и «воззвании к ниспровержению». Нельзя, ибо стихи его вне конкретного времени и вне конкретного пространства, это научная философия, если хотите, а статьи закона — о России. И переглядывались многочисленные зрители: как наивен этот седой талантливый человек. И еще год он отсидел в Двинской крепости. Ему был смешон комедийный срок — ведь он уже двадцать восемь лет отсидел. Он обещал друзьям и своей молодой, очень любимой жене, поехавшей за ним и поселившейся неподалеку, что время в крепости потратит не только на науку, но и допишет воспоминания непременно. Они уговаривали его: это обязанность, в

конце концов, ведь однажды будет найден архив, он обязан дать воспоминания — комментарий. Обещание свое он сдержал. И тогда еще одну его способность — незаурядный литературный дар оценил авторитет привередливый и строгий: Лев Николаевич Толстой.

Только это все потом, потом.

А пока соседи его по Шлиссельбургу, соседи по мастерской или прогулкам часто-часто злились на его оптимизм. Он изо дня в день говорил при каждом удобном случае, что совсем скоро, вот-вот их всех позовут и отпустят. Он так привык говорить это, что однажды, когда их срочно всех позвали к коменданту крепости и сосед спросил: зачем бы это? — Морозов ответил преспокойно: объявить о помиловании; сосед отмахнулся раздраженно: вечно ты свое талдычишь, но когда пришли, оказалось, что Морозов прав совершенно. Потому что рано или поздно всегда оказывается прав оптимизм.

Поповский Марк Александрович.

П58 Победенное время. Повесть о Николае Морозове. М., Политиздат, 1975.

479 с. с ил. (Плам. революционеры).

P2+9(C)16

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *Н. Б. Чунакова*

Художник *Н. С. Михайлов*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. Е. Трояновская*

Сдано в набор 25 ноября 1974 г. Подписано в печать 7 апреля 1975 г. Формат 70x108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Услови. печ. л. 21,61. Учетно-изд. л. 20,59. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. А 00052. Заказ № 4426. Цена 93 коп.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 10.

П $\frac{10604-113}{079(02)-75}$ 271—75











